947
976

Р. Пересветов

По следам находок и утрат

О находках и открытиях искателей и исследователей древних рукописей, о раскрытых тайнах тронутых временем текстов и документов, о новых интересных работах советских ученых, археографов и историков, расскажет читателю эта книга.

342/62

SCHWEIZ.
OSTEUROPA
BIBLIOTHEK

Иллюстрации художника О. И. ГРОССЕ
Оформление художника Г. В. ДМИТРИЕВА

Часть первая

Тайнопись веков и догадки историков

СУДЬБЫ ДРЕВНИХ АРХИВОВ

В ДЛИННЫХ и просторных коридорах властвовала тишина, какая бывает разве только в мертвый час в доме отдыха или в санатории. Люди в рабочих халатах бесшумно проносили какие-то свертки и тут же исчезали в ближайших дверях. Но вот одна из этих дверей открылась и предо мной. Короткий коридор вел в огромный зал высотой в два этажа, разгороженный на пять ярусов железными решетками. Вдоль каждого яруса стояли напоминавшие пчелиные соты стеллажи, доверху заполненные одинаковыми папками и коробками. Об их содержимом трудно было бы догадаться, если бы на каждой коробке не было написано какое-нибудь хорошо знакомое еще со школьных лет имя.

«Фонд Меншикова». Уличного торговца пирожками в юности, потом князя и генералиссимуса, сподвижника Петра и фактического правителя России при Екатерине I. В выстроившихся шпалерами коробках размещены документы его походной

и домовой канцелярии. На соседних стеллажах такие же коробки заполнены архивами других государственных деятелей: покровителя наук графа Воронцова, екатерининского вельможи Румянцева — генерал-фельдмаршала, разбившего турок при Кагуле... Некоторые из этих людей были страстными собирателями древностей. Поэтому в коробках хранятся и документы более ранних эпох. В знаменитых «портфелях Миллера», историографа дворянской России, одного из первых членов Петербургской Академии наук, пытавшегося проникнуть в тайны русской истории, собраны найденные им в Сибири и считавшиеся до того утраченными редчайшие грамоты начала XII века. В одном из этих «портфелей» рядом с его собственными сочинениями, справедливо раскритикованными великим Ломоносовым, хранятся и произведения самого Ломоносова — его стихи. А в «сенатских делах» покоятся указы «о повышении в чинах» их автора, гениального ученого-энциклопедиста, прославившегося также своими трудами и изысканиями по русской истории.

Особенно громоздкие рукописи покоятся отдельно в своих тяжелых, обтянутых кожей переплетах или свернутые в большие тугие свитки, называвшиеся в старину столбцами. Окованные золотом, серебром или железом соборные евангелия похожи скорее на маленькие сундучки, чем на книги.

Да, по первому впечатлению, конечно, это был санаторий. Санаторий для рукописей, давно отживших свой век и вышедших из повседневного обихода. В помещении, обитателям которого минуло по четыре-пять сотен лет, совсем не чувствовался присущий склепам романтический аромат, именуемый «запахом тления». Свежий, прохладный воздух врывался в открытые форточки. Коридоры хорошо проветривались.

Попробуем же осторожно приоткрыть крышки некоторых коробок.

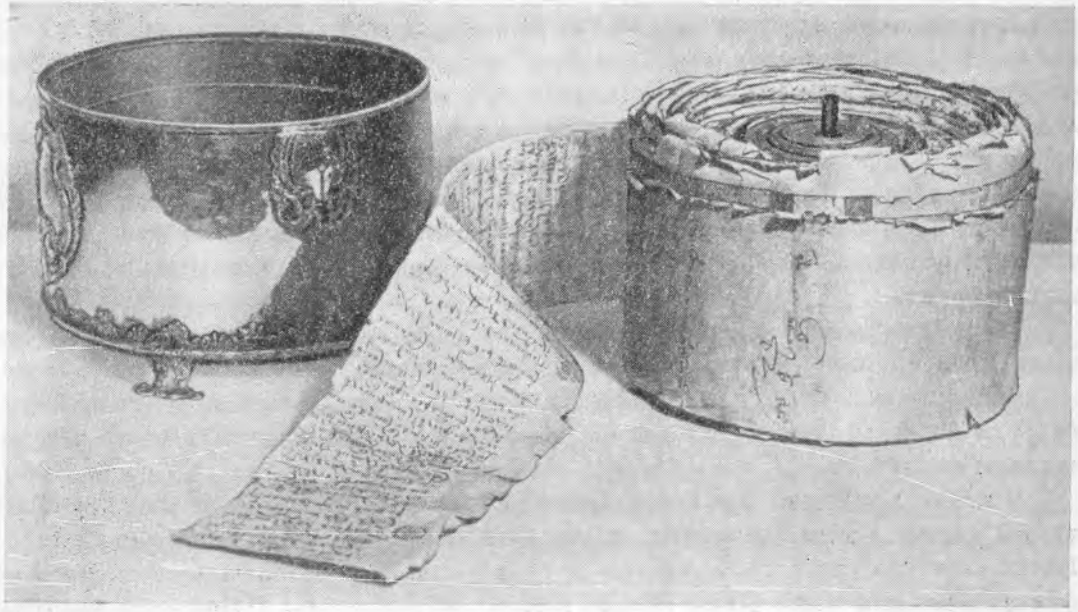
Уставы и судебники XV и XVI веков... Один из них, действовавший при Иване Грозном, дополнен собственноручными примечаниями Василия Никитича Татищева, первооткрывателя и исследователя ценнейших исторических памятников, основоположника русского источниковедения.

В картонных усыпальницах заботливо уложены докончальные, то есть договорные, духовные и жалованные грамоты, подметные письма и челобитные, описанные много раз сначала дьяками и подьячими в старательно составленных росписях и перечневых книгах, а потом учеными-палеографами в библиографических каталогах и справочниках. Рассказывать их содержание — это значит пересказывать историю. Но каждая из этих рукописей также имеет свою историю, которая иногда может оказаться интересней той, что описана на ее страницах.

...«Оная книга без застежек, оболочка ветха, доска переломлена и без начала...» Уже по одной этой пометке в такой же ветхой росписи нетрудно догадаться, в скольких переделках «оной книге» пришлось побывать.

Взглянем хотя бы вот на эту неказистую псалтырь в «оболоченном кожею червчатом переплете». Специалист-палеограф, перелистав ее, сказал бы о ее возрасте: не меньше пятисот лет!

Обложка сильно покороблена, верхние края обреза сбгорели, в каталоге она так и значится: «горелая». С каких же пор пристала к ней эта примета? В огне пожаров, не раз опустошавших деревянную Москву, погибали ценнейшие рукописи и



„Соборное Уложение" 1649 года.

книги. А вот это подметное письмо было подброшено Петру I вскоре после его переезда в только что основанный Петербург. Буквы на нем совсем расплылись. Эти пятна — следы грозного наводнения, стоившего жизни многим жителям новой столицы и затопившего размещенные на Васильевском острове государственные архивы.

В прошлом столетии «государственное древлехранилище хартий и рукописей» ютилось в тесных кремлевских теремах, потом было переведено в основанный еще Петром I Главный московский архив министерства иностранных дел и вместе с ним перешло после революции в учреждение, ныне сокращенно именуемое ЦГАДА (Центральный государственный архив древних актов).

Из рукописей, находившихся в бывшем кремлевском «древлехранилище», в ЦГАДА перешло около двухсот, в том числе 18 редчайших докончальных грамот великих и удельных князей с Новгородом, 84 договора этих князей между собой, 37 их же духовных завещаний, среди них древнейшее духовное завещание Ивана Калиты, составленное перед отъездом в татарскую Орду и начинающееся словами: «Се яз, грешный, худый раб божий Иван, пишу душевную грамоту, идя в Орду, ни кимь не нужен, целым своим умом в своем здоровии...» Среди этих же рукописей — пергаменный список первого русского закона — «Русской правды» и подлинник знаменитого «Уложения 1649 года»— основного свода законов, действовавших с середины XVII столетия; заменив прежние судебники, это «Уложение» ограничило произвол их небескорыстных толкователей — дьяков. иновников появления поговорки: «Что скажет дьяк, тому и быть так»*.

---

* См. примечания в конце книги.

После Великой Октябрьской социалистической революции работа в архивных учреждениях стала особенно интересной. Открылись двери в хранилища, о посещении которых раньше нельзя было и мечтать. Прежде доступ в государственные архивы разрешался только в исключительных случаях с особого «высочайшего соизволения», испрашиваемого «по всеподданнейшему ходатайству» самого председателя совета министров. Такое разрешение давалось лишь лицам, близким к царскому дому, высокопоставленным и родовитым чиновникам. Ученые попадали в их число, если они были «вполне благонамеренными». Но и получившие разрешение ко многим документам не допускались. Они должны были довольствоваться тем, что им подносили служащие архива.

Революция не только открыла двери этих хранилищ, она обогатила архивы новыми коллекциями, ставшими собственностью государства.

Архивные работники могут рассказать много интересного о прошедших через их руки поддельных документах и наделавших в свое время немало шуму исторических фальшивках.

В конце XVII века при составлении царскими дьяками так называемой «Бархатной книги», в которую вносились сведения о происхождении знатнейших родов Московского государства, кичливые дворяне, стараясь доказать древность своих фамилий, нередко подсовывали дьякам подложные документы. Очень часто подделывались и жалованные грамоты и другие бумаги для закрепления за дворянами-помещиками не принадлежавших им земель.

В Центральном архиве древних актов хранится соборная грамота об утверждении царем Ивана Грозного. Этот великолепный документ написан на пергамене и скреплен свинцовыми печатями. Под грамотой собственноручно расписались константинопольский патриарх Иосаф, греческие митрополиты и епископы и другие члены собора. В ней, однако, оказалась подделанной, написанной по подчищенному целая строка в одном из важных мест, где говорится о знаменитой Шапке Мономаха, которой венчались на царствование русские цари. Подделка этой строки, произведенная, очевидно, уже в России, долгое время оставалась незамеченной, и это место давало повод к самым различным толкованиям. Не заметил ее даже известный исследователь и собиратель древних рукописей князь М. И. Оболенский. Издавая эту грамоту в 1850 году, он только отметил, что все печати оказались целыми.

Официальные документы подделывались чаще, чем произведения древних писателей. Обмануть в последнем случае было, конечно, труднее, и такие проделки не давали большого дохода. Но кое-кто сумел проявить талант и на этом поприще.

В России сбытом поддельных рукописей долго промышлял один ловкий московский книготорговец А. И. Бардин, умевший необычайно искусно подражать старинным почеркам. Про него рассказывали, что он ухитрился однажды почти одновременно продать два изготовленных им поддельных списка знаменитого «Слова о полку Игореве» таким крупным знатокам древности, как известный коллекционер А. И. Мусин-Пушкин и опытный источниковед директор Московского главного архива министерства иностранных дел А. Ф. Малиновский. Мусин-Пушкин настолько был уверен в подлинности только что приобретенного экземпляра, что объявил об этом на заседании Исторического общества и пригласил всех его членов приехать

к нему познакомиться с рукописью. Когда знаменитый коллекционер вынес гостям пожелтевшую тетрадь с рукописным текстом «Слова», все принялись поздравлять графа с удачной покупкой. Сомнение в подлинности списка выразил только самый крупный конкурент Мусина-Пушкина по подобным покупкам и один из редакторов первого издания «Слова» А. Ф. Малиновский.

— Что же вас заставляет считать этот список поддельным? — спросил его хозяин.

— Да ведь и я, граф, купил вчера точно такой же экземпляр.

— У кого?

— У Бардина!

После того как оба коллекционера сличили свои списки, им оставалось только признать, что оба «уникума» были одинаково чисто сработаны.

Подложные списки «Слова о полку Игореве» стали появляться после того, как во время пожара Москвы, при вступлении в нее французов, сгорел единственный и наиболее древний список драгоценной поэмы, который в свое время приобрел граф Мусин-Пушкин у архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоиля. Но все они оказались грубыми подделками, легко распознаваемыми по одной общей примете: они были списаны с вышедшего еще до пожара печатного издания рукописи и повторяли ошибки наборщиков.

В Центральном государственном архиве древних актов хранится следственное дело ловкой иностранной авантюристки, известной под именем княжны Таракановой. Пытаясь предъявить права на русский престол, она ухитрилась подделать три завещания: Петра I, его жены Екатерины I и дочери Елизаветы.

По секретному предписанию Екатерины II командовавший русским флотом в Средиземном море граф Орлов-Чесменский заманил мнимую внучку Петра I на свой корабль и увез ее в Россию, где она вскоре умерла в Петропавловской крепости, не дождавшись решения своей участи.

Все три подложных завещания, написанных далеко не безукоризненно по-французски, приложены к делу. Одно из них — завещание Петра I — вымышлено целиком. Известно, что внезапно умерший Петр I не успел оставить никаких письменных распоряжений. Перед самой смертью он попросил грифельную доску и написал на ней слабеющей рукой несколько неразборчивых слов.

Несмотря на разоблачение мнимой внучки Петра, пустившей в ход эту фальшивку, спустя несколько десятилетий в Европе появился другой вариант его завещания, определявшего уже не порядок престолонаследия, а программу всей русской внешней политики на долгие годы. Он был опубликован во Франции накануне вторжения в Россию наполеоновских армий, когда французскому императору для оправдания своих захватнических планов понадобилось уверить Европу в существовании агрессивных планов у России. Они якобы были завещаны Петром I.

Подложное завещание Петра I не раз пускалось в оборот, когда иностранные державы предпринимали против России враждебные действия. Во время второй мировой войны о нем вспомнили и гитлеровские захватчики, вопившие в своей печати о намерении «душеприказчиков Петра I» — большевиков — «поглотить мир».

Подложные документы не скоро отживали свой век. Они служили разным хозяевам и в зависимости от обстоятельств снова вводились в борьбу.

Версия о фальшивке — вымышленном письме новгородского архиепископа Пимена к польскому королю Сигизмунду Августу — должна была оправдать предпринятый Иваном Грозным карательный поход против новгородских «злочестивцев». За ним последовала жестокая расправа с их мнимыми единомышленниками в самой Москве.

Среди казненных по этому делу были и два архивных работника: управлявший царским архивом посольский дьяк Иван Висковатый и сменивший его на этом посту дьяк Андрей Васильев. Висковатый был, кроме того, еще и хранителем царской печати, а иностранные послы именовали его в своих донесениях даже канцлером.

К сожалению, это следственное дело было утрачено, а может быть, сознательно уничтожено еще несколько веков назад.

...Старинные тетради, испещренные записями посольских дьяков более поздней эпохи. Одна из них вкратце излагает содержание выписок из утраченного дела. Из этой записи видно, что архиепископу Пимену и другим новгородцам вместе с их московскими единомышленниками, среди которых назван и Иван Висковатый, было предъявлено обвинение не в одном только намерении «Новгород и Псков отдати литовскому королю». Их подозревали также и в том, что они «царя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича хотели злым умышлением извести, а на государство посадить князя Володимира Андреевича».

«Да тут же список, кого казнить смертью, и какою казнью — и кого отпустити», — гласит та же запись. Дальше упоминается о выезде Ивана Грозного в Китай-город «на полое место» и его повелении «изменникам вины их вычести перед собою» и казнить их в его присутствии. Запись заканчивается сообщением: «А подлинного дела, из чего тот статейный список выписан, не сыскано; а приговор государев, выезд в Китай-город и список за дьячьею пометою, кто как казнен, ветхи гораздо и изодрались, а большой статейный список ветх же».

О содержании исчезнувших или распавшихся от ветхости документов все же иногда удается кое-что узнать благодаря вот таким записям в старых перечневых книгах. К сожалению, таких книг уцелело мало. Из всех описей царского архива, сделанных при жизни Ивана Грозного, сохранилась только одна, и то поврежденная, так как в начале XVII века она была выкрадена из Кремля. Сейчас эта опись находится не в ЦГАДА, а в рукописном отделе Ленинградской публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.

С этой описью, конечно, было бы полезно познакомиться, если бы мы, например, захотели узнать, какими архивными документами и по какой причине интересовался Иван Грозный. Это удалось установить спустя четыреста лет.

Дьяки Ивана Грозного хорошо понимали, как надо хранить документы государственной важности. Если даже сам Грозный у них что-нибудь требовал, они тут же отмечали это в описи. Другое дело — для чего эти документы были нужны царю. На этот счет ученые уже давно высказывали различные догадки. Но ясность в этот вопрос внесли только исследования наших, советских историков. Среди этих работ

есть очень интересные. Вопрос о поисках исчезнувших документов из архива Ивана Грозного одно время связывался с выяснением судьбы его знаменитой библиотеки. Ее продолжали разыскивать под Кремлем еще сравнительно недавно, уже в советские годы.

Интересно проследить судьбы древних рукописей на возможно более длинном отрезке времени! Какие из рукописей, содержавших ценные сведения о прошлом нашей родины, пришлось долго разыскивать? Как их удалось найти? Какие еще надо искать? И что нового, важного и характерного для исследуемой эпохи удалось узнать в процессе этих поисков? Имеются ли в архиве какие-нибудь древние перечневые книги, которые могли бы дать направление дальнейшим розыскам.

Вот переписная книга Приказа тайных дел, составленная в конце XVIII века. Это самая объемистая из всех известных описей того времени, но, конечно, не лишенная пробелов. Даже о некоторых крупнейших государственных деятелях сохранились очень скудные биографические сведения. Еще меньше таких сведений имеется о рукописях. Они тоже, как и эти деятели, подвергались всевозможным превратностям. Пришлось прослеживать их судьбу прежде всего по трудам охотившихся за ними историков-источниковедов. Так же как и люди, рукописи нередко меняли свои имена.

В описях разных архивов одна и та же рукопись может значиться под измененными названиями. Чтобы проследить путь рукописи на протяжении веков, нужно быть знакомым и с судьбами архивов, в которых они находились. А судьбы древлехранилищ были часто не менее причудливыми и превратными, чем участь отдельных документов и рукописей. Они тоже переходили из рук в руки, разделялись, а иногда и совсем исчезали в огне пожаров и войн. Ведь вот даже архив Ивана Грозного дошел до нас далеко не полностью.

Любопытный факт: оказывается, в беспокойные времена некоторые государственные и политические деятели возили свои личные архивы с собой. Так делал, например, Богдан Хмельницкий, державший всю свою дипломатическую канцелярию — переписку с турками, татарами, поляками, молдаванским господарем и трансильванским князем — в своей походной шкатулке. Этой шкатулкой завладели поляки в битве под Берестечком, когда Хмельницкий, внезапно покинутый своими временными союзниками — крымскими татарами, бросился их догонять. Неожиданно прорвавшиеся польские жолнеры наскочили на его пустой шатер и захватили шкатулку. Богато разукрашенная драгоценными камнями, она, конечно, исчезла, но находившиеся в ней документы через много десятилетий возвратились в Россию из Польши одновременно с остатками увезенного интервентами в начале XVII века царского архива.

В середине прошлого столетия на Украине случайно были обнаружены связки ветхих документов, оказавшихся частью последнего архива Запорожской Сечи. По этим документам удалось отыскать там же остатки всего архива, едва не погибшего от сырости под грудой истлевших бумаг.

Узнать увлекательную историю некоторых редких рукописей и книг можно, прослеживая и судьбы исчезнувших древлехранилищ, в которых, вероятно, они раньше находились. Об этом и расскажет предлагаемая книга.

ОХОТНИК ЗА РУКОПИСЯМИ

СЕНАТОР Алексей Федорович Малиновский имел обыкновение передавать в канцелярию и адресованные ему лично письма. Там они подшивались как документы, подлежащие вечному хранению.

Вот почему в папках Московского главного архива министерства иностранных дел, которым много лет управлял Малиновский, сохранилось между прочим и письмо одного немецкого ученого, почтительно напоминавшее «его превосходительству» о полученном разрешении императора Николая I изучать в Московской патриаршей библиотеке древние рукописи. По ходатайству своего соотечественника, близкого ко двору «доктора медицины и хирургии» Лодера, этот ученый получил также доступ и в библиотеку архива, но, несмотря на «высочайшее разрешение», ему не удалось обозреть собрание хранившихся там древних текстов, так как оно было опечатано ревниво оберегавшим его Малиновским.

Профессор правоведения Дерптского университета доктор Вальтер Фридрих Клоссиус уведомлял в письме от 22 сентября 1828 года сенатора Малиновского, что он намерен опубликовать результаты своей поездки в Россию «в особом сочинении» и в предисловии к нему хочет познакомить читателей с историей русских книгохранилищ. Поэтому Клоссиус просил Малиновского прислать ему дополнительно сведения о греческих и латинских манускриптах, хранящихся в архиве за печатями, то есть именно о тех рукописях, которые он, Клоссиус, во время своего пребывания в Москве просмотреть не смог.

Из письма дерптского профессора можно было видеть, что немец, напав на след хранившихся в русских библиотеках старинных латинских и греческих рукописей, проявлял к ним повышенный интерес и через год после своего возвращения в Дерпт. Но это было вызвано совсем особой причиной, о которой нет ни слова в письме.

Клоссиус был не только юристом. Кроме звания доктора гражданского и уголовного права, ему была присвоена Тюбингенским университетом еще и ученая степень доктора философии. С научной целью он уже путешествовал по Германии, Голландии, Франции и Италии и не без успеха работал в архивах и книгохранилищах этих стран. В миланской Амброзианской библиотеке он нашел новые, никому до того не известные отрывки из законодательного кодекса Феодосия, внука последнего императора единой Римской империи. Это была первая скромная заслуга молодого ученого перед отечественной и мировой наукой.

Приняв приглашение Дерптского университета прочесть курс уголовного права, Клоссиус решил продолжить в России розыски древних рукописей, начатые им в других странах. Получив «соизволение» Николая I и даже необходимые для этой работы денежные средства, предприимчивый немец в течение четырех лет обследовал петербургские и московские книгохранилища, заглянул и в подмосковные монастыри, совершил поездки в древние города Новгород, Псков и Киев, где он надеялся найти богатые рукописные собрания.

Выискивая сведения о старинных латинских и греческих рукописях и изучая

Одно из древнейших изображений философа и книговеда Максима Грека, которому отец Ивана Грозного, великий князь Василий III, показывал свои книжные сокровища.

для этого в архивах старые описи, немецкий правовед сделал поразившее его открытие: он обнаружил, что в некоторых описях упоминаются неизвестные сочинения древних авторов, представляющие огромную историческую и культурную ценность. Однако это ободряющее открытие омрачалось другим: все эти сочинения числились только в старых описях; в новых реестрах их уже не было, да и сами они куда-то исчезли. Допытываясь объяснения этому, Клоссиус натолкнулся на интересный факт.

В известном «Сказании о Максиме философе, иже бысть инок Святые горы Афонские» прямо указывалось, что в Москве еще в XVI веке существовало собрание редчайших рукописей, вызывавшее изумление и зависть у всех, кому посчастливилось с ним познакомиться. Это была библиотека отца Ивана Грозного — великого князя московского Василия III, якобы доставшаяся ему в наследство от родителя, то есть от великого князя Ивана III. Как известно, Иван III был женат на племяннице последнего византийского императора Константина XI — Софье Палеолог. Предвидя падение Византии, ее отец, деспот[1] Морей Фома Палеолог, будто бы успел вывезти наиболее ценные книги из императорской библиотеки, которую могли разграбить турки*.

В сказании повествуется о том, как великий князь Василий Иванович, озабоченный составлением каталога полученных им в наследство книжных сокровищ, отправил письмо константинопольскому патриарху с просьбой прислать в Москву знакомого с иностранными языками ученого мужа для выполнения этого труда.

[1] В Восточной Римской империи так титуловали соправителей императора, а в средние века на Балканах так называли и местных правителей.

Выбор патриарха пал на сына албанского воеводы афонского монаха Максима Грека, получившего образование в Париже и во Флоренции.

«...По мале же времени,— говорится в сказании,— великий государь, приснопамятный Василий Иоаннович, сего инока Максима призвав и вводит его во свою царскую книгохранительницу и показа ему бесчисленное множество греческих книг. Сей же инок во многоразмышленном удивлении бысть о толиком множестве бесчисленнаго трудолюбного собрания и с клятвою изрече перед благочестивым государем, яко ни в Грецех толикое множество книг сподобихся видети».

Максим Грек пожаловался Василию III на оскудение греческих библиотек после захвата Византии турками и высказал свое восхищение его заботами о книжных сокровищах.

Ученый муж ревностно взялся за порученный ему великим князем труд: он стал сличать тексты греческих книг с их переводами на церковнославянский язык, обнаружил в этих переводах много неточностей и принялся их исправлять, этим он навлек на себя неприязнь московского митрополита Иосафа, оговорившего его перед Василием III, и подвергся преследованиям.

Описывая мытарства многострадального просветителя, автор сказания больше не возвращался к вопросу о библиотеке Василия III и не сообщал никаких сведений о том, составил ли Максим Грек ее каталог и какие именно книги произвели на него такое сильное впечатление.

Что же стало с библиотекой Василия III?

На этот вопрос Клоссиус нашел ответ в другой древней рукописи — «Ливонской хронике». Ее составил в XVI столетии бывший рижский бургомистр Франц Ниенштедт.

По счастливому совпадению еще один свидетель книжных богатств московского великого князя, видевший их своими глазами — немецкий пастор Иоганн Веттерман,— оказался уроженцем Дерпта, именно того города, где профессор Клоссиус читал свои лекции по уголовному праву.

У Тилемана, дерптского городского библиотекаря, Клоссиусу посчастливилось достать неопубликованный список «Хроники» Ниенштедта, содержавший необычайно ценные сведения об исчезнувшей библиотеке.

В 1558 году Иваном Грозным был взят старинный русский город Юрьев, основанный еще в XI веке Ярославом Мудрым на месте древнего эстонского городища Тарту. Захваченный позже немецкими меченосцами, истребившими его коренных жителей, он получил название Дерпт.

Подозревая, что потомки этих меченосцев продолжают тайные сношения с недругами России и сами относятся к ней враждебно, Грозный решил переселить их в русские города—Владимир, Нижний Новгород, Углич и Кострому. Именно в связи с этим впервые встречается в летописи имя дерптского пастора Иоганна Веттермана, отправившегося в изгнание вместе со своими прихожанами. Автор «Хроники» рассказывает, что Веттермана, как ученого человека, очень уважал Иван Грозный.

Царь велел показать пастору свою московскую либерею (библиотеку), состоявшую из книг на греческом, латинском и древнееврейском языках, полученных в дар от

OT

константинопольского патриарха и хранившихся, как драгоценное сокровище, замурованными в двух сводчатых подвалах под Кремлем.

Великий князь, говорится в «Хронике», слышал об этом отличном и ученом человеке, Иоганне Веттермане, много хорошего про его добродетели и знания и потому велел отворить свою великолепную либерею, которую не открывали более ста лет слишком, и пригласил через своего высшего канцлера и дьяка Андрея Солкана, Никиту Высровату и Фунику вышеозначенного Иоганна Веттермана и с ним еще несколько лиц, которые знали московитский язык, как-то: Фому Шревена, Иоахима Шредера и Даниэля Браккеля и в их присутствии велел вынести несколько из этих книг. Эти книги были переданы в руки Иоганна Веттермана для осмотра. Он нашел там много хороших сочинений, на которые ссылаются наши писатели, но которых у нас нет, так как они сожжены и разрознены при войнах, как это было с Птоломеевой и другими либереями. Веттерман заявил, что хотя он беден, но отдал бы все свое имущество, даже всех своих детей, только бы эти книги были в протестантских университетах, так как, по его мнению, эти книги принесли бы много пользы христианству.

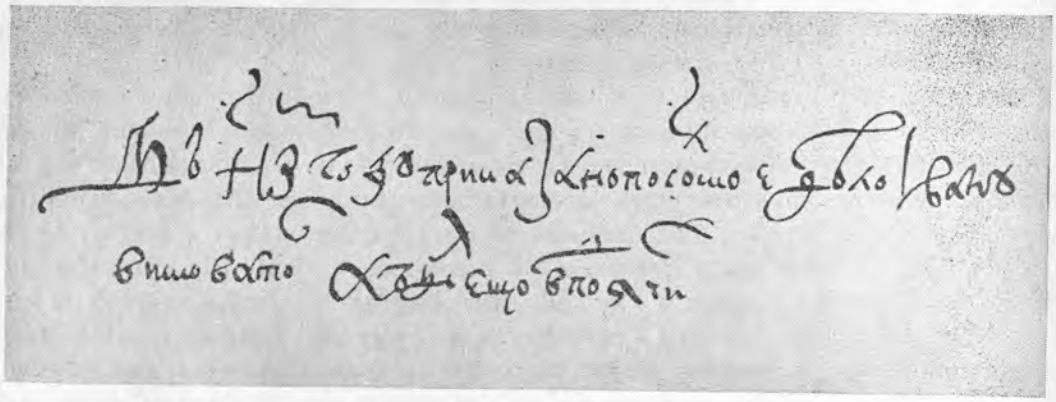
Канцлер и дьяк великого князя предложили Веттерману перевести какую-нибудь из этих книг на русский язык, и если он согласится, то они предоставят в его распоряжение тех трех вышеупомянутых лиц и еще других людей великого князя и нескольких хороших писцов, кроме того, постараются, чтобы Веттерман с товарищами получали от великого князя кормы и хорошие напитки в большом изобилии, а также хорошее помещение, и жалованье, и почет, а если они только останутся у великого князя, то будут в состоянии хлопотать и за своих.

Как ни заманчиво было это предложение, хорошо осведомленные о крутом нраве Ивана Грозного немцы заколебались. Как ни хотелось «отличному и ученому человеку» Веттерману ближе познакомиться с книжными сокровищами русского царя, он не решился предпочесть мертвые листы живым людям, своим соотечественникам, нуждавшимся на чужбине в руководителе и наставнике.

Франц Ниенштедт рассказывает, что у приглашенных к царю немцев возникло опасение, не придется ли им, как только они кончат одну книгу, сейчас же приниматься за перевод другой, «и они тогда не смогут избавиться от этой работы до самой смерти». Посовещавшись, они попросили передать Ивану Грозному, что таким важным делом, как перевод этих книг, должны заниматься не простые миряне, но «наиумнейшие, знающие писание и начитанные люди».

«При таком ответе,— заканчивает свое повествование автор «Хроники»,— Солкан, Фуника и Высровата покачали головами и подумали, что если передать такой ответ великому князю, то он может им прямо навязать эту работу (так как велит им самим присутствовать при переводе) и тогда для них ничего хорошего из этого не выйдет; им придется тогда, что, наверное, и случится, умереть при такой работе, точно в цепях. Потому они донесли великому князю, будто немцы сами сказали, что поп их не сведущ, не настолько знает языки, чтобы выполнить такое поручение. Так они все и избавились от подобной службы».

Любознательный Веттерман все же попросил Солкана одолжить им хотя бы одну книгу на шесть недель, но «высший канцлер» припугнул его, что Иван Грозный мо-



Запись о назначении подьячего Ивана Висковатого посольским дьяком.

жет тогда их заподозрить в намерении уклониться от предложенной им работы. Обо всем этом, уверяет Франц Ниенштедт, мне рассказывали сами Томас Шреффер (то есть Фома Шревен) и Иоганн Веттерман. Книги были страшно запылены, и их снова запрятали под тройные замки в подвалы.

Бесхитростный рассказ дерптского пастора, записанный его современником и соотечественником бывшим рижским бургомистром Ниенштедтом, во многом совпадал с впечатлениями Максима Грека. И тот и другой с завистью и восхищением говорили о книжных сокровищах, не имевшихся ни в одной из европейских библиотек. Несколько странным было утверждение Веттермана, будто либерею не открывали более ста лет. Тогда каким же образом мог ее видеть Максим Грек, живший почти одновременно с Веттерманом? В «Сказании о Максиме-философе...» говорилось о книгах, привезенных племянницей византийского императора Софьей Палеолог. Ниенштедт же утверждал, что они получены в дар от константинопольского патриарха.

Немецкого ученого, напавшего на след исчезнувшего сокровища и тешившего себя надеждой, что именно ему выпадет счастье его отыскать, эти неувязки не очень пугали.

Но, кроме списка «Хроники» Ниенштедта, предоставленного Клоссиусу дерптским библиотекарем, могли быть и другие списки, существенно отличающиеся от этого. Оказалось, что библиотекарь Тилеман уже сличал имевшийся у него экземпляр «Хроники» с более поздними вариантами. Расхождения заключались только в том, что в одном варианте говорилось о двухсводчатых тайниках, в другом же — о трехсводчатых под тремя замками, что могло быть и простой опиской. Во всех списках были искажены фамилии приближенных к Ивану Грозному дьяков. «Андрей Солкан» был не кто иной, как посольский дьяк Андрей Щелкалов, один из ближайших советников царя, позднее ведавший посольскими делами. «Никита Высрова́та» и «Фуника» — хранитель печати Иван Висковатый и казначей Никита Фуников — также являлись приближенными к царю людьми.

Все варианты старинной «Хроники» сходились в одном, самом существенном для Клоссиуса: библиотека не была мифом. Во всех списках одинаково указывалось ее местонахождение. По описанию ценных рукописей, виденных Максимом Греком и

Веттерманом, было ясно, что речь идет об одном и том же книгохранилище, перешедшем от Василия III к его сыну Ивану Грозному.

Пользуясь своими связями и знакомствами в Дерпте, Клоссиус решил собрать дополнительные сведения о дерптском пасторе Иоганне Веттермане.

Результаты поисков оказались довольно скудными, но кое-что все же нашлось.

Дерптский городской архивариус Тремер, начавший по просьбе Клоссиуса поиски в своих шкафах, обнаружил в протоколах городской ратуши за 1575 год упоминание имени Иоганна Веттермана. В одном из документов говорилось, что он обучался в церковном училище за счет города и был утвержден пастором и проповедником при церкви Святой Марии. Сохранилось заявление Веттермана, в котором он просил возместить ему семьдесят один талер, издержанный им на учение из личных средств. Была найдена даже справка о голосовании по вопросу, кого назначить священником: за Веттермана было подано восемь голосов.

Еще одно свидетельство о Веттермане содержалось в воспоминаниях его современника — дерптского пастора Тимана Браккеля, удостоверявшего, что Иван Грозный разрешил некоторым лифляндцам, в том числе Веттерману, вернуться на родину. Значит, последний действительно мог видеться с Ниенштедтом и передать ему свое впечатление о библиотеке Ивана Грозного.

В воспоминаниях Браккеля Клоссиус нашел даже сведения о кончине Веттермана. По словам автора воспоминаний, пастор умер вскоре после своего возвращения в Дерпт, во время вспышки чумы.

Нетрудно догадаться, какое волнение охватило неутомимого охотника за древними рукописями, когда упорные розыски библиотеки Ивана Грозного, нити к которой шли из Дерпта, привели Клоссиуса еще к одному важному открытию, хотя и не им самим сделанному.

НАХОДКА ПРОФЕССОРА ДАБЕЛОВА

ПРОФЕССОР Клоссиус был не единственным иностранным ученым, преподававшим в Дерптском университете. Этот университет был создан в 1802 году после окончательного освобождения Лифляндии от шведских и немецких захватчиков. Но следы их временного господства в начале прошлого столетия еще не сгладились. Часть населения, не избавившегося еще от засилья подкармливаемых царским правительством прибалтийских баронов, продолжала говорить на немецком языке; на этом же языке читались и многие лекции в Дерптском университете.

Раньше Клоссиуса в этот университет для чтения курса гражданского права был приглашен из Мекленбург-Шверинского герцогства немецкий юрист барон Христофор Христиан фон Дабелов. Профессор Клоссиус случайно узнал, что его коллега в 1822 году опубликовал в справочнике для юристов статью, в которой между прочим сообщил названия некоторых греческих и латинских рукописей юридического содержания, якобы находившихся в библиотеке Ивана Грозного. Откуда же мог добыть эти сведения шверинский юрист?

Профессор Дабелов интересовался только узкоспециальной областью лифляндского частного права. Собирая материал для большой работы на эту тему, он разослал письма в архивы всех прибалтийских городов с просьбой оказать ему помощь присылкой нужных документов. Одним из первых откликнулся на эту просьбу архив приморского городка Пярну, приславший профессору папку с четырьмя старыми тетрадями. Из них ему, впрочем, пригодилась только одна, которую он назвал Пярнской коллекцией. Она состояла из документов XVI века разнообразного содержания, написанных разными почерками. Постановления протектора Ливонии, недоброй памяти магистра Ливонского ордена Вальтера фон Плеттенберга, были подшиты вперемежку с вкрадчивыми циркулярами шведских епископов и чиновников, старавшихся прибрать к своим рукам эстонские церкви. Некоторые из них касались и переведенного в Пярну и захиревшего там в годы чужеземного владычества старого Дерптского университета.

Перелистывая эту тетрадь, профессор Дабелов обнаружил в ней два пожелтевших листа — заметки какого-то безвестного немецкого пастора, перечислявшего вкратце редкие книги, виденные им в библиотеке Ивана Грозного. Две из них, по его словам, он даже перевел по просьбе царя.

Дабелов снял копию с этих заметок и привел выдержки из них в своей статье, напечатанной в дерптском юридическом справочнике. Вопреки его ожиданиям статья эта не произвела впечатления разорвавшейся бомбы: иностранные ученые усомнились в достоверности приведенных в ней сведений.

Заметками пастора заинтересовался Клоссиус после своего возвращения из Москвы.

Однако Дабелов не мог ему ничего предложить, кроме снятой им со списка копии. Он давно отослал тетрадь обратно в Пярну вместе со всей папкой.

Клоссиус не скрывал своего удивления. Отослать назад список, пусть далеко не полный, но содержавший перечень сокровищ библиотеки Ивана Грозного! Черновик никому не известного каталога, очевидно, только для себя составленного видевшим эти сокровища иностранцем, завалявшийся после его смерти в архивных бумагах! Каталог именно тех ценнейших, считавшихся навсегда пропавшими латинских и греческих рукописей, которые он, Вальтер Клоссиус, уже столько лет безрезультатно разыскивал в книгохранилищах Европы! Как можно было упустить такой документ!

Теперь, когда копия этого драгоценного списка была в его руках и он прочел названия поразивших Максима Грека и Веттермана книжных сокровищ, Клоссиус спрашивал себя: стоит ли приниматься за задуманный труд об иноязычных рукописях в России, пока не выяснена судьба их главного хранилища? Ведь если бы удалось

найти хотя бы часть этих сокровищ и дать их научное описание, его работа приобрела бы особую ценность. Даже в таком жалком виде, набросанный неровным почерком Дабелова короткий перечень исчезнувших творений знаменитейших мужей древности нельзя было читать без волнения.

Список, или, скорее, справка, составленная неизвестным автором, начиналась словами:

„Сколько у царя рукописей с востока. Таковых было всего до 800, которые частию он купил, частию получил в дар".

Восемьсот древних манускриптов!

В библиотеке французского короля Карла IX греческих рукописей было в три раза меньше. Правда, мать этого короля, знаменитая Екатерина Медичи, имела свое большое собрание, насчитывавшее столько же древних рукописей. Но все они уже были известны ученым.

«Большая часть суть греческие; но также много и латинских»,— говорилось в следующей строке. Наиболее ценные рукописи были тут же названы.

„Ливиевы истории, которые я должен был перевести".

Эти слова бросили Клоссиуса в жар. Каталог открывался именем одного из величайших историков древности, жившего в эпоху императора Августа, автора грандиозного труда о Римской империи, состоявшего из 142 томов. Из них сохранилось всего 35 : 10 — посвященных, так сказать, младенчеству этой империи, и 25 — относившихся к более поздним годам. Все остальные считались утраченными. Содержание их было известно только в общих чертах по произведениям более поздних авторов.

В дабеловском списке названия томов не были перечислены. Не говорило ли это о том, что Иван Грозный был обладателем полного собрания сочинений Тита Ливия? Если бы список обрывался на первой строке, одна эта строчка была бы достаточным основанием для самых тщательных розысков библиотеки!

Следующая строка давала повод для еще более волнующих предположений.

„Цицеронова книга Де република и восемь книг Историарум".

Знаменитейший оратор и государственный деятель древности Марк Туллий Цицерон часто упоминал в своих речах и сочинениях о выдающихся лицах и событиях. В специальном исследовании «Де република» («О государстве») он высказал свои взгляды на устройство аристократической республики — государства собственников и рабовладельцев. Сочинение это — целых шесть томов — считалось навсегда утраченным, но в начале XIX века библиотекарь Ватикана Анджело Маи неожиданно обнаружил его текст на другой рукописи[1].

Книги в древности писались на пергамене, выделывавшемся из кожи животных.

Старые тексты часто стирали с пергамена губкой, а в эпоху сумасбродного римского императора Калигулы на поэтических состязаниях даже заставляли сочинителей слизывать неудачные произведения языком. Позже ненужный текст соскабли-

---

[1] Такие рукописи называются «палимпсестами», что означает по-гречески «соскабливаю (стираю) написанное».

вали пемзой или ножом или покрывали обесцвечивающей смесью из молока, тертого сыра и необожженной извести — тогда на использованном месте можно было снова писать. Масса ценнейших для историков сведений из-за этого погибла! Но чернила в древности отличались большой стойкостью и глубоко въедались в пергамен. Под воздействием воздуха или химических средств стертые буквы снова оживали, и старый текст иногда удавалось восстановить*. Библиотекарь Ватикана иезуит Маи, обрабатывая химическими средствами сочинение о псалмах «блаженного» Августина, воскресил часть написанного раньше на том же пергамене исследования Цицерона «О государстве». Но быть может, Иван Грозный был обладателем полного текста этого исследования? Ведь в найденном Дабеловым списке упоминались еще восемь книг не дошедшего до нас сочинения Цицерона «Историарум»*.

„Светониевы истории о царях, также мною переведенные“.

Тут, конечно, подразумевались «Двенадцать биографий цезарей» Гая Светония Транквилла, слывшего собирателем дворцовых сплетен. Иван Грозный, видимо, захотел познакомиться с содержанием этой книги и поэтому приказал перевести ее одной из первых. В Париже Клоссиус видел лучший из сохранившихся списков «Истории» Светония, но в нем был большой пропуск в самом начале. Имелся ли этот пропуск и в московском экземпляре?

„Тацитовы истории“.

Из двенадцати томов этого сочинения знаменитейшего римского историка Публия Корнелия Тацита уцелели только первые четыре и часть пятого, охватывавшие лишь два года после падения Нерона. Какой же период римской истории отражали тома, находившиеся в библиотеке Ивана Грозного? К досаде Клоссиуса, пастор не догадался это отметить.

„Кодекс конституций императора Феодосия“.

Тот самый, вероятно обрадовался Клоссиус, отрывки из которого ему удалось найти в Милане. Конечно, было бы интересно прочесть его целиком и проверить, сходятся ли их тексты.

„Вергилия Энеида и Итх...“

Знаменитая поэма Вергилия дошла до нас во всей своей красе. Но тут стояло некое таинственное «Итх» — начальные буквы какого-то другого, неизвестного сочинения крупнейшего поэта эпохи императора Августа. Может быть, «Итхифалеика»? Произведение под таким названием приписывалось Вергилию. Находка его вызвала бы громадный интерес.

„Оратории и поэмы Кальвуса“.

Современные справочники упоминают о поэте Кае Лицинии Кальвусе, сопернике Цицерона в ораторском искусстве. Но они молчат об его утраченных произведениях. Исследование его поэм, хранившихся в библиотеке Ивана Грозного, возможно, показало бы, что талантливый оратор был достойным внимания потомков поэтом.

„Сии манускрипты писаны на тонком пергамене и имеют золотые переплеты.

Мне сказывал также царь, что они достались ему от самого императора и что он желает иметь перевод оных, чего, однако, я не был в состоянии сделать“.

Слова «от самого императора» означали, что речь идет о последнем византийском императоре Константине Палеологе, не сумевшем удержать накопленные его предками книжные сокровища. Иван Грозный, очевидно, знал им цену, если он так настойчиво требовал «перевода оных». Но если царь говорил, что эти рукописи в золотых переплетах он получил от самого Константина XI, следует ли отсюда, что остальные попали в Москву другим путем?

О произведениях других, не менее выдающихся латинских авторов составитель списка мог ведь и не упомянуть*. Вряд ли он имел возможность познакомиться со всеми рукописями, имевшимися в библиотеке Ивана Грозного, и тщательно исследовать их тексты. А вдруг под этими текстами обнаружились бы еще более древние, совсем неизвестные ученым или знакомые им лишь по названиям и коротким отрывкам? Клоссиус уж постарался бы вернуть их к жизни. Но только не дубильной кислотой! Он не завидовал славе знаменитого библиотекаря Ватикана Анджело Маи, воспетого поэтами и даже возведенного в сан кардинала, но впоследствии заслужившего далеко не лестное прозвище «могильщика древностей». Подвергнутые им химической обработке пергамены почернели, а древние тексты навсегда угасли, даже раньше, чем он успел полностью расшифровать все непонятные места. Переносить же эти тексты на бумагу при помощи светочувствительной пластинки, как это делают теперь, в то время еще не умели.

ГРЕЧЕСКИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛАТИНСКИХ

НЕ МЕНЕЕ ста двадцати тысяч древних греческих книг погибло при взятии турками Константинополя — столицы возникшего на развалинах Римской империи Византийского государства. Этот подсчет был произведен очевидцем событий, просвещенным папским кардиналом Исидором, греком по рождению, хитростью избежавшим смерти. Турецкому султану Мухаммеду II друзьями Исидора была принесена отрубленная голова в красной кардинальской шляпе, в то время как сам кардинал бежал на корабле в Кандию[1], переодевшись рабом.

Потом долго ходили слухи, что наиболее ценные произведения древнегреческих авторов все же уцелели и попали в личную библиотеку султана. Но попытки некоторых иностранцев проникнуть в султанское книгохранилище и удостовериться в этом ни к чему не привели.

Сам римский папа Николай V, усердно собиравший древние тексты, вынужден

[1] К а н д и я — древнее название острова Крит.

был прибегать к услугам тайных агентов для скупки остатков греческих рукописей в турецких владениях. А король римский Фердинанд делал это через своего расторопного посла Ожье Гизелина Бузбека. Собирая, по его словам, последние колосья на ниве, сжатой другими, пробывший в Турции около шести лет Бузбек сумел все же приобрести около двухсот сорока кодексов[1]. Через Венецию посол пересылал их в Вену в надежное хранилище — императорскую библиотеку, основанную еще Максимилианом I*. Древние греческие рукописи так поднялись в цене, что приобретать их могли только очень состоятельные люди, нередко прибегая к насилиям и ухищрениям. Так, например, римский папа Григорий XV воспользовался поражением чехов в Белогорской битве под Прагой для пополнения своей ватиканской коллекции. Из Гейдельберга — столицы бывшего чешского короля Фридриха V были вывезены все греческие рукописи, собранные прежними курфюрстами, и на пятидесяти фургонах переправлены через Альпы в Италию. От таких перемещений ветхие тексты, конечно, не выигрывали — они теряли драгоценные листы.

Еще в 1778 году в Египте арабы предложили одному европейцу приобрести у них пятьдесят свертков древних папирусов, покрытых греческими письменами, но он согласился взять только один. Раздосадованные этим продавцы бросили остальные в костер, и все папирусы сгорели, распространяя ароматный дымок. Купленный же европейцем папирус был приобретен кардиналом Борджиа, обнаружившим в нем ценные для историков сведения. Но никто в то время еще не догадывался, что таких папирусов в Египте имеются тысячи и что их надо искать в могилах, точнее, в картонных коробках, служивших гробами мумиям. Эти картонажи делались из склеенных между собой папирусов. Когда их отделили один от другого, оказалось, что они покрыты древнейшими надписями.

Так были найдены неизвестные тексты из сочинений величайших писателей древности Гомера, Платона, Еврипида и других. Многим из этих рукописей было больше двух тысяч лет. На папирусах же был написан трактат великого греческого ученого Аристотеля об афинской конституции из его знаменитого сочинения «Политии», посвященного государственному строю Афин и соседних варварских стран. Трактат этот содержал такое количество новых сведений, что после его находки пришлось переделывать все учебники. Из ста пятидесяти трактатов Аристотеля, составлявших «Политии», только этот один сохранился полностью, от остальных уцелели лишь жалкие обрывки.

Интереснейшие документы были обнаружены и на другом кладбище, также расположенном на берегу Нила,— в мумиях священных крокодилов. Их высохшие трупы тоже оказались завернутыми в папирусы. Некоторые крупные крокодилы, достигавшие 13 футов длины, обертывались в пять слоев папирусов, склеенных из рукописей. Даже крохотные крокодильчики, очевидно вылупившиеся из яйца незадолго до смерти, были завернуты в саваны из стихов Гомера!

Но все эти открытия были сделаны во второй половине прошлого века, уже после смерти Клоссиуса. Вот почему увлеченный поисками исчезнувших древних рукописей ученый так обрадовался, прочтя в первых строках дабеловского списка:

---

[1] Так назывались рукописные книги.

«Большая часть суть греческие». На обороте вслед за латинскими были перечислены важнейшие из них.

«*Греческие рукописи, которые я видел, были «Поливиевы истории»*, — отмечал неведомый автор каталога.

Вторая половина списка открывалась названием произведения знаменитого греческого историка Полибия. Сын стратега, сам военачальник, он был участником кровопролитных войн с римлянами, закончившихся поражением его родины. Прожив после этого шестнадцать лет в Риме, куда он был сослан как заложник, образованный и вдумчивый грек написал историю возвышения врагов своей отчизны — сорок томов, из которых уцелело полностью всего лишь пять. Из остальных же удалось найти и восстановить только восемнадцать отрывков. К сожалению, пастор опять не указал, какие из этих сорока томов нашлись в библиотеке Ивана Грозного. А ведь это могли быть как раз те тома, которых не было ни в одной из европейских библиотек.

„*Аристофановы комедии*".

Точное число комедий, написанных гениальным древнегреческим драматургом Аристофаном, до сих пор не установлено. Составитель списка, будучи пастором, вряд ли интересовался античными комедиями и поэтому не стал их перечислять.

„*Пиндаровы стихотворения*".

Уж не те ли самые, которые Клоссиус видел в знаменитой Амброзианской библиотеке в Милане, когда нашел там отрывки из «Кодекса Феодосия»? Нет, там были не стихи, а песни, и притом рукопись была с изъянами, гораздо хуже ватиканской. Что же это за стихи? Новый список тех же песен или еще никому не известных? Клоссиус, конечно, не мог знать, что еще одна рукопись действительно неизвестных стихов Пиндара вместе с отрывками из двух трагедий Еврипида, также считавшихся навсегда утраченными, будет найдена в 1905 году на границе Ливийской пустыни в Оксиринхе при раскопках остатков библиотеки какого-то ученого.

Список заканчивался перечислением не считавшихся большой редкостью сочинений: Феодора, Афанасия и других толкователей указов и законов, составленных при византийском императоре Юстиниане, а также выпущенного при нем же на греческом языке сборника извлечений из трудов крупнейших римских юристов*.

Из восьмисот рукописей, хранившихся в библиотеке Ивана Грозного, было названо всего несколько десятков, но и по ним можно было составить представление об ее огромной ценности. Находка их позволила бы восполнить огромные пробелы в наших знаниях об эпохах расцвета великих древних культур Греции и Рима.

«Вот список творений, которые, во всяком случае, если даже и отнести иное к неточности и неосведомленности автора, должен возбудить величайшие ожидания,— записал Клоссиус в своем блокноте. —...Такое собрание позволило бы России возродить для Европы времена князей Медичи, Петрарки и Боккачио, когда из пыли библиотек были извлечены неведомые сокровища. ...И какое изумительное богатство источников для изучения римского права!!!»

«Как выглядел подлинник этого списка?»—продолжал допытываться Клоссиус. Уступая его настойчивым расспросам, Дабелов мог только повторить, что рукопись эта состояла всего из двух небольших страниц и была написана на пожелтевшей бумаге на редкость неразборчивым почерком. Чернила сильно выцвели. Дабелов не

мог восстановить в памяти имя автора списка, так как он почему-то забыл его записать. Это внушало подозрения: не был ли этот анонимный список фальшивкой? Юрист помнил только, что подпись была не Веттермана. Иначе это и не могло быть. Ведь Веттерман отверг предложение царских дьяков заняться переводом иноязычных книг.

Но тогда кто же?

Клоссиус перебирал в памяти знакомые ему по «Хронике» Ниенштедта и другим документам имена немецких пасторов, которых мог видеть Иван Грозный. В Дерпте в то время было всего две немецкие церкви, обслуживавшиеся тремя пасторами. Имена их удалось установить. Но как узнать, для кого из них мог еще раз отпереть тайники своего драгоценного книгохранилища Иван Грозный?

Это не был Фома, он же Томас Шревен, упоминаемый в «Хронике» Ниенштедта как спутник Веттермана. Но приблизительно в это же самое время в Москве гостил Христиан Шреффер, придворный проповедник голштинского принца Магнуса, получивший впоследствии приход в Дерпте.

Только подлинник найденного Дабеловым и отосланного им назад в Пярну краткого каталога книжных сокровищ мог дать точный ответ на этот вопрос. Не дожидаясь, когда из Пярну ответят на его запрос, Клоссиус решил сам заняться поисками утраченного документа. Но... в Пярнском архиве его не оказалось.

Престарелый архивариус не мог даже вспомнить, куда девалась эта злополучная тетрадь с дабеловской пометкой. Он утверждал, что не видел этого списка и двадцать лет назад, когда вместе с главным смотрителем в последний раз составлял опись всего архива. Поиски злополучного списка в других местах также оказались напрасными.

Потеряв надежду увидеть почерк пастора собственными глазами, Клоссиус все же не усомнился в подлинности найденного Дабеловым каталога и в необходимости продолжать поиски всех перечисленных в нем уникумов.

Если еще знаменитый русский историк Карамзин, не подозревавший о списке Дабелова, а пове ивший только впечатлениям Максима Грека и Веттермана, дошедшим до него из вторых рук, писал о существовании библиотеки Ивана Грозного как о неоспоримом факте, то теперь эти рукописи следовало найти во что бы то ни стало. Таков был вывод, сделанный профессором Клоссиусом и ставший для него программой действия.

В течение нескольких лет неутомимый ученый продолжал поиски остатков сокровищ Ивана Грозного во многих книгохранилищах вплоть до библиотеки Вознесенского монастыря в бывшей Александровской слободе, куда царь, как известно, переехал в 1565 году при учреждении опричнины.

По просьбе Клоссиуса профессор духовной академии иеромонах Афанасий навел справки у игуменьи этого монастыря и получил неутешительный ответ, что в монастырской библиотеке числится только два десятка рукописей позднейшего происхождения и вообще в монастыре не осталось никаких следов пребывания в нем Ивана Грозного.

Убедившись только через семь лет после своего приезда в Россию в бесплодности дальнейших поисков, Клоссиус решился наконец признать, что книгохранилище

Ивана Грозного «не смогло спастись от гибельных опустошений, испытанных Россией в прежние времена. Оно исчезло, не оставив по себе никаких следов, и все мои старания получить какие-нибудь сведения о нем остались тщетными».

Если библиотека и была взята царем в слободу, с горечью писал Клоссиус, то она погибла во время смятений при Лжедмитриях или, может быть, при страшном пожаре Москвы в 1626 году.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЕЙДЕНСКОГО МАНУСКРИПТА

Неутомимый охотник за рукописями пришел к столь неутешительным выводам после тщательного изучения всех доступных ему сведений о царской библиотеке.

Интерес к исчезнувшим книжным сокровищам остыл и, быть может, заглох бы совсем, но через полстолетия он снова оживился благодаря случайному сопоставлению фактов, сделанному другим, не менее предприимчивым иностранным ученым, тоже немцем.

Живя на полвека позже Клоссиуса, филолог Эдуард Тремер не был даже знаком с его выводами, опубликованными в малораспространенном дерптском литературном ежегоднике и в одном петербургском журнале. Этот ученый никогда не бывал в России и ничего не слыхал о библиотеке Ивана Грозного.

Приват-доцент Эдуард Тремер, случайно оказавшийся однофамильцем того самого архивариуса, который по просьбе Клоссиуса откопал в дерптском архиве некоторые сведения о пасторе Веттермане, по образованию был филологом, специалистом по древнегреческой литературе.

В 1890 году он читал в Страсбургском университете курс лекций об «Илиаде» и гимнах Гомера. Готовясь к своим лекциям, он заинтересовался вопросом о древних рукописных текстах этих гимнов. Самым лучшим и наиболее полным из всех считался текст так называемого Лейденского манускрипта. Происхождение этой драгоценной рукописи,— так обычно ее называл сам Тремер,— было окружено ореолом таинственности.

Написанная, судя по почерку, приблизительно в XIV веке, но довольно хорошо сохранившаяся рукопись гимнов Гомера и нескольких песен из его «Илиады» попала в библиотеку Лейденского университета не из солнечной Греции, а из... заснеженной Москвы, где она была открыта в 1777 году известным немецким филологом и палеографом профессором Христианом Фридрихом Маттеи.

Еще задолго до Клоссиуса Маттеи изучал хранившиеся в московских синодальных библиотеках латинские и греческие рукописи и по предложению мецената кня-

зя Потемкина составил их подробное научное описание. О своей ценной находке он еще тогда поспешил оповестить ученый мир, сняв с нее копию и послав ее известному голландскому филологу Рункену. При этом, однако, Маттеи проявил странную для палеографа забывчивость: посылая копию, он не упомянул, где именно находится ее оригинал.

Предполагая, что Маттеи нашел эту рукопись в бывшей московской патриаршей библиотеке, славившейся богатым собранием греческих рукописей, Рункен издал в 1780 году перевод полученного от Маттеи Гомерова «Гимна Церере», сопроводив его примечанием, что оригинал принадлежит именно этой библиотеке в Москве.

Вскоре после этого голландский ученый получил опять письмо из России. Маттеи считал своим долгом уведомить Рункена, что последний допустил ошибку. Рукопись с гимнами Гомера, разъяснял Маттеи, никогда не принадлежала библиотеке московского патриарха. В этом письме Маттеи довольно подробно рассказывал о том, с каким трудом после долгих уговоров он приобрел эту рукопись у одного частного коллекционера, коллежского асессора Карташова, которому она была подарена его тестем, протопресвитером Успенского собора в Кремле. Но, добавлял Маттеи, она попала в Москву, по всей вероятности, из Греции или из Афонского монастыря. Узнав, не без некоторого удивления, что владельцем этой ценной рукописи оказался сам Маттеи, Рункен убедил его уступить свое сокровище за 25 золотых дукатов Лейденской библиотеке.

Эдуард Тремер, вероятно, удовлетворился бы этими сведениями, если бы не сопоставил их с одним любопытным фактом, обнаруженным им при чтении лондонского издания гимнов Гомера, выпущенного в 1850 году немецким филологом Христиан-Готлибом Гейне, также переписывавшимся с Маттеи. В одном из примечаний к гимнам Гомера Гейне, ссылаясь на Маттеи, сообщал, что в Главном архиве министерства иностранных дел в Москве имеются еще две греческие рукописи XIV века с текстом «Илиады». Одна из них начинается 1-й песней и кончается отрывком 9-й песни на 434-м стихе.

Но в Лейденской рукописи, к великой радости Тремера, отрывок из «Илиады» как раз начинался с 435-го стиха 9-й песни. Не был ли находящийся в Москве список «Илиады» началом этой рукописи? Но почему же тогда они разъединились и очутились в разных местах?

В поисках ответа на этот вопрос профессор Тремер раскрыл нумизматический словарь Бутковского. Наряду с подробными справками о старинных монетах и кладах он нашел там небольшую заметку и о Лейденской рукописи.

Ссылаясь на сведения, полученные им от самого директора Московского главного архива министерства иностранных дел, князя М. А. Оболенского, составитель справочника утверждал, что Лейденская рукопись гимнов Гомера находилась раньше в библиотеке великой княгини Софьи Палеолог, племянницы последнего византийского императора и родной бабки Ивана Грозного.

Там же сообщалось как о достоверном факте, что для этой библиотеки при Иване Грозном в 1565 году был составлен каталог дерптским пастором Веттерманом.

Каким образом могли попасть гимны Гомера в московский архив министерства иностранных дел? Вот что интересовало теперь Тремера. Он узнал, что именно в

этом архиве хранятся все уцелевшие дела созданного еще при Иване Грозном Посольского приказа.

Если рукопись «Илиады» и гимнов Гомера попала в этот архив из библиотеки Ивана Грозного, значит, там же могут находиться и другие не менее ценные рукописи из этого богатейшего книгохранилища, решил Тремер. Но почему князь Оболенский, рассказывая составителю нумизматического словаря о происхождении Лейденской рукописи, ни словом не обмолвился, что начало ее находится в его собственном архиве? Если много лет назад немецкий филолог Маттеи сумел обнаружить в этом архиве такую жемчужину, не удастся ли ему, Тремеру, найти там и другие подобные сокровища — быть может, остатки библиотеки Ивана Грозного?

В 1891 году страсбургский филолог решил предпринять путешествие в Россию.

В Петербурге, куда Тремер направился сначала за разрешением на проведение намеченных им поисков, первый же русский ученый, к которому он обратился, академик А. А. Куник, сообщил, что один немецкий профессор уже занимался такими поисками, но ничего не нашел.

Только здесь Тремер узнал о бесплодной попытке разыскать библиотеку Ивана Грозного, предпринятой его соотечественником, профессором Дерптского университета Клоссиусом. Болезнь заставила Клоссиуса вернуться на родину, где он вскоре и умер, так и не закончив задуманного им многотомного труда о библиотеках России.

Профессор Тремер с большим интересом прочел в архиве статью своего коллеги, подводившую итоги его неудачным поискам. Но стоило ли предпринимать такое далекое путешествие в чужую страну только для ознакомления с безотрадными выводами своего соотечественника? Тремер, молодой ученый с практической жилкой, решил не отступать.

Ведь Клоссиус, рассуждал он, подбадривая себя, изучал главным образом рукописи церковных и монастырских библиотек. Древних текстов, хранящихся в Московском главном архиве бывшей коллегии, а затем министерства иностранных дел, он не видел. Он не держал в своих руках ни одной рукописи или старопечатной книги, о которой можно было бы наверняка утверждать, что она была в библиотеке Ивана Грозного. Другое дело он, Тремер, изучавший гимны Гомера по рукописи, находившейся раньше в этой библиотеке, видавший собственными глазами эту рукопись. Клоссиус даже не подозревал, что такая рукопись была в московском архиве.

С этого архива Тремер и решил начать свои поиски. Он был глубоко убежден, что оказавшаяся в его руках тоненькая нить — уточнение «биографии» Лейденской рукописи — приведет его к выяснению судьбы всей библиотеки Ивана Грозного.

Познакомившись с приведенным в статье Клоссиуса списком Дабелова, Тремер ясно представил себе, какой успех ждет его, если он действительно обнаружит казавшиеся навсегда утраченными сочинения Цицерона, Тацита, Полибия, Кая Лициния Кальвуса... Какой-то немецкий пастор держал их в руках и даже переводил!..

В Петербурге Тремеру теперь нечего было делать. Тоненькая ниточка, за один конец которой он ухватился, вела его прямо в Москву, туда, где находилось начало Лейденской рукописи.

ЕВРОПЕЙСКОЕ СВЕТИЛО

НАЧИНАЯ поиски следов библиотеки Ивана Грозного в Московском главном архиве министерства иностранных дел, Тремер захотел прежде всего выяснить, откуда бывший управляющий этим архивом, покойный князь Оболенский, получил сведения о происхождении Лейденской рукописи, попавшие потом в нумизматический словарь.

Результат был неожиданным. Источником справки, заставившей Тремера предпринять такое далекое путешествие, оказалась все та же статья его неудачливого коллеги, профессора Клоссиуса.

Познакомившись раньше Тремера с приведенным в этой статье списком Дабелова, князь Оболенский сделал поспешный вывод, что и гимны Гомера должны были находиться в царском книгохранилище. Сведения о том, что составителем каталога библиотеки Ивана Грозного был Веттерман, он почерпнул в «Истории государства Российского» Карамзина, который в свою очередь взял их из сочинений немецких историков. Первоисточником же этих сведений оказалась все та же «Хроника» Ниенштедта.

Как и Клоссиус, Тремер с «высочайшего соизволения» получил доступ в старинный особняк с дощечкой на дверях «Московский главный архив министерства иностранных дел».

«С великой радостью и удивлением,— признавался Тремер впоследствии,— нашел я здесь значительную библиотеку греческих и латинских рукописей... Это было то самое собрание рукописей, которое Клоссиусу не удалось осмотреть, несмотря на полученное им разрешение: тогдашний управляющий архивом, сенатор А. Ф. Малиновский, держал это собрание рукописей запечатанным».

Но как только Тремер, вооружившись лупой, приступил к изучению этих рукописей, ему пришлось сделать печальный вывод: большинство текстов относилось к XVII столетию, следовательно, они не могли находиться в библиотеке Ивана Грозного, умершего в конце XVI века. Было несколько рукописей и более древних, но и они, как затем выяснилось, лишь в XVII веке попали в этот архив.

Здесь хранились старинные рукописи на двадцати четырех языках. Среди них под порядковым номером 797/6 значился в описи и текст «Илиады», составлявший когда-то одно целое с Лейденской рукописью.

Тремер сразу же узнал свою драгоценность. Такой же формат и почерк, цвет чернил слегка порыжел, как и в той, которую он видел в Лейдене. Такая же плотная бумага. Тремер стал рассматривать ее на свет. На некоторых листах, как и в Лейденской рукописи, просвечивали водяные знаки в форме ножниц, на других — в виде короны или шапки. Так же, как и в той рукописи, стихи были расположены двумя столбцами по тринадцать строк в каждом. На 434-м стихе рукопись обрывалась. Если она раньше составляла одно целое с Лейденской, то когда же и при каких обстоятельствах она разъединилась?

За несколько веков рукопись, конечно, успела побывать во многих руках. Во всяком случае, можно было без всяких затруднений установить, что она прошла че-

рез руки все того же знатока древнегреческих текстов, немецкого ученого — Христиана Фридриха Маттеи.

Заглянув в составленный эллинистом в 1780 году по поручению князя Потемкина каталог греческих рукописей бывшей патриаршей библиотеки, Тремер нашел в нем примечание и о греческих рукописях московского архива, с которыми Маттеи, видимо, имел случай познакомиться. Из всех греческих рукописей архива Маттеи счел нужным особенно отметить только три, в том числе «бумажную рукопись Гомера». Эту рукопись вместе с двумя другими, по его собственным словам, «давал ему на время» сам академик Герард Фридрихович Миллер, один из первых управляющих архивом, вступивший в эту должность еще при Екатерине II. Тремер вспомнил и о примечании в изданных в Лондоне гимнах Гомера. Из этого примечания также вытекало, что Маттеи был знаком с обеими частями рукописи.

Научный сотрудник архива С. А. Белокуров, к которому Тремер обратился за справкой, высказал предположение, что Маттеи просматривал «бумажную рукопись Гомера» не позже 1780 года, когда был выпущен тот самый каталог, в котором он упоминал об этой рукописи. Значит, в то время она еще находилась в архиве.

Не была ли часть рукописи изъята именно во время этого просмотра? И как раз та часть, которая через несколько лет оказалась собственностью Маттеи? Вот какой напрашивался щекотливый вопрос.

Профессор Тремер, осведомленный о безупречной репутации знаменитого эллиниста, не допускал, конечно, такой оскорбительной мысли. Но опытный архивный следопыт С. А. Белокуров не мог отнестись безразлично к выяснению этих вопросов: каким образом и при чьем участии одна из самых ценных греческих рукописей, хранившихся в этом архиве, разделилась на две части? И как могла потом одна ее половина таинственно исчезнуть после изучения ее иностранным ученым и очутиться через некоторое время на его родине?

Белокуров решил прежде всего навести кое-какие справки в канцелярии Московского университета, по приглашению которого Маттеи еще в 1772 году впервые приехал в Россию. Но архив этой канцелярии сгорел вместе с библиотекой университета во время пожара Москвы при нашествии французов еще в 1812 году.

По случайно уцелевшим в университете документам и изданным им позже печатным трудам удалось установить, что указом Екатерины II от 28 февраля 1782 года ординарному профессору Московского университета Христиану Фридриху Маттеи было присвоено звание коллежского асессора. В 1784 году он стал уже надворным советником, но в том же году неожиданно «уволился по нездоровью своему и фамильным нуждам» и вернулся на родину.

Когда же князь Потемкин через русского посла при саксонском дворе, князя Белосельского, предложил ученому снова приехать в Россию для занятия кафедры древней филологии в создаваемом в Екатеринославе университете, Маттеи опять сослался на недомогание, не помешавшее ему, впрочем, исполнять хлопотливую должность ректора известной Мейссенской провинциальной школы, а также преподавать в Виттенбергском университете. Но в 1804 году эллинист после двадцатилетнего перерыва все же возвратился в Москву, где в 1811 году и умер.

«Христиан Фридрих Маттеи,— прочел Белокуров в словаре профессоров и преподавателей Московского университета, — был истинно ученый и просвещенный муж, пользовавшийся величайшим уважением не только при Московском университете и вообще в России, но и во всем ученом европейском мире. Он обладал обширными и разносторонними познаниями по различным отраслям наук».

Но Белокурова интересовала не столько служебная деятельность маститого ученого, сколько та, которая протекала вне стен университета. О ней тоже не забыл упомянуть словоохотливый биограф.

«Два наших книгохранилища, библиотеки святейшего синода и синодальной типографии, представляли обильный и драгоценный материал для искусного деятеля на поприще классической древности»,— сообщал автор этой биографической статьи. Заслуга Маттеи, по его мнению, состояла в том, что он хотел познакомить Европу с имевшимися в России рукописными сокровищами. Это-то и заставляло «преданного до страсти своему занятию профессора Маттеи двукратно покидать любезное свое отечество и большую часть жизни своей оставаться в нашем северном краю».

Первый каталог хранившихся в бывшей библиотеке московского патриарха греческих рукописей,— это знал Белокуров,— был составлен по повелению Петра I еще в 1723 году переселившимся в Россию с острова Кефалонии греком Афанасием Скиадою. «Сам Скиада,— напоминал автор биографической справки,— считал его недостаточным и неполным... И вот является знаменитый эллинист и филолог с обширным и глубоким познанием греческого языка и словесности,— ликовал биограф,— соединивший редкие сведения палеографические... Маттеи мог свободно читать греческие рукописи всех времен, написанные на различных диалектах, разными почерками и с разными аббревиатурами[1], что ставило его между современниками едва ли не единственным в целой Европе».

Двенадцать лет подряд занимался Маттеи описанием рукописей двух московских синодальных библиотек и в течение этого времени издавал свои труды, неизменно посвящая их какому-нибудь влиятельному лицу: князю Потемкину, самой императрице, а позже ее сыну и внукам «в знак истинной и глубокой благодарности за мудрое покровительство и высокое внимание к трудам издателя».

Екатерине II Маттеи посвятил целых семь «Соборных посланий святых апостолов», вышедших с его примечаниями.

Павлу I задолго до его вступления на престол дальновидный ученый угодил переводом «Послания апостола Павла к коринфянам».

Александру I он сделал пять «всеподданнейших подношений», за которые «в знак особого благоволения» к нему царя каждый раз получал бриллиантовый перстень. Кроме того, ему еще была выдана тысяча талеров «из кабинета его величества».

В списке древних рукописей, ставших известными научному миру благодаря Маттеи, был упомянут — это не ускользнуло от внимания Белокурова — и не находившийся в патриаршей библиотеке Гомеров «Гимн Деметре», то есть Церере.

---

[1] Аббревиатура — сокращение текста.

Белокуров не поленился заглянуть и в словарь русских светских писателей, составленный известным знатоком древностей митрополитом Евгением. Ученый в рясе также с большой похвалой отзывался о работах Маттеи.

Все, что узнал Белокуров о Маттеи из официальных источников, сводилось к тому, что «он был одним из тех знаменитых иностранцев, которые вполне оправдали свое призвание и сделались достойными уважения и благодарности при жизни и после смерти».

Такой бескорыстный служитель науки, конечно, не мог похитить драгоценную рукопись и продать ее за границу. Оставалось предположить, что не он, а тот, на кого Маттеи указывал в письме Рункену как на владельца, продавшего ему рукопись, добыл ее нечестным путем. Белокуров решил собрать исчерпывающие сведения о вероятном похитителе рукописи, установив прежде всего, кто такой коллежский асессор Карташов.

Белокуров выяснил, что чиновник с такой фамилией никогда не служил в Главном архиве министерства иностранных дел. Он не поленился просмотреть сведения, представленные московскими домовладельцами, вплоть до 1793 года, и нашел одного майора, одного купца и одного дворового человека, носивших фамилию Карташов. Коллежский же асессор с такой фамилией нигде не числился.

Маттеи писал Рункену, что господин Карташов (имени и отчества он почему-то не указал) был родственником профессора красноречия в Московском университете и зятем протопресвитера Успенского собора. Белокуров проверил и эти сведения. Выяснилось, что в то время обучал студентов ораторскому искусству профессор А. А. Барсов. Никакой родственной связи его с «господином Карташовым» установить не удалось. Оставался открытым также вопрос, могла ли эта таинственная личность быть зятем протопресвитера Успенского собора. Белокуров смог только узнать, что эту должность занимал в то время брат московского митрополита Александр Левшин.

Зная существующие в архиве порядки, Белокуров пришел к выводу, что протопресвитер не мог завладеть рукописью уже потому, что даже библейские тексты хранились в то время в архиве в запечатанных сургучной печатью шкафах.

Все это заставляло предположить, что названный ученым-эллинистом владелец рукописи был лицом явно вымышленным. Но это предположение еще не могло служить основанием для подозрения самого Маттеи.

Вопрос о том, когда и при каких обстоятельствах исчезла из архива часть рукописи, получившая впоследствии название Лейденской, пока оставался невыясненным. Если бы даже удалось напасть на след чиновника с фамилией Карташов, его бы уже давно не оказалось в живых, как не было в живых и самого Маттеи.

Вместе с ними оказался бы, вероятно, похороненным вопрос о происхождении гимнов Гомера. Но тут на помощь Белокурову пришли вдруг авторитетные свидетели, хотя и давно вычеркнутые из списков живых.

ОТ ПОДОЗРЕНИЙ К УЛИКАМ

УРОЖЕНЕЦ острова Кефалонии Афанасий Скиада был зачислен сначала аудитором (делопроизводителем) в один из конных полков. Петр I вскоре определил его профессором греческого языка в Московское типографское училище.

Скромный кефалонец на этом, по всей вероятности, и закончил бы свою карьеру, если бы приехавший в 1722 году в Москву голштинский герцог Карл Фридрих не захотел осмотреть библиотеку московского патриарха. Скиаде было предложено срочно подготовить для высокого лица список хранящихся в этой библиотеке древних греческих рукописей.

Недавний письмоводитель кавалерийского полка сначала растерялся: ведь многие рукописи не имели даты! Он составил для герцога краткий список только тех рукописей, «в коих означено время письма».

Во второй каталог Скиада включил 304 рукописи, «неизвестно когда писанные», которым сам он по приметам «означил век». И, наконец, ему пришлось составить еще один каталог для рукописей, числившихся в патриаршей типографской библиотеке. Все эти каталоги он соединил вместе и, отпечатав в типографии, посвятил «своему благодетелю» Петру I.

Один экземпляр этого каталога, очень скоро ставшего библиографической редкостью, имелся и в библиотеке Главного архива министерства иностранных дел.

Белокуров достал его с книжной полки и стал перелистывать. Он сразу же заметил, что несколько строчек текста Скиады были обведены красным карандашом, а на поле виднелась какая-то пометка.

«Сия предражайшая библиотека великороссийская,— рассуждал Скиада,— всегда бысть заключена, и положенные в ней книги иностранным не сведомы быша, каталог о них ни один бысть сочинен (далее следовали строчки, обведенные красным карандашом)... сей же, мною сочиненный, испытнейшего требует следования, ибо в средине книги или при конце множицею приписана иная дела, яже в начале книги не суть означена».

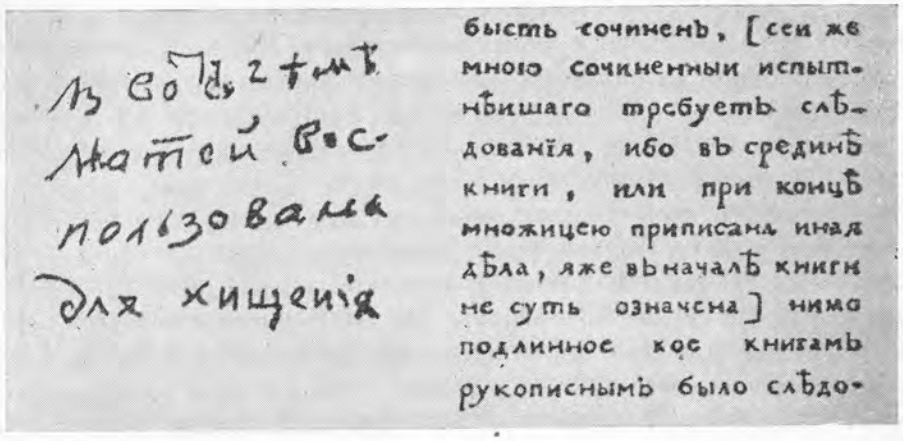
Против этих строк тем же красным карандашом довольно четким почерком, показавшимся Белокурову знакомым, было написано:

«N В. Вот чем Матей воспользовался для хищения!»

Кто мог это написать? И о каком именно хищении, прикрытом пробелом в каталоге, могла здесь идти речь?

Во всяком случае уже одно подозрение, что какое-то «хищение» связано с именем известного эллиниста, побуждало продолжать поиски. Белокуров решил во что бы то ни стало установить автора пометки, сделанной красным карандашом.

... Библиотекой архива со дня ее основания пользовались все его сотрудники — от управляющего, имевшего иногда звание академика, до простого актуариуса, но пометки на полях редких книг разрешал себе делать, конечно, далеко не каждый.



Пометка на полях каталога, составленного Скиадой: „Вот чем Матей воспользовался для хищения".

Такое нарушение строгих архивных правил могла себе позволить разве только очень высокая персона.

Красным карандашом также пользовались не все служащие, а главным образом высокое начальство и прежде всего управляющие архивом, резолюции и замечания которых Белокурову не раз приходилось видеть на различных документах. Вот почему этот почерк и показался ему знакомым.

Перебирая имена управляющих архивом, Белокуров пришел к выводу, что автором пометки не мог, конечно, быть самый первый из них, не знавший Маттеи Собакин. Его сменил известный историограф академик Миллер, покровительствовавший Маттеи и предпочитавший при всей своей приверженности к изучению русской истории думать и писать по-немецки.

Скорее всего это был один из преемников Миллера, ближайший ученик его и помощник Николай Николаевич Бантыш-Каменский, первый настоящий хозяин архива, взявший на строгий учет все его богатства и спасший его от французов в 1812 году.

Современником Маттеи был и Алексей Федорович Малиновский*. Начав свою работу еще при Миллере простым актуариусом, он прослужил в архиве целых 62 года, из них 27 в должности управляющего. Про него говорили, что он знал архив как свой кабинет и любил без памяти, считал его как бы «своей колыбелью и могилой».

Почерки этих двух выдающихся архивистов были так схожи, что трудно было решить, кто же из них мог быть автором пометки.

Наконец сомнения отпали. В одной из бумаг Малиновский сделал именно такую закорючку в букве «щ», которая была в написанном на полях слове «хищение».

При Малиновском архив обогатился многими ценными рукописями, причем некоторые из них он покупал на свои средства. Именно при нем в архиве были введены

такие строгости, что Клоссиус, несмотря на «высочайшее соизволение», так и не смог осмотреть рукописи, лежавшие в запечатанном шкафу. Когда же он пожаловался на это Малиновскому, тот очень любезно послал немецкому ученому список всего, что его интересовало. Но одно дело послать список, другое — допустить к самим рукописям, как это практиковал, например, предшественник Малиновского Миллер, разрешавший Маттеи брать рукописи даже домой.

Не потому ли Малиновский стал таким «цербером», что на примере Маттеи убедился, как опасно доверять некоторым иноземным гостям архивные сокровища? Но почему же он все-таки не решился заявить об этом во всеуслышание?

У директора архива были, очевидно, для этого какие-то основания. С другой стороны, делая такую пометку на полях общедоступного каталога, он не очень заботился о сохранении своей догадки в тайне.

Малиновский, кроме должности управляющего архивом, занимал еще пост члена сената по уголовным делам. Не имея веских доказательств, он вряд ли отважился бы бросить Маттеи даже анонимное обвинение. Но он, конечно, заметил, что драгоценная рукопись «Илиады» после «изучения» ее Маттеи уменьшилась вдвое.

То, чего не хватало в пометке Малиновского, Белокуров нашел в другом письменном свидетельстве, составленном не менее авторитетным лицом. Этим лицом был крупнейший русский писатель и историк конца XVIII — начала XIX столетия, знаток древних рукописей, автор «Истории государства Российского» Николай Михайлович Карамзин.

В 1789 году, еще в самом начале своей литературной деятельности, Карамзин предпринял длительную заграничную поездку, описанную им впоследствии в его «Письмах русского путешественника». Карамзин побывал в Германии, Швейцарии, Франции и Англии. Находясь в Германии, он не упустил случая посетить такой богатый памятниками искусства и культурными ценностями город, каким был в то время Дрезден. Осмотром знаменитой Дрезденской картинной галереи Карамзин не ограничился, заглянул, конечно, и в городскую библиотеку, заинтересовался хранившимися в ней старинными книгами и рукописями.

В письме, помеченном 12 июля 1789 года, передавая свои впечатления от посещения этой библиотеки, Карамзин между прочим сообщал:

«Между греческими манускриптами показывают весьма древний список одной Еврипидовой трагедии, проданной в библиотеку бывшим московским профессором Маттеи. За этот манускрипт, вместе с некоторыми другими, взял он с курфюрста около 1500 талеров. Хотел бы я знать, где г. Маттеи достал сии рукописи?»

Но Карамзин, так же как и Малиновский, не решился публично заклеймить обласканного высокими покровителями иностранного ученого: автор «Истории государства Российского» был царедворец и дипломат.

На вопрос Карамзина, где Маттеи взял проданную им Дрезденской библиотеке рукопись, дал ответ небезызвестный в середине прошлого века литературовед Степан Шевырев. В изданной им в 1859 году «Истории русской словесности» было сказано вполне отчетливо, что виденную Карамзиным в Дрездене рукопись Еврипидовой трагедии Маттеи взял из московской патриаршей библиотеки.

Белокуров с удовлетворением узнал, что даже один из ярых противников Шевырева, крупнейший знаток древнерусской письменности профессор О. М. Бодянский, в этом был с ним согласен. В 1870 году, перечисляя в «Православном обозрении» известных ему «библиографов дурной руки», от которых понесли ущерб монастырские библиотеки, он назвал имя Маттеи.

Об увозе Маттеи рукописи за границу упоминал в печати и ученик Бодянского, бывший старший советник синодальной типографии (книгохранилище которой когда-то также было хорошо знакомо Маттеи), известный исследователь памятников русской старины П. А. Бессонов.

И Белокуров уже не удивлялся, когда об этой библиотеке хранитель рукописей румянцевского собрания А. Е. Викторов писал: «Не угодно ли вам, любезный читатель, раскрыть хоть типографские «парамейники»?[1] Вы ужаснетесь! В одном парамейнике недостает начала, в другом — конца, в трех местах вырвана середина, и так все четырнадцать кодексов, та же история с прологами, евангельями, месячниками и проч. Это малость, если в рукописях недостает только нескольких тетрадей или одного начала нет. От многих драгоценных пергаменных рукописей только и осталось, что несколько тетрадей!»

В этой статье о книгохранилище патриаршей типографии не было названо имя преступника и перечислены «парамейники», но у Белокурова зародилось новое подозрение: не похозяйничал ли и тут Маттеи?

Итак, не только Гомер, но и Еврипид, и не только архивная, но и патриаршая библиотека сделалась жертвой Маттеи.

Появлялась другая нить, уводившая в бывшую библиотеку московского патриарха—одно из самых древних книгохранилищ Москвы. Первый вклад в нее был сделан еще в конце XVIвека будущим митрополитом Филаретом, обладателем ценного собрания почти из пятисот рукописных церковнославянских книг, и особенно разрослось при фактическом основателе этой библиотеки патриархе Никоне. Как раз предпринятое им исправление старых церковнославянских книг по каноническим греческим текстам и привело к усиленному пополнению библиотеки.

Именно на эту тему еще девятнадцатилетним юношей С. А. Белокуров написал свое первое самостоятельное исследование под названием «Собирание патриархом Никоном рукописей с Востока». Сколько пыльных, никем еще не тронутых папок с документами пришлось ему для этого пересмотреть в хранилищах архива!

Работа «Собирание патриархом Никоном рукописей с Востока» привела Белокурова к другой — описанию жизни человека, выполнившего важное поручение патриарха.

Просвещенный и расторопный старец Арсений Суханов из чужих земель привез для патриаршей библиотеки ни много ни мало, а полтысячи иноязычных древних рукописей «от того времени внеже они писаны» — почти столько же, сколько их, судя по списку Дабелова, было в библиотеке Ивана Грозного.

---

[1] П а р а м е й н и к — церковная книга, в которой собраны «паремии» (*греч.* — пословицы» «притчи») — выдержки из библии, приуроченные к определенным церковным праздникам.

АВТОГРАФЫ СТАРЦА АРСЕНИЯ

МЫШЛЕНОМУ и сведущему в науках сыну обнищавшего дворянина Путилы Елизарьевича Суханова (про которого всего лишь известно, что он был беден и худ и «волочился меж двор на Туле») приходилось на своем веку отправлять всякие должности: архидьякона и личного секретаря при патриархе Филарете, строителя[1] кремлевского Богоявленского монастыря, келаря Троице-Сергиевской лавры и, наконец, заведующего Московским печатным двором. Но, кроме того, и цари и патриархи не один раз доверяли Арсению Суханову особенно трудные поручения*.

Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон «изволиша со многою своею милостынею старца Арсения Суханова послати во Афонскую гору и во иные святые и старожитные места к держащим и еще греческого закона уставы непреложно, яко да и оттуду своея ради богатыя милостыни старописанные книги притянут».

Сведения об этом путешествии старца Арсения Суханова на Восток для пополнения патриаршей библиотеки старинными греческими книгами и рукописями были опубликованы еще при его жизни в предисловии к исправленному по греческим оригиналам и изданному в 1655 году «Служебнику».

Поездка эта требовала особенной предусмотрительности, так как Суханов вез с собой царскую «милостыню» — денежную казну и добрые «государевы соболя» на огромную по тому времени сумму: около пятидесяти тысяч рублей.

Озабоченному доставкой этой «милостыни» Суханову приходилось не раз нанимать провожатых «для бережения от татар и воров», так как в то время в этих краях «страх был великий от воинских людей, и от татар, и от венгров, и от межьусобий»*.

Получив богатую милостыню, монахи, «изымавши во своих книгохранительницах книги изрядны и право писаны греческим языком, числом 500». Сам Суханов отобрал их собственноручно в восемнадцати афонских монастырях.

Обратно Суханов решил ехать через Константинополь и едва в этом не раскаялся.

«Лихие люди наварили об нем солтану и хотели его пытать,— писал о Суханове царю Алексею Михайловичу константинопольский грек Фома Иванов,— а я ево в то время сохранил и про него сказал, что он уже давно ушол и ево, Арсения, отпустил тайно и мысль их злая от того отошла».

По дороге из Ясс он подвергся новым опасностям*.

«Много труда подъях и печали» выносливый старик Арсений во время этого путешествия, длившегося целых два года, а все-таки доставил в целости и сохранности 498 «изрядных и правописанных греческим языком» рукописей.

---

[1] Строитель — в смысле устроитель, распорядитель, иногда казнохранитель. Ответственная должность в монастырском штате.

Вернулся он невредимым и был вознагражден: назначен на почетную должность келаря древнейшего русского монастыря — Троице-Сергиевской лавры.

Самой старой книге, привезенной Сухановым,— древнейшему греческому евангелью — «прейде лет 1050», остальным, по словам ученого старца Епифания Славинецкого,— «овым прейдоша 700, овым по 500, овым 400 лет».

В числе 498 книг, доставленных Сухановым и прибывшими вслед за ним посланцами из Афона, было и 58 рукописей светского содержания, отчасти возмещавших утрату книжных сокровищ Ивана Грозного: сочинения Аристотеля, Аристида, Гомера, Демосфена, Плутарха, Софокла, Фукидида, Эсхилла и других мужей древности.

Все эти сведения были собраны Сергеем Алексеевичем Белокуровым в итоге многолетней кропотливой работы, неустанных раскопок в архиве министерства иностранных дел и в двадцати других государственных, монастырских и частных архивах и библиотеках.

Как и многие исторические личности допетровского периода, Арсений Суханов не оставил о себе самом почти никаких записей биографического характера.

Только в главном своем сочинении — «Проскинтарий» — Суханов замечает вскользь, что в конце книги приложена именная роспись его «сердоболей и сродников», но, как выяснил Белокуров, как раз эти листы во всех сохранившихся до нашего времени списках «Проскинтария» оказались утраченными.

Просматривая однажды рукописи, пожертвованные в «Общество изучения истории и древностей российских» разными частными лицами, Сергей Алексеевич Белокуров заинтересовался одним довольно хорошо сохранившимся текстом с длинным названием «Книга, глаголемая Старчество,— како достоит в своей совести иноку быти в отречении мирского жития и постриженин влас»— старинным руководством для отроков, постригающихся в монахи.

По почерку и ряду выражений Белокуров определил, что она написана в конце XVI или в самом начале XVII века.

На последней странице, как обычно, было указано место, где переписывались книга и имя писца.

«...Во именитом граде Коломне, в монастыри Голутвине; а трудивыйся многогрешный и великонедостойный раб божий дьячок Онтонко». А на поле той же страницы тем же почерком, но тайнописью были начертаны таинственные слова:

«Нукиси лы... лужапо»

Дальше следовало обычное извинение переписчика: «моего ради небрежения или малоумельства ума моего» за допущенные им при переписывании книги ошибки. Но их было очень мало.

Заменяя по предложенному известным палеографом П. М. Строевым способу, в определенном порядке одни буквы другими, Белокуров узнал подлинное имя писца.

Таинственные слова означали: «Путилин, сын Суханов».

Не удовлетворившись этим, Белокуров стал сличать рукопись «книги, глаголемой Старчество» с «своеручными» челобитными Арсения Суханова царю Алексею Михайловичу. Они были написаны одним и тем же почерком.

«Великонедостойный раб божий», дьячок Антон Путилович Суханов, при перемене мирского имени на монашеское взял себе имя Арсений, также начинающееся с первой буквы алфавита. В то время так было принято. Белокуров подтвердил это примерами: князь Алексей Михайлович Львов, постригшись в монахи, превратился в инока Авраамия, царский духовник протопоп Никита, уйдя в монастырь, стал отцом Никифором, князь Петр Михайлович Щенятев взял себе имя Пимен.

Прослеживая по архивным документам карьеру скромного инока, обладавшего, несомненно, незаурядными способностями, Белокуров наткнулся на любопытный штрих.

Как архидьякону патриарха, молодому Арсению Суханову полагалось по царскому указу поденное питье: кружка меда и три кружки пива.

Но приучавший себя с юных лет к воздержанию, Арсений предпочитал получать стоимость этого питья деньгами — по две деньги за кружку. На скопленные таким путем сбережения он приобретал и даже заказывал рукописные книги, стоившие в то время очень дорого.

Автограф старца Арсения.

Белокурову удалось разыскать семь рукописей, приобретенных Сухановым, с замечаниями на полях, свидетельствовавшими о том, что этот книголюб умел не только внимательно читать, но и любил рассуждать по поводу прочитанного.

Извлекая по крупинкам отрывочные сведения о Суханове из хранившихся в архиве грузинских и греческих статейных списков[1] , из дел Разрядного и Малороссийского приказов и бывшей патриаршей канцелярии, из ветхих «десятен» и еще не разобранных столбцов XVII века, Белокуров сумел в работе о нем воссоздать в главнейших чертах весь жизненный путь многоопытного старца.

Путешествие за рукописями на Восток было его последним подвигом.

Трудясь над биографическим очерком «Арсений Суханов», Белокуров поставил себе задачу восполнить существенный пробел в освещении духовной жизни XVII века. Но ученый преследовал при этом и еще одну цель: выяснить дальнейшую судьбу привезенных Сухановым книг и рукописей и, в частности, доискаться, какие именно из них пригодились для предпринятой патриархом Никоном церковной реформы.

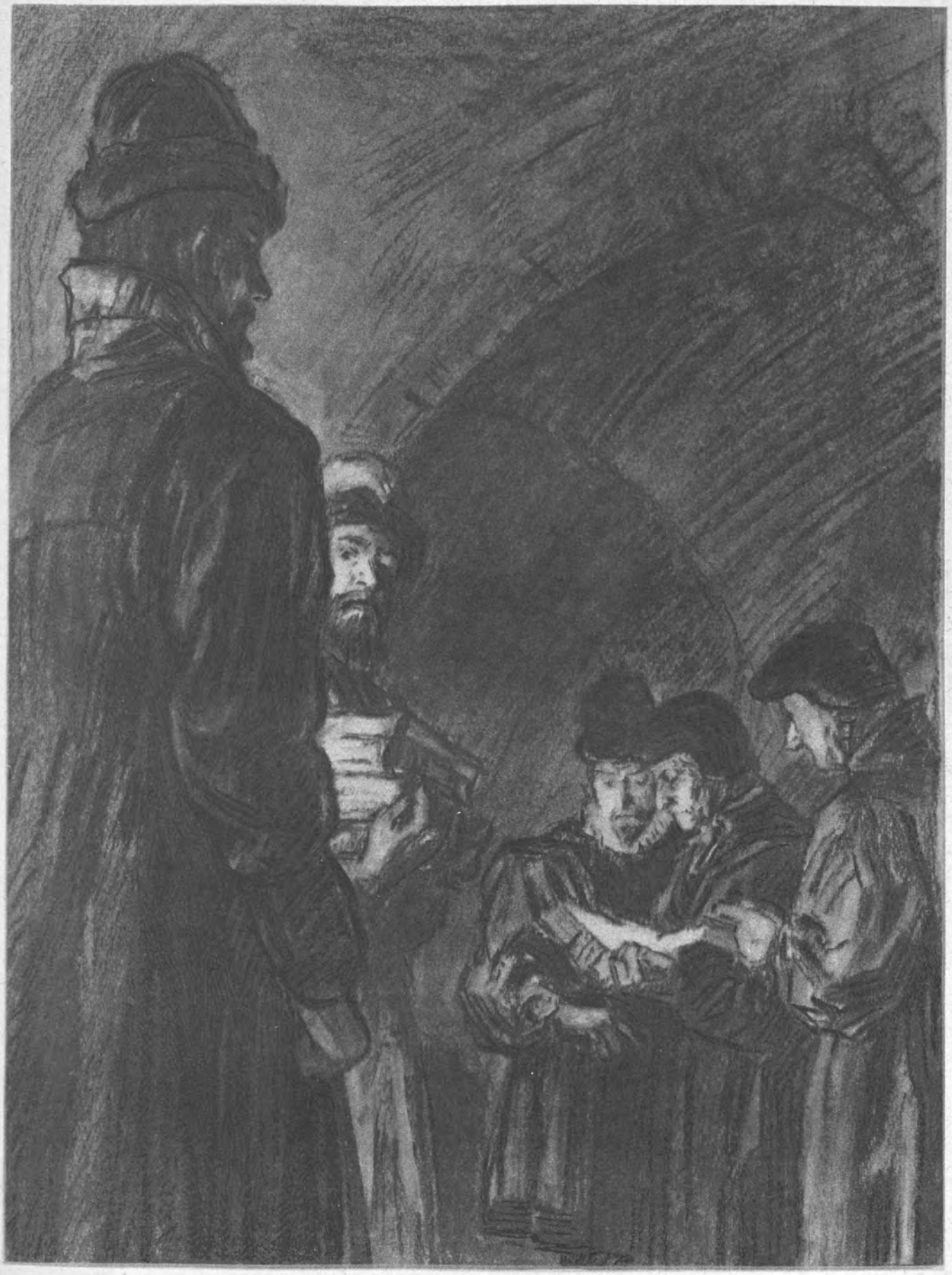
Выяснить судьбу не одной, а пятисот рукописей, через двести с лишним лет разыскать 433 древние греческие книги из 498 доставленных Сухановым с Востока—за такое дело мог взяться только обладавший большой выдержкой и терпением исследователь.

Через три года после возвращения Суханова патриарх Никон, как известно,

---

[1] Статейный список — собрание документов, освещавших деятельность того или иного русского посольства в иностранном государстве. Служил главным образом для справок.

Царь велел показать пастору Веттерману свои книжные сокровища.



оставил патриарший престол и удалился в Воскресенский монастырь. Он взял с собой значительную часть привезенных Сухановым книг.

Около полусотни этих книг были еще раньше переданы на московский Печатный двор для сверки новых изданий. Остальные попали в разные монастырские библиотеки.

Описи не давали ответа на вопрос, куда делись некоторые упоминавшиеся в них книги, и Белокуров перешел поэтому на другой, более надежный, но и очень трудоемкий метод исследования. Он стал сам разыскивать все эти рукописи и книги в разных архивах и библиотеках по тем пометкам, которые на них оставил Суханов.

Большинство рукописей и книг, привезенных Сухановым, кроме, может быть, нескольких десятков, прихваченных им в своем личном багаже, имели один отличительный признак: отбирая книгу для отсылки в Москву, Суханов обычно писал свое имя — Арсений — на нижнем поле одного из первых листов. Вряд ли кто-нибудь другой из его современников оставил потомству столько автографов! Вот по этим-то пометкам, а в тех случаях, когда первые листы были оторваны,— по другим признакам Белокуров сумел через двести с лишним лет после возвращения Суханова с Востока разыскать 433 привезенные им древние греческие рукописи из 498 и 18 славянских из 29.

Казалось бы, можно было удовлетвориться этим великолепным результатом! Не хватало всего какой-нибудь полсотни рукописей. Но неутомимому следопыту этого было мало. «Синодальные библиотеки,— говорил он,— это не бакалейные лавки, в которых некоторую недостачу всегда можно объяснить усушкой или утруской. Куда могли эти рукописи деваться?»

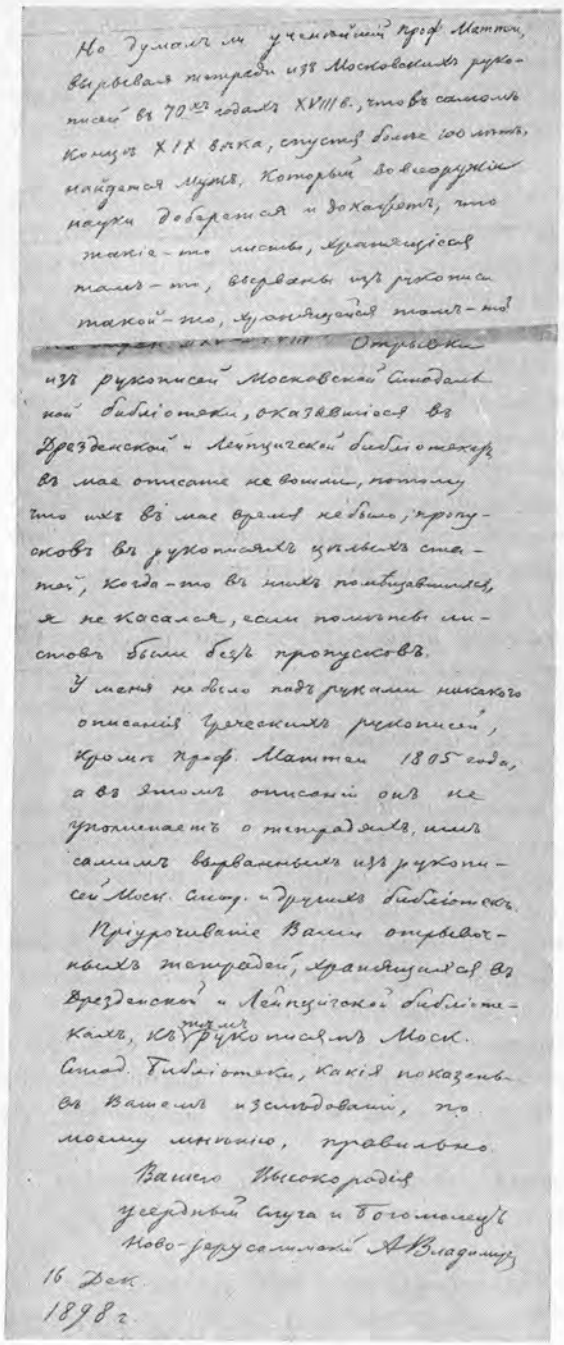
Перебирая в памяти фамилии людей, которым на протяжении двух веков разрешалось пользоваться этими рукописями и книгами — знатоков древнегреческого языка было не так уж много,— Белокуров самостоятельно, не имея еще в руках лейденской ниточки, подошел к выводу: не мог ли часть этих рукописей присвоить Маттеи? Ведь большинство привезенных Сухановым рукописей после смерти патриарха Никона опять вернулось в патриаршую библиотеку, в которой в течение двенадцати лет проводил свои научные исследования знаменитый эллинист.

Таким образом, поиски библиотеки Ивана Грозного и расследование происхождения Лейденской рукописи привели попутно к выяснению важного обстоятельства: Маттеи, изучая памятники древней письменности, присвоил некоторые из них.

Находка Карамзиным в Дрездене принадлежавшей патриаршей библиотеке рукописи трагедии Еврипида прямо указывала на то, что маститый ученый их попросту крал, а затем продавал.

«Только ли Гомер, только ли Еврипид? —спрашивал себя теперь Белокуров. Какие еще сочинения великих мыслителей древности из тех, что привез с Востока Суханов, могли быть похищены этим ученым-грабителем?»

«Если мне удалось,— рассуждал Белокуров,— по таким четким отличительным признакам, как надпись «Арсений», найти в наших русских библиотеках почти все привезенные им рукописи, почему бы не попробовать по этим же пометкам разыскать остальные за границей?»



Но думаю ли ученейший проф. Маттеи, вырывая тетради изъ Московскихъ рукописей въ 70-хъ годахъ XVIII в., что въ самомъ концѣ XIX вѣка, спустя болѣе 100 лѣтъ, найдется мужъ, который во всеоружіи науки доберется и дознается, что такія-то листы, хранящіеся тамъ-то, вырваны изъ рукописи такой-то, хранящейся тамъ-то?

Отрывки изъ рукописей Московской Синодальной библіотеки, оказавшіеся въ Дрезденской и Лейпцигской библіотекахъ, въ мое описаніе не вошли, потому что ихъ въ мое время не было; пропусковъ въ рукописяхъ цѣлыхъ статей, когда-то въ нихъ помѣщавшихся, я не касался, если только полученные списокъ были безъ пропусковъ.

У меня не было подъ руками моего описанія греческихъ рукописей, коимъ проф. Маттеи 1805 года, а въ этомъ описаніи они не упоминаютъ о тетрадяхъ, или самыхъ вырванныхъ изъ рукописей Моск. Синод. и другихъ библіотекъ.

Предпочитаю Вашимъ отрывочнымъ тетрадямъ, хранящимся въ Дрезденской и Лейпцигской библіотекахъ, ихъ рукописямъ Моск. Синод. Библіотеки, какія показались въ Вашемъ изслѣдованіи, по моему мнѣнію, правильно.

Вашего Высокородія
усердный слуга и богомолецъ
Ново-Іерусалимскій Архим. Владиміръ

16 Дек.
1898 г.

Из письма составителя каталога Московской синодальной библиотеки архимандрита Владимира к историку С. А. Белокурову.

Узнав случайно, что в Парижской национальной библиотеке есть рукопись старца Афанасия из Афонской лавры с пометкой «Арсений» и решив, что она была похищена в Москве Маттеи и продана им во Францию, Белокуров тут же написал в Париж письмо с просьбой прислать подробные сведения об этой рукописи.

Ответа пришлось ждать недолго, но он был отрицательным. Рукопись числилась в печатном каталоге библиотеки уже с 1740 года. Маттеи тогда еще не было на свете.

Белокуров знал, что Арсений Суханов не сумел забрать с собой все отобранные и помеченные им рукописи. Некоторые из них были доставлены в Москву позднее. По всей вероятности, корыстолюбивые афонские монахи, получив уже от Суханова «милостыню» за все отобранные им рукописи, после его отъезда подменили некоторые из них, чтобы продать их другим покупателям.

Привыкшего к разочарованиям архивного следопыта эта первая неудача не могла, конечно, охладить. Следующее письмо Белокуров послал «на авось» в богатую древними текстами мюнхенскую библиотеку. Нет ли там рукописей с пометками «Арсений»?

Директор библиотеки профессор Крумбахер вежливо сообщил, что в каталоге, составленном неким Гердтом, не встречается такое имя. Но он допускал, что автор каталога при всей своей добросовестности мог что-нибудь проглядеть.

Запрос Белокурова в дрезденскую библиотеку, где Карамзин видел неизвестно откуда взятую эллинистом Маттеи рукопись Еврипида, дал неожиданный результат.

АЖЕ при поверхностном ознакомлении с любезно присланным Белокурову из Дрездена каталогом нетрудно было теперь догадаться, где находится большинство исчезнувших из московской патриаршей библиотеки рукописей. Но, чтобы иметь право громко заявить об этом, Белокуров нуждался в некоторых дополнительных сведениях. Составитель каталога, королевский библиотекарь доктор Франц Шнорр фон Карольсфельд, не вдавался в такие детали, как размер и качество пергамена или бумаги, на которой написана рукопись, нумерация тетрадей, и умалчивал о самом главном — есть ли в ней пробелы и подчистки.

Как раз в это время одному немецкому филологу, Оскару фон Гебгардту, профессору того самого Лейпцигского университета, в котором когда-то преподавал и Маттеи, понадобились сведения о некоторых древних книгах, поступивших в 1690 году в московский Посольский приказ. Посылая иностранному коллеге эти сведения, Белокуров в свою очередь обратился к нему с просьбой оказать услугу — навести подробные справки о кое-каких греческих рукописях, принадлежащих дрезденской библиотеке. Добропорядочный саксонец очень внимательно отнесся к просьбе русского коллеги.

Белокуров сообщил Гебгардту приметы некоторых древнегреческих рукописей патриаршей библиотеки, имеющих те или иные изъяны, сохранившихся неполностью, утративших несколько листов и т. д. По этим приметам лейпцигский филолог устанавливал, не попали ли утраченные части московских рукописей в ту или другую из немецких библиотек.

Искушенный в палеографии, профессор Гебгардт со своей стороны предпринял тщательную проверку всех рукописей, приобретенных у Маттеи, и сообщил Белокурову о возникших у него в процессе этой проверки сомнениях и подозрениях.

Изучение и сопоставление описей и каталогов, прослеживание путей, по которым странствовали рукописи на протяжении ряда веков, всегда было любимым занятием московского источниковеда. Помня замечание Малиновского об извинении Скиады по поводу того, что его каталог не совсем удовлетворителен, так как «в средине и в конце рукописи встречается чего нет в начале», Белокуров стал упорно искать те лазейки в описях, которыми мог воспользоваться в преступных целях опытный археограф Маттеи.

Первое, что он должен был отметить со всей объективностью, это то, что общее количество греческих рукописей, по сравнению с прежними каталогами, отнюдь не уменьшилось.

«Тщательное описание греческих рукописей, хранящихся в московских библиотеках святейшего синода, составленное Христианом Фридрихом Маттеи»— так назывался один из основных трудов эллиниста. Этот каталог отличался полнотой приведенных в нем сведений и обстоятельностью сопроводительных замечаний.

В патриаршей библиотеке одной из лучших считалась опись 1773 года, составленная тремя церковнослужителями: игуменом Софроном, иеродьяконом Гедеоном и протоиереем Харламовым. Так как никто из них не знал древнегреческого языка,

то к описанию греческих рукописей был привлечен только что прибывший в Москву Маттеи.

Рукописи и книги были перечислены в алфавитном порядке, разделены по формату — в лист, в четверть и в осьмушку, названия написаны на двух языках: русском и греческом или латинском. Сопоставляя эту опись с другими, Белокуров все же обнаружил, что названия и другие приметы некоторых рукописей не совпадают. Не меняясь по количеству, они не всегда оказывались одинаковыми по содержанию. Объем нескольких рукописей также вызывал сомнения. Но так как в старых каталогах они были описаны очень неточно, характер происшедших изменений трудно было установить.

Не было ли первое подробное описание греческих рукописей составлено Маттеи уже после того, как он успел отделить от них какую-нибудь часть или заменить одни рукописи другими?

Вследствие незнания греческого языка составителями основного каталога такие манипуляции могли легко пройти незамеченными. Эти подозрения углубились еще больше, когда Белокуров от изучения каталогов перешел к исследованию самих рукописей.

Старинные рукописи обычно состоят из сшитых вместе тетрадей. Восемь согнутых пополам листов пергамена образуют тетрадь из шестнадцати страниц. Корешок тетради прошит веревкой или тонким ремнем, концы которого прикреплены к обтянутым кожей или тканью доскам переплета. Достаточно было вытащить или перерезать веревку, и тетрадь свободно извлекалась из переплета. Порядковый номер в виде цифровой буквы ставился не на каждой странице, а только на лицевой стороне первого и на обороте последнего листа. Так как остальные листы не нумеровались, то при незнании языка, на котором была написана рукопись, пропажа одного или даже нескольких листов могла не сразу броситься в глаза.

Но Белокуров знал греческий язык и, исследовав текст, сразу же установил, что во многих рукописях недостает одной или даже нескольких тетрадей. В некоторых, особенно древних, были утрачены отдельные листы. Это можно было объяснить их ветхостью. Однако Белокурову бросилась в глаза своеобразная закономерность: исчезли не случайно выпавшие листы, а чаще всего имеющие самостоятельное значение, представляющие и в отдельности какую-нибудь ценность. Если рукопись состояла из нескольких глав или статей, они не были разрознены как попало, а отдельные главы были изъяты целиком.

Белокуров сначала очень удивился, когда Гебгардт сообщил ему, что ни на одной греческой рукописи, находящейся в дрезденской библиотеке, он не нашел подписи Арсения. Гебгардт обнаружил на них только пометки об их бывшей принадлежности какому-нибудь афонскому монастырю.

Теперь Белокуров нашел этому объяснение. Тщательно маскируя следы своих хищений, Маттеи вырывал тетради и отдельные листы, чаще всего из середины или же из заключительной части рукописи. Если же он изымал какой-нибудь отрывок из начала, то ту страницу, на которой стояла подпись Суханова, он «обходил». По отношению к пометкам монастырей он не соблюдал этой предосторожности — не потому ли, что рукопись «без роду и без племени» было труднее сбыть?

Просматривая одну за другой все греческие рукописи патриаршей библиотеки, Белокуров делал открытие за открытием. Так, проверяя лист за листом уже виденную им раньше пергаменную рукопись поучений Иоанна Златоуста, написанную в IX веке и значившуюся по каталогу под номером 128, Белокуров обнаружил, что порядковые цифры, обозначавшие последовательность поучений, были смыты, а поля с номерами страниц обрезаны. Он сверился с оглавлением. В рукописи не хватало 11 поучений, которые могли занимать примерно 42—43 пергаменных листа. Московский ученый написал об этом Гебгардту и попросил исследовать числившиеся в дрезденском каталоге под № A66a сочинения того же автора. Гебгардт ответил, что они состоят как раз из 11 поучений, занимают 43 листа и были приобретены у Маттеи.

В принадлежащей патриаршей библиотеке древнейшей пергаменной рукописи «Жития святых» X века, записанной под № 131, не хватало 89 листов, вырванных из самой середины. Они нашлись в Дрездене под № A67a. Конец этой рукописи оставался в Москве. Как сообщал Гебгардт, к дрезденской рукописи Маттеи добавил окончание, переписанное собственноручно.

Рассматривая старинное евангелие, числившееся в каталоге патриаршей библиотеки под № 47 и состоявшее из повествований двух апостолов — Матфея и Марка, Белокуров не нашел в нем никаких дефектов. Странным казалось только то, что в каталоге Скиады оно было отнесено к 1482 году, а на самой рукописи этой даты не было.

Узнав из немецкого каталога, что и в Дрездене есть древнегреческое евангелие, состоящее из повествований двух других апостолов — Луки и Иоанна, Белокуров попросил Гергардта сообщить, какая дата стоит на дрезденском экземпляре. Ответ пришел очень быстро: 1482 год!

Затем по другим сообщенным Гебгардтом приметам Белокуров убедился, что рукопись патриаршей библиотеки под № 47 первоначально состояла из повествований четырех авторов евангелия, но «набожный» католик Маттеи решил разделить ее пополам, так же как «Илиаду» и гимны Гомера. Евангелие от Матфея и от Марка он милостиво оставил в Москве, а от Луки и от Иоанна продал в Дрезден. Так же бесцеремонно расправился он и с древнейшей рукописью Стилиана, написанной в X веке, с той только разницей, что вторую половину ее с подписью Стилиана и датой он «подарил» Москве, а начало отослал в Дрезден, обозначив на нем возраст рукописи.

С помощью Маттеи в Дрездене очутились сочинения ученых греков Иоанникия и Софрония Лихудов, преподававших в конце XVII века в московской Славяно-греко-латинской академии.

Сочинения эти были написаны ими во время пребывания в костромском Ипатьевском монастыре. Маттеи это ничуть не смутило, и рукопись, родившаяся в древнем русском городе Костроме, перекочевала на берега Эльбы.

Стараясь поискусней замаскировать хищение, Маттеи часто прибегал к такому приему: как составитель описи, он делал в ней пометку: «Рукопись с изъяном, не хватает стольких-то страниц». Само собой разумеется, что такая пометка должна была создать впечатление, будто рукопись пострадала где-то в другом месте, до того, как попала в руки Маттеи.

Так, по поводу рукописи «Иоанна Дамаскина и других отцов слова разные», часть которой была продана Маттеи в Дрезден, он пометил в каталоге: «В средине нет некоторых листов, и доска немного расколота».

А по поводу числившегося под № 230 в той же библиотеке катехизиса Маттеи сделал оговорку, что «после 290 листа имеется недочет». Недостающие страницы оказались, конечно, в Дрездене.

Из рукописи № 392 «Притчи Соломони» он вырвал целиком семь тетрадей. Они составили дрезденскую рукопись под № A107. Из рукописи № 295 улетучились третье, шестое и двенадцатое поучения Иоанна Богослова. Два из них нашлись в дрезденской библиотеке, третье Маттеи, очевидно, пристроил еще куда-то.

Исчезнувшие из Москвы «Беседы Феофана Карамевса» и «Песнопения Григория Назиязнина» вынырнули в дрезденском каталоге под другими номерами и названиями. Гебгардт установил, что они тоже были куплены Маттеи.

Белокуров должен был в то же время отметить и другое: если для маскировки хищения нужно было украсить рукопись, изворотливый Маттеи не жалел для этого труда.

В древние времена писцы любили украшать рукописи затейливыми заставками, тщательно выписанными золотом или киноварью заглавными буквами, иногда даже нарисованными с большим мастерством миниатюрами. Вырезая как-то из одной рукописи целую главу, Маттеи заметил, что в верхней части первой страницы остались три строчки из предыдущего нетронутого им текста. Опытный палеограф не растерялся. Счистив с помощью какого-то химического средства эти строчки, он нарисовал на том же месте четырехугольную заставку.

Но чаще всего Маттеи обходился без химии и ножниц. Пользуясь тем, что составители общего каталога не владели древнегреческим языком, он подменял одни рукописи другими, а некоторые и без всякой замены ухитрялся присваивать целиком.

Еще в 1789 году, после отъезда Маттеи из России, новоспасский архимандрит Павел, осматривая собрание рукописей патриаршей библиотеки, обратил внимание на некоторое несоответствие их названий содержанию, но не сделал из этого никаких выводов.

Вместо переписанных в XIV веке «Сочинений Арата со схолиями», состоявших из 101 листа, под тем же 236-м номером оказалась другая рукопись, в три раза толще, но гораздо менее ценная и значительно более позднего происхождения.

Архимандрит Павел заметил, что на этой рукописи не было подписи ответственного за составление описи лица и написал на ней: «Во оной книге подписи синодального иеродиакона Гедеона не имеется». Не расследовав, почему это произошло, он, конечно, не мог узнать, что Маттеи подменил рукопись.

Так, под № 358 в описи числилась трагедия великого древнегреческого драматурга Софокла. Просмотрев эту рукопись, любознательный архимандрит, очевидно понимавший по-гречески, счел нужным в каталоге пометить: «Не Софоклова трагедия, а духовная книга». Обнаружив эту пометку, Белокуров выяснил через Гебгардта, что Софоклова трагедия находится там же, где Карамзин видел трагедию Еврипида.

Под № 340 оказались «Полидоровы писания», под № 386 — старый греческий учебник физики, не числившиеся под этими номерами в старом каталоге. Выкраденные Маттеи в каком-нибудь другом месте, они были подброшены взамен изъятых им несравненно более ценных рукописей. Простодушный архимандрит этого не заметил. Только против рукописи № 270, записанной в каталоге под названием «Галеновы две книги медицинские», он деликатно пометил: «Одна, а не две». Вторую Маттеи уже успел устроить. Белокуров сверился с дрезденским каталогом, там она не числилась, и все же он ее нашел при помощи Гебгардта. Маттеи продал ее в библиотеку Лейпцигского университета. Там же Гебгардт обнаружил еще одну московскую рукопись. Следы ее пребывания в Москве были вытравлены каким-то химическим средством.

Добросовестный Гебгардт, собравший во время этих розысков обширный материал для специальной работы на щекотливую тему «О происхождении дрезденских рукописей», стал постепенно входить в азарт. Он съездил в Геттинген и разыскал там в библиотеке купленные у Маттеи творения Пиндара. Разумеется, Гебгардт не обошел и Лейден. Кроме знаменитых гимнов Гомера, в книгохранилище тамошнего университета оказались еще четыре московские рукописи, проданные Маттеи.

Оставалось еще проверить, не запустил ли Маттеи свою корыстную руку и в бывшую библиотеку при патриаршей типографии. «Это малость, если в рукописях недостает только нескольких тетрадей»,— вспомнил Белокуров горькое признание хорошо знакомого с этой библиотекой известного исследователя памятников древней письменности А. Е. Викторова.

Белокуров сразу увидел, что с внешней стороны здесь, так же как и в московской патриаршей, все было безукоризненно: количество рукописей после исследования их Маттеи не изменилось. Установить же число исчезнувших листов и тетрадей было нелегко из-за погрешностей старого каталога, умалчивавшего об объеме рукописей. Белокуров, впрочем, сразу обнаружил пропажу десяти листов из рукописи № 10. Но вырывать отдельные листы и тетради, очевидно, имело смысл только из очень старых рукописей, которых в этой библиотеке было не так уж много. Менее же древние Маттеи предпочитал изымать целиком.

Белокурову удалось выяснить, что Маттеи сумел подменить «Оппиана философа вирши» малоценными выписками из сочинений Семеона Фесалоникийского. Такой же участи подверглись еще один список песен Гомера, замененный записью какой-то речи на новогреческом языке, и сочинения Афанасия Великого. Вместо них Маттеи подсунул ничем не примечательный сборник из произведений безымянных авторов.

Совместными усилиями двух ученых, путем сличения каталогов и тщательного исследования самих текстов удалось документально доказать хищение 28 рукописей из московских книгохранилищ и продажу их в немецкие библиотеки. Но при дальнейшем расследовании эта цифра удвоилась.

Из присланной директором дрезденской библиотеки выписки Белокуров узнал, что первую большую партию рукописей Маттеи продал еще в 1788 году, вскоре после своего возвращения из России. В Дрездене сохранился также набросок письма Маттеи к известному коллекционеру графу Марколини от 14 октября 1788 года, в котором он предлагал купить за две тысячи талеров рукописи, «собранные» им в Москве.

«В продолжение всей своей жизни почтенный профессор Маттеи постоянно и неутомимо трудился на поприще науки, с редким терпением, самопожертвованием, любовью к своему делу и добросовестностью»,— припомнилась Белокурову высокопарная тирада из «Биографического словаря», выпущенного Московским университетом. «Словарь» этот вышел под редакцией того самого знатока русской словесности Степана Шевырева, который одним из первых высказал предположение, что виденная Карамзиным в Дрездене трагедия Еврипида была украдена Маттеи именно в московской патриаршей библиотеке.

Засидевшись до глубокой ночи у себя в кабинете, Белокуров подводил итоги своей новой работы «палеографа-криминалиста».

Осыпанный милостями меценатов — князей Потемкина и Юсупова — и четырех «особ царской фамилии», получивший от одного только императора Александра I в подарок четыре бриллиантовых перстня в награду за посвященные ему труды, «почтенный профессор» Маттеи за время своего долголетнего пребывания в России сумел изъять из московских библиотек и продать за границу более полусотни древних рукописей. Как раз такого количества и не досчитался Белокуров, прослеживая судьбу привезенных Арсением Сухановым из Афона рукописных книг.

Среди этой полсотни рукописей было около двадцати редчайших, относившихся к XI—XIII векам. Своими цепкими, унизанными бриллиантовыми перстнями пальцами Маттеи вырвал отдельные листы и целые тетради из тридцати двух рукописей. С шестнадцати ценных рукописей, которые ему не удалось похитить, он ухитрился снять копии, и эти копии также продал дрезденской библиотеке. Кроме рукописей, он сбыл ей же одиннадцать старопечатных книг и редких изданий. Пятнадцать древних арабских и татарских текстов и даже один старинный турецкий паспорт, упоминаемые в каталоге дрезденской библиотеки, были, по-видимому, тоже выкрадены им из русских книгохранилищ.

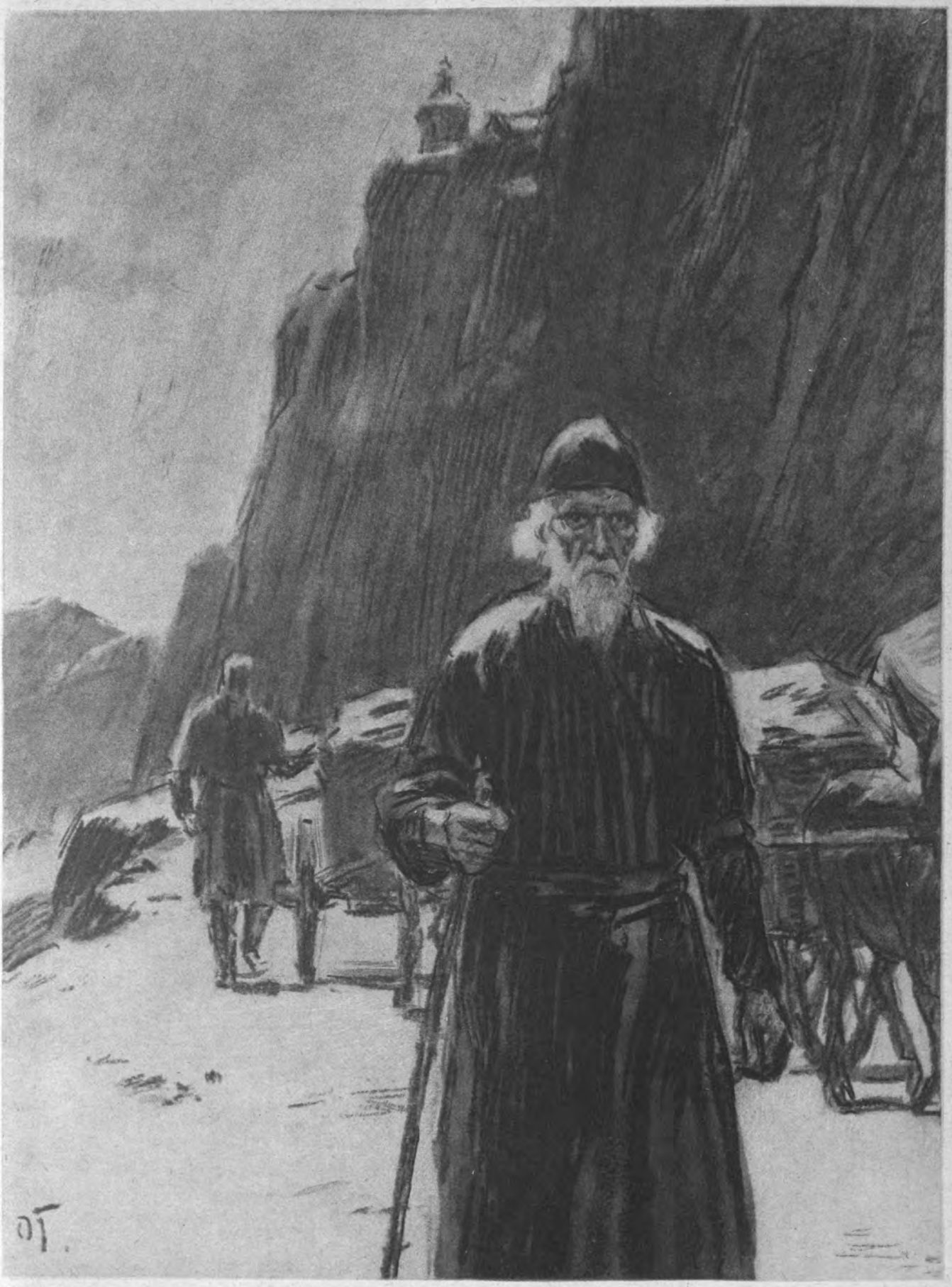
Исследуя скопившиеся в этих книгохранилищах за несколько веков древние рукописи, вписывая их одной рукой в различные индексы, каталоги и реестры и объясняя в примечаниях их научное значение, Маттеи другой рукой уродовал их, снижал их научную ценность.

А в это самое время он, не краснея, произносил в Московском университете перед студенческой молодежью поучительные речи на латинском языке на тему о плутарховой книге «О стыде» с пространными собственными комментариями.

В одной из своих статей Маттеи с удовлетворением отмечал, что в московской патриаршей библиотеке имеется свыше 90 кодексов Иоанна Златоуста. «В том числе есть превосходные и древнейшие»,— умилялся он и советовал «сделать новое издание точнее и полнее монфоконовского», вышедшего во Франции. Это наиболее полное собрание поучений Иоанна Златоуста тоже пострадало. От кого же? Да все от того же Маттеи, продававшего эти поучения за границу оптом и в розницу.

Обладавший серьезными научными знаниями, филолог и палеограф применял эти знания не столько для распознавания предоставленных в его распоряжение редчайших древних текстов, сколько для маскировки произведенных им хищений.

Но куда было девать такое количество награбленных рукописей, скопившихся у Маттеи за двенадцать лет? Их надо было реализовать, конечно, не на месте пре-



ступления, здесь бы это сразу заметили. И вот обласканный высокими покровителями, только что получивший чин надворного советника, преуспевающий иностранный ученый внезапно покидает теплое местечко и уезжает домой «по нездоровью своему и фамильным нуждам».

Поэтому же, наверное, он и отверг предложение князя Потемкина вторично приехать в Россию. Может быть, в это время ему уже стало известно содержание одного из «писем русского путешественника» Карамзина с обращенным в упор вопросом: «Хотел бы я знать, где г. Маттеи достал сии рукописи?»

Только через двадцать лет, когда подозрения знатоков древней письменности были уже забыты, Маттеи решился вернуться в Москву.

Белокуров разыскал в пострадавшем от пожара московском университетском архиве и в других местах несколько документов, относящихся к последнему пребыванию Маттеи в Москве. В одном из них говорилось, что по представлению попечителя университета графа Разумовского профессор Маттеи утвержден деканом факультета.

В архиве святейшего синода сохранилась копия его решения, дозволяющего Маттеи снова заниматься в патриаршей библиотеке, но «под наблюдением синодального ризничего» и с обязательным условием «книг домой не брать». Маттеи нашел, однако, лазейку для обхода этого решения. Он перенес свои занятия в библиотеку синодальной типографии. В старом каталоге греческих рукописей, изданном этой библиотекой, под № 25 числилась древняя «Оривасиева лекарственная книга». На той же странице Белокуров обнаружил следующую запись: «Сия книга, по сообщению из императорского московского университета, отослана в оный университет, где и отдана профессору Маттеи. 1806 года февраля 13 дня».

Книга эта, как выяснил Белокуров, в библиотеку больше не вернулась...

НАСЛЕДСТВО ВЕЛИКОГО ПРОТОСИНКЕЛЛА*

ПОКА профессор Тремер, о котором читатель успел уже, наверное, забыть, производил в Москве свои розыски, Сергей Алексеевич Белокуров еще не смог определить полностью размеров ущерба, нанесенного Маттеи московским книгохранилищам. Поэтому во время своих бесед со страсбургским филологом о библиотеке Ивана Грозного Белокуров сообщил ему только часть разоблачающих Маттеи фактов. Тремер недоверчиво качал головой. Ему казалось неправдоподобным, что тот самый

маститый эллинист, который, по его убеждению, «открыл ученому миру сокровища московской синодальной библиотеки», собственноручно их расхищал.

Но сообщение Белокурова все же произвело на страсбургского ученого достаточно сильное впечатление, потому что после своего возвращения в Германию Тремер сам стал наводить справки о Маттеи и первые результаты этого расследования изложил в статье, помещенной в мюнхенской «Всеобщей газете» за 1892 год в номере от 4 января. В этой статье Тремер признал, что Маттеи похитил в России 61 рукопись, из которых «большая часть находится в библиотеке саксонского курфюрста в Дрездене, а небольшая часть приобретена Лейденской библиотекой».

«Частная библиотека Карташова,— вынужден был со всей прямотой заявить Тремер,— обман, на ее месте появляется государственный архив, который становится богатым источником для бессовестного собирателя рукописей. Бывшее у Маттеи собрание греческих рукописей образовалось в результате похищений из государственного архива и синодальной (патриаршей) библиотеки».

По мнению Тремера, гораздо важнее, чем установление этого возмутительного факта, был другой вывод, также сделанный им с помощью Белокурова. На полях хранившейся в Главном архиве министерства иностранных дел рукописи «Илиады», составлявшей раньше одно целое с Лейденской, Тремер увидел какие-то замечания. Занимаясь расследованием хищений Маттеи, Белокуров мимоходом установил, что такие же пометки имелись и на ряде других рукописей, хранящихся в архиве.

— Не означает ли это,— спросил Тремер,— что все эти рукописи, так же как и Лейденская, были когда-то в библиотеке Ивана Грозного?

Но Белокурову пришлось его разочаровать. Он выяснил, что такие пометки имеются только на рукописях из собрания архимандрита Дионисия и писаны его почерком.

— А кто же был этот Дионисий? — заинтересовался Тремер.

Белокуров достал из письменного стола две выцветшие грамоты приблизительно середины XVII века, написанные на греческом языке.

Одна из них была посланием иерусалимского патриарха Паисия. Подобострастно перечислив все титулы царя Алексея Михайловича и пожелав ему здоровья и многолетия, иерусалимский патриарх просил о даче милостыни архимандриту «Никольского монастыря, города Янины, турской земли» Дионисию и сопровождавшим его лицам. Другая грамота с такой же просьбой была от братии этого же монастыря.

Обе эти грамоты предъявил 7 апреля 1650 года на пограничной заставе в Путивле державший путь из Литвы благообразный старец в потертой рясе.

Из обнаруженной Белокуровым в делах Посольского приказа отписки путивльских воевод было видно, что они запрашивали царя, как им поступить с приехавшим старцем и его провожатыми: пропустить ли их в Москву или, дав милостыню, предложить следовать дальше.

На обороте отписки оказалась надпись: «Велеть тому архимариту с братьею государево жалование дать по указу и, дав, отпустить назад, а к Москве отпускать не велеть».

В архиве сохранилось и донесение путивльских воевод, что они согласно этому указанию дали архимандриту Дионисию «20 рублев», келарю Иоасафу — «10 рублев»,

толмачу Зосимке Николаеву и служке Юшке Дмитриеву — по 2 рубля и с почетом проводили их «до которых мест иных таких провожали».

По прошествии сорока лет, 31 января 1690 года, севскому воеводе Ивану Леонтьеву был прислан царский указ от имени вступивших на престол после смерти старшего сына Алексея Михайловича Федора молодых царей Иоанна и Петра, в котором упоминалось имя архимандрита Дионисия.

«Великие государи,— говорилось в этой грамоте,— указали царского величества подданному, гетману И. С. Мазепе, сыскать в Нежине греческие книги, которые оставил Македонские земли Николаевского монастыря архимандрит Дионисий у греченина у Зофиря или у кого он Зофир скажет; а сыскав и описав их имянно, как которая книга именуется, прислать в Севск к воеводам» для отправки в Москву.

Гетман Мазепа (тот самый, который пятнадцать лет спустя изменил Петру I и России) выполнил указ тогда еще несовершеннолетнего Петра I и его брата. С нарочным казаком он прислал в Севск две коробки оставшихся после смерти архимандрита Дионисия греческих книг и рукописей, которые потом и были доставлены в Москву.

Просматривая сохранившиеся на полях этих книг и рукописей пометки и записи, Белокуров смог выяснить, что в 70—80-х годах XVII века архимандрит Дионисий жил в Константинополе, точнее, в предместье его, Галате, и занимал там при патриархе почетную должность великого протосинкелла. Потом он переселился в Валахию, но в конце XVII столетия снова оказался в Московском государстве. Белокурову не удалось установить причину переезда архимандрита Дионисия в город Нежин, где были две большие греческие церкви и жило много бежавших из Турции греков, у одного из которых он и оставил свои книги. Но это и не интересовало Тремера. Самым важным было то, что Белокуров положил перед ним на стол подлинную перечневую роспись книг и рукописей Дионисия, составленную по указу гетмана Мазепы. Этот очень старательно написанный полковым грамотеем примитивный каталог окончательно выяснял вопрос о происхождении Лейденской рукописи.

Опись состояла из двух списков: одного на украинском, другого на русском языке. Белокуров сообщил, что был список еще и на греческом, но он, к сожалению, затерялся.

Русский список начинался словами:

«По указу великих государей наших, их царского пресветлого величества, и по приказу ясновельможного благодетеля нашего, его милости господина гетмана, а за ведомость его милость господина полковника нашего нежинского, мы, Иосиф Федорович Завацкий, писарь полку нежинского, Василей Стефановичь Гуминский, сотник, Иван Семенович Гордовский, товарыщ войсковый, Иван Еремеевич Конецкий, войт, Михайло Максимович, бурмистр, сыскали книги греческого языка в дву коробьях положены в греческой церкви Макидонския земли архимандрита Дионисия, которых так числом сысканы, как всей росписи ниже сего объявляется...»

На девятой строке описи, перечислявшей содержание первой коробки, Тремер прочел по-русски показавшиеся ему непонятными словами:

„ОМИРОВА ТВОРЦА О ТРОАДЕ„

и с недоумением посмотрел на Белокурова.

— «Омир»,— поспешил объяснить его собеседник,— так звали Гомера, по убеждению пыхтевшего над этим каталогом нежинского канцеляриста, а Троада — это, конечно, Троя. Да вот сверьтесь с украинским списком, там это выражено гораздо проще.

В самом деле, девятая строка украинского каталога состояла всего из двух слов:

„ОМИР ИЛИЯДО„

Теперь,— продолжал Белокуров,— остается только проверить это по более позднему каталогу 1784 года, где эта же рукопись значится под номером 92, и по последнему, где она числится под № 797/6. Это уже настоящий каталог, составленный не недоучкой Скиадой, а Вуколом Михайловичем Ундольским, одним из наших лучших библиографов, известным собирателем памятников древней русской письменности, страстным любителем и большим знатоком старины.

Белокуров раскрыл страницу печатного каталога, озаглавленную:

ГРЕЧЕСКИЕ И ЛАТИНСКИЕ РУКОПИСИ БИБЛИОТЕКИ МОСКОВСКОГО ГЛАВНОГО АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

А. ГРЕЧЕСКИЕ РУКОПИСИ

IV. По старому каталогу № 797, по новому № 6

ГОМЕРОВА ИЛИАДА

ПИСАНО НА ТОЛСТОЙ БУМАГЕ. С ЗАВОДСКИМИ ЗНАКАМИ НОЖНИЦ, А НА ДРУГИХ ЛИСТАХ ЧЕГО-ТО ПОХОЖЕГО НА КОРОНУ ИЛИ ШАПКУ. ТЕКСТ ПИСАН В 2 СТОЛБЦА, СРЕДНЕЮ СКОРОПИСЬЮ НАЧАЛА XVI ВЕКА, А НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ, ПОМЕЩЕННЫЕ НА ПОЛЯХ И МЕЖДУ СТРОЧКАМИ ПОПОЗЖЕ. ЦВЕТ ЧЕРНИЛ ТЕКСТА ПОРЫЖЕЛ, А В ПРИМЕЧАНИЯХ, ВПИСАННЫХ МЕЛКИМ ШРИФТОМ, СОХРАНИЛ СВОЮ СВЕЖЕСТЬ. РУКОПИСЬ СОСТОИТ ИЗ 91 ЛИСТА.

ЛИСТ I. ПЕСНЬ 1-Я
„ 13. „ 2-Я
„ 26 (ОБОРОТ) ПЕСНЬ 3-Я
„ 35 „ „ 4-Я
„ 46 ПЕСНЬ 5-Я
„ 64 „ 7-Я
„ 74 „ 8-Я
„ 83 (ОБОРОТ) ПЕСНЬ 9-Я НЕ ПОЛНА, ОКАНЧИВАЕТ СЯ 434-М СТИХОМ, А ВСЕХ В ЭТОЙ ПЕСНЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 551 СТИХ.

ЭТА РУКОПИСЬ БЫЛА ПОСЫЛАЕМА МИЛЛЕРОМ К МАТТЕИ. (СМ. ПРЕДИСЛОВИЕ К ЕГО КАТАЛОГУ ГРЕЧЕСКИХ РУКОПИСЕЙ СИНОДАЛЬНОЙ И ТИПОГРАФСКОЙ БИБЛИОТЕК. СПБ, 1780 Г.)

— Вукол Михайлович не пометил здесь,— продолжал свои объяснения Белокуров,— что эта рукопись есть начало Лейденской, так как он, наверное, считал,

что правильнее было бы указать в лейденском каталоге, что она происходит от Московской. Но вы ведь сами можете сравнить примечания на ее полях с пометками на других рукописях из собрания архимандрита Дионисия. Их в нашем архиве больше двадцати. Как видите, круг замкнулся! Выяснение происхождения Лейденской рукописи увело нас в сторону. Я принялся за расследование хищений Маттеи, а эти розыски, в свою очередь, помогли нам узнать, как попали в наш архив «Илиада» и гимны Гомера. Теперь вы знаете, что так называемая Лейденская рукопись не могла находиться в библиотеке Ивана Грозного, если бы мы даже убедились, что эта библиотека действительно когда-то существовала.

— Ну, а куда же все-таки, по-вашему, она девалась? — спросил Тремер.— Или, может быть, вы станете меня уверять, что ее надо искать не в России, а в Германии, потому что находившиеся в ней рукописи тоже украл Маттеи?

Белокуров, улыбнувшись, отвечал:

— Нет, почти все, что было похищено Маттеи, можно считать установленным. Жаль только, что ваши библиотеки не отдадут нам обратно эти рукописи... Что же касается исчезнувшей либереи (библиотеки) Ивана Грозного, то след ее, действительно, трудно отыскать.

*
* *

После Великой Октябрьской социалистической революции государственные архивы пополнились ценнейшими документами и некоторые считавшиеся утраченными рукописи нашлись. Но энтузиаста архивного дела С. А. Белокурова уже не было в живых, когда снова вернулись на свое место почти все похищенные Маттеи рукописи*.

Это произошло в 1945 году, после вступления советских войск на бывшую землю саксонского курфюрста, умевшего покупать древние рукописи по сходной цене, не слишком интересуясь их происхождением.

НЕ НА ЗЕМЛЕ, А ПОД ЗЕМЛЕЙ!

ТАК, происхождение Лейденской рукописи, наконец, было установлено.

Профессор Тремер мог бы осенью 1891 года, возвратясь в Страсбург, начать свои лекции с сообщения о том, что наиболее полный текст гимнов Гомера попал в Москву из Византии. Его последним обладателем был вовсе не Маттеи и не мифический московский чиновник Карташов, якобы продавший ему эту рукопись, а великий протосинкелл греческой церкви в Константинополе архимандрит Дионисий. Щекотливый

вопрос о том, каким образом гимны Гомера все же очутились в Лейдене, на лекциях можно не уточнять. Но что ответить, если любознательные студенты спросят его, чем же кончились предпринятые им поиски библиотеки Ивана Грозного, слухи о которых просочились и в немецкую печать? Что, эта библиотека — миф? Что, сведения о ней, сообщаемые справочником Бутковского, нуждаются в серьезной проверке? Что, вопрос о существовании библиотеки Ивана Грозного оспаривается теперь даже некоторыми русскими учеными? И он, Тремер, несмотря на все свои старания, не обнаружил ни малейших ее следов?

Но Тремер даже самому себе не хотел признаться, что выяснение происхождения Лейденской рукописи не могло вознаградить его за эту неудачу. Восемьдесят четыре дня провел он в крупнейшем из русских архивов, пересмотрел сотни древнейших рукописей и книг — и все напрасно!

«Неужели мне не остается ничего другого, как только согласиться с этим неисправимым скептиком Белокуровым, советовавшим отказаться от бесплодных поисков и присоединиться к мнению неудачника Клоссиуса?» — спрашивал себя Тремер. Однако он еще раз перечитал статью Клоссиуса и решил, что вывод соотечественника о гибели царских книжных сокровищ во время пожара также нуждается в тщательной проверке.

Тремер решил не упаковывать чемоданов, прежде чем не изучит досконально историю подземного хозяйства Москвы и, в частности, Кремля. В одном из просмотренных им каталогов его заинтересовали «чертежи московским стенам, улицам и дворам» из Приказа тайных дел царя Алексея Михайловича. Кроме того, он считал необходимым перечитать все подлинные документы и свидетельства летописцев обо всех пожарах, опустошавших Москву с древнейших времен. Тут ему опять пришел на помощь Белокуров, откопавший в архиве все нужные ему сведения, в том числе любопытную грамоту — подлинный текст проекта пожарной сигнализации, составленный в 1668 году лично царем Алексеем Михайловичем.

«...Будет загоритца в Кремле-городе в котором месте нибудь, и в тое пору бить во все три набата в оба края поскору.

А будет загоритца в Китае, в котором месте нибудь, и в тое пору бить (оба же края полехче) один край скоро же. А будет загоритца в Белом городе от Тверских ворот по правой стороне где-нибудь до Москвы-реки, и в тое пору бить в Спаской же набат в оба ж края потише.

А будет в Земляном, в обои же края и тово тише...»

— Сколько раз должна была гореть Москва, для того чтобы сам царь взялся за составление пожарной инструкции? — спросил Тремер.

Белокуров молча протянул ему исписанный цифрами листок:

«6939, 6843; 6845; 6851; 6862; 6873; 6890; 6897; 6923; 6930; 6953; 6954; 6961; 6966; 6978; 6981; 6983; 6984; 6988; 6993; 7001; 7055; 7079».

— Что это? «Таблица логарифмов»? — пошутил Тремер.

— Нет,— поспешил объяснить Белокуров,— это всего только краткий перечень годов по старому летоисчислению, когда в Москве были самые крупные пожары, при которых сгорал почти весь город. Я сделал эти выписки из древних летописей. А почему именно царь Алексей Михайлович взялся за составление пожарной

инструкции, на это ответят вам отлично сохранившиеся в Приказе тайных дел дневальные записки — «поденные известия» — о том, где бывал царь, какие события случались в этот день и какая была погода.

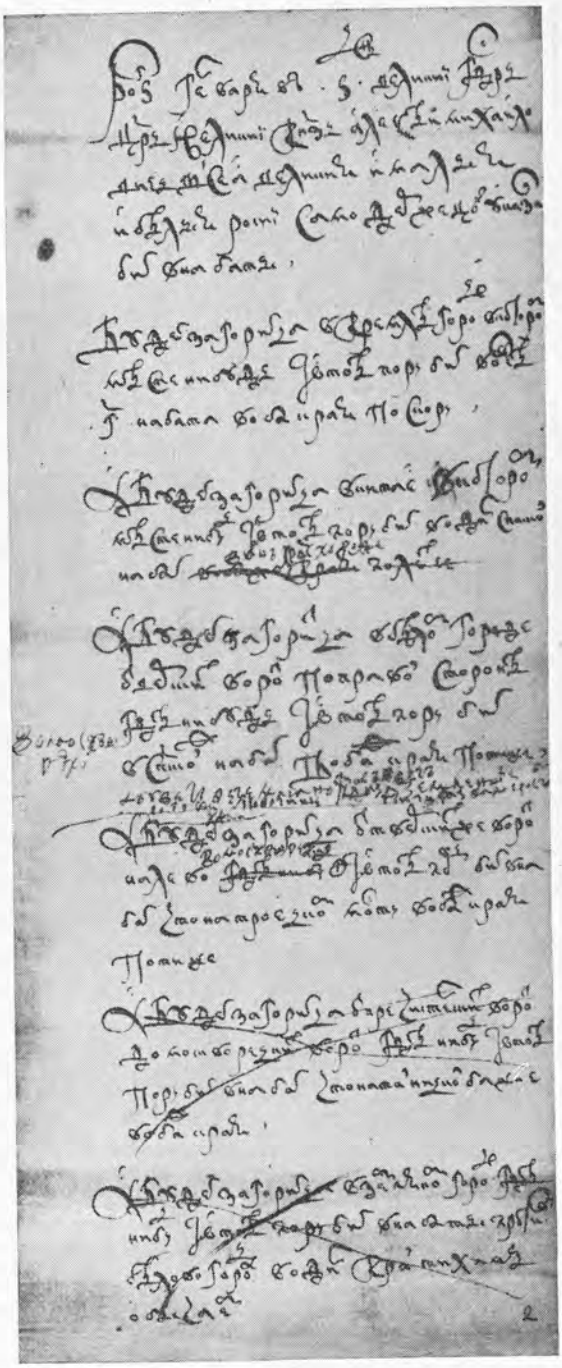
Белокуров развернул один из лежавших на его столе бумажных столбцов и прочел вслух:

— «7165 апреля в 22 ден, в среду, ден был ведрен и был ветр велик, да в тот же ден был за Москвою-рекою в Кадашеве пожар велик, а в ночи было тепло. А на государеве дворе и около государева двора на карауле стоял голова Иван Зубов с своим приказом...»

Разматывая один за другим загромождавшие стол бумажные свитки и перелистывая ветхие тетради, Белокуров продолжал читать выдержки из дневальных записей.

— «Апреля в 24 ден, в четверг, великий государь слушал божественные литоргии в церкви преподобной мученицы Евдокеи, и в тот день было ведрено и ветр был велик; а в ночи тепло и был пожар за Пречестенскими вороты направе и в пожар был ветр. А на карауле стоял голова Аврам Лопухин с своим приказом».

Через какие-нибудь два дня, — Белокуров улыбнулся, протягивая Тремеру еще один столбец, — царь опять пошел в ту же церковь, как здесь сказано, «для молебства о дожде», и тот день был тоже «ведрен и ветрен». «И в 4 часу того дни учинился пожар в Тверской-Ямской слободе, згорели многие дворы, а в 8 часу находили тучки и накрапывал дождик изретко. А на государеве дворе стоял на карауле голова Иван (фамилия написана неразборчиво), с своим приказом».



„О набате, как бить в случае пожара в разных частях Москвы". Инструкция, составленная по указанию царя Алексея Михайловича с прибавлениями, написанными его рукой. (Хранится в ЦГАДА.)

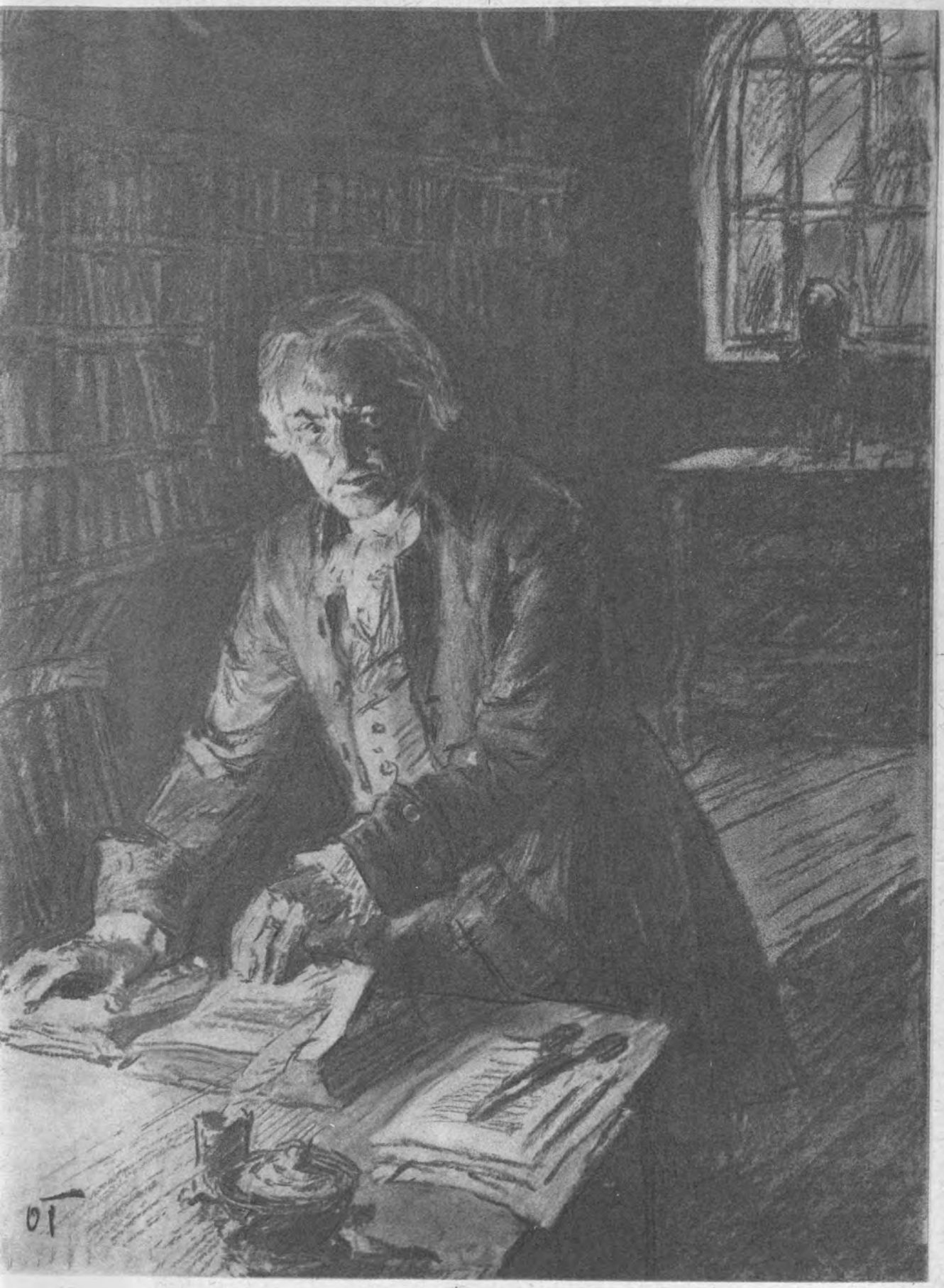
Тушение пожара в Москве (миниатюра из Никоновской летописи).

Вот видите, за двое суток два пожара.—Белокуров достал с полки последнюю тетрадь.— И царь небось не один раз подходил к окну и смотрел на эти пожары, не доберется ли до него «красный петух». Кто бы ни стоял на карауле со своим приказом, голова Иван Зубов или другой Иван, фамилию которого мне не удалось разобрать, царь по опыту многочисленных кремлевских пожаров знал, что никакие стрелецкие караулы не уберегут его от огня, все ближе подбиравшегося к Кремлю. Заглянем-ка и в эту тетрадь.

Тремер раскрыл книгу без переплета на том месте, где торчала бумажная закладка. 22 августа 1668 года почти рядом с Кремлем случилось два пожара в один день.

Но Тремера интересовали только кремлевские пожары со второй половины XV столетия. Тогда московским великим князем был праправнук и тезка Ивана Калиты Иван III, первый владелец библиотеки, ставшей потом собственностью Ивана Грозного. При Иване III в 1470 году Москва снова сгорела дотла. «Только три двора осталось», — бесстрастно отметил летописец. Следующий большой пожар был через три года. Он начался в Кремле от лампадки или от церковной свечки, как и знаменитый «всехсвятский» пожар 1365 года, когда весь деревянный город сгорел от опрокинутой лампадки в церкви «Всех святых». В 1473 году отстояли только великокняжеские хоромы, а весь «житный двор»[1] погиб в огне. После этого пожара город целых два-

[1] Житный двор — склад для хранения зерна, поступавшего из дворцовых владений.



дцать лет отстраивался. Но в одном только 1493 году, когда Иван III уже взял себе жену из Византии, и, следовательно, стал обладателем привезенной ею оттуда либереи, Москва горела еще два раза: в апреле пламя опять уничтожило почти весь город, в июле огонь сожрал весь Кремль с новым царским двором и все примыкавшие к нему посады.

Тогда было приказано расчистить большое пространство вокруг обгоревшего Кремля. Преграждая огню путь к Кремлю, стали возводить на пепелище каменные стены.

Отец Ивана Грозного, Василий III, жил уже в благоустроенном кирпичном дворце и таким и передал его своему сыну. Но 21 июня 1547 года в этом обновленном Кремле опять бесновался огонь, о чем в «Царственной книге» сохранилась запись:

«...И Оружничая полата вся погоре с воиньскым оружием, и Постелная полата с казною выгоре вся; и в погребех на царьском дворе, под полатами, выгоре вся древяная в них...»

— Заметьте,— сказал Белокуров, передавая Тремеру описание этого пожара,— даже в погребах на царском дворе все выгорело, а ведь библиотека Ивана Грозного, если вы помните, помещалась именно в тех погребах. Как же она могла уцелеть!

Приумолкший в начале этого разговора немецкий ученый задумчиво проговорил:

— А я, наоборот, думаю, что она все-таки сохранилась, и подчеркиваемые вами подробности пожара убеждают меня в этом. Пожаров в деревянной Москве в те тревожные времена, как видно из списка, было очень много. Но в конечном счете совсем не важно, сколько раз они пожирали Кремль и сколько раз обходили его. Интересно установить по «Хронике» Ниенштедта, в каком приблизительно году были показаны Веттерману книги из библиотеки Ивана Грозного.

— Это можно сейчас высчитать,— предложил Белокуров.— Иван Грозный выслал немцев из Дерпта в июне 1565 года и разрешил им вернуться ровно через пять лет — в июле 1570-го. Значит, и разговор с Веттерманом о переводе книг должен был происходить не позже этого времени.

— Совершенно верно! — подхватил Тремер.— Иными словами, через каких-нибудь двадцать с небольшим лет после этого опустошительного пожара приближенные к Ивану Грозному дьяки как ни в чем не бывало спускаются в подземелье, выносят оттуда отлично сохранившиеся редчайшие книги, принадлежавшие деду царя, и показывают их Веттерману и еще трем немцам. Веттерман утверждал, что библиотека Ивана Грозного помещалась, «как драгоценный клад, около покоев царя в трех двусводчатых подвалах», то есть, по-видимому, под теперешним теремным двором. Эти тайники находились, очевидно, на очень большой глубине и отличались такой массивной постройкой, что огонь не мог им повредить. Таким образом,— с воодушевлением закончил Тремер,— как раз история кремлевских пожаров, повергнувших в такое уныние Клоссиуса, бросает мне луч надежды. Надо продолжать поиски теперь уже не на земле, а под землей. Железный зонд должен решить вопрос, действительно ли эта библиотека погибла или она скрыта под мусором и под возведенными в последующие века постройками.

С тем же рвением, с каким он начал изучать историю московских пожаров,

Тремер занялся теперь исследованием вопроса о существующих под Кремлем подземельях. Три двойных сводчатых подвала, решил он после беседы с московскими архитекторами,—это тайные подвалы с двойным подвалом. Как раз такие подвалы могли находиться в подклеточном этаже теремного дворца, возведенном на белокаменных погребах итальянским архитектором Алевизом, приглашенным еще Иваном III*.

По сохранившимся в архивах старинным планам и чертежам дотошный немецкий ученый познакомился с расположением зданий в древнем Кремле. Но особенно полезные, подкрепившие его собственные умозаключения сведения он нашел в трудах Ивана Егоровича Забелина — неутомимого и самоотверженного исследователя старой Москвы*.

В своих работах Забелин, один из крупнейших авторитетов в этой области, доказывал, что сложенные еще под наблюдением Алевиза каменные фундаменты теремного дворца оставались неизменными в течение нескольких веков. После каждого пожара их только надстраивали. В них-то на большой глубине и должны были находиться тайники.

Профессора Тремера особенно обрадовало почерпнутое им из газетных вырезок сообщение, что еще совсем недавно, уже в XIX столетии, в том же теремном дворце под мусором и бочками с дегтем была неожиданно обнаружена небольшая дворцовая церковь. Такая находка подавала надежду разыскать со временем три подземных тайника.

— При таких обстоятельствах,— объявил Тремер,— вопрос о судьбе царской библиотеки вступает в более благоприятную фазу. То, что избежало гибели в 1547 году, могло пережить и все последовавшие затем пожары. Оно могло... и этой возможности совершенно достаточно, чтобы побудить к деятельным поискам!

Тремер захотел сам возглавить поиски и, так же как когда-то Клоссиус, обратился за разрешением к царю. Александр III удовлетворил просьбу иностранного ученого, и страсбургский филолог неожиданно для самого себя превратился в археолога.

Проведенные Тремером с помощью железного зонда на территории Кремля обследования, однако, не дали никаких результатов.

— Осмотренные подвалы в восточной части царских теремов в Кремле (стены из белого камня, связанные со сводами из больших кирпичей),— заявил Тремер после окончания поисков,— оказались отлично сохранившимися частями дворца Василия IV (Тремер, видимо, ошибся или оговорился: этот дворец был построен Василием III), но разыскиваемые тайники не могли быть там найдены. В нескольких местах был взломан пол и стены и исследована почва: за искусственным сооружением оказывался материк, разрушавший все надежды обнаружить за ним желанную находку — тайники или подвалы со сводами.

Тремер вынужден был прекратить дальнейшее зондирование, требовавшее затраты больших денежных средств, которыми он не располагал. Но неудача этих поисков не привела его к выводу, что библиотеки Ивана Грозного не существует вообще.

— При первом зондировании мы начали не с того пункта, откуда нужно было производить раскопки,— уверенно заявил Тремер перед своим отъездом и посоветовал возобновить поиски в другом месте — в ближайшем соседстве с церковью

святого Лазаря, той маленькой дворцовой церквушкой, которая была найдена в теремном дворце под мусором и старыми бочками.

Считая, что после Клоссиуса, ограничившегося наземными поисками книжных сокровищ Ивана Грозного в московских библиотеках, ничего не было сделано для «выяснения судьбы утерянного клада», Тремер в одной из своих последних бесед с русскими учеными высказал убеждение, что теперь этим должны заняться московские археологи. Ведь в этом случае, напомнил он, дело идет не об обычных научных расследованиях, заслуживающих внимания только небольшого кружка специалистов, а о забытом сокровище, потеря которого должна печалить весь образованный мир и открытие которого обогатило бы Россию новой славой.

Уезжая из Москвы на родину, Тремер поместил в одной из русских газет прощальную статью, заканчивавшуюся словами: «Наука поздравит Россию, если ей удастся отыскать свой затерянный клад. Но она с благодарностью отнесется даже к отрицательному результату поисков, если не удастся найти тайное хранилище библиотеки, потому что тогда и только тогда вопрос о судьбе сокрытых 800 рукописей будет окончательно решен с тем, чтобы навсегда умолкнуть».

ПАЛАТЫ ПОД КРЕМЛЕМ-ГОРОДОМ

Читатель вправе задать вопрос: почему книжные сокровища Ивана Грозного так усердно разыскивали главным образом иностранцы? Ну, а что же русские ученые? Относились к этим поискам равнодушно и лишь помогали иностранцам справками и советами? Нет, такой вывод был бы ошибочным.

Интерес иностранцев к библиотеке Ивана Грозного понятен. Ведь, судя по свидетельствам Максима Грека и Иоганна Веттермана, в ней было много иноязычных, давно разыскиваемых учеными всего мира сочинений древнегреческих и римских писателей. Русских исследователей их произведения, конечно, тоже интересовали, но они лучше иностранцев знали историю и состав своих книгохранилищ. Некоторые из русских ученых давно уже самостоятельно пришли к тому же заключению, которое впервые высказал в печати Вальтер Клоссиус, другие поспешили согласиться с ним. Находились и скептики, вроде профессора Московского университета И. М. Снегирева, который, не утруждая себя кропотливыми исследованиями, авторитетным тоном утверждал, будто все, что уцелело от библиотеки Ивана Грозного, поступило в книгохранилище московского патриарха и, так сказать, растворилось там; следовательно, рукописи эти нечего и искать.

Приезд в Москву страсбургского филолога Тремера со специальной целью во что бы то ни стало найти следы исчезнувшей библиотеки, его шестимесячные поиски остатков ее на земле и под землей, проявленное им при этом упорство и, наконец, высказанное перед отъездом в Германию твердое убеждение, что эти поиски должны быть продолжены,— все это не могло не вызвать известного оживления в русской ученой среде. Тем более, что Тремер, вернувшись на родину, опубликовал в немецкой печати серию статей о результатах своей поездки, вынеся этот вопрос о поисках загадочной библиотеки «на международную арену», что, впрочем, уже пытались сделать Дабелов и Клоссиус до него.

Среди русских ученых возникли горячие споры. Появилась потребность пересмотреть и проверить все, что было сказано и написано о библиотеке Ивана Грозного, и выработать программу дальнейших действий.

19 марта 1893 года один из крупнейших русских палеографов, впоследствии академик Николай Петрович Лихачев выступил в «Петербургском обществе любителей древней письменности» со специальным докладом о библиотеке московских государей.

Прав ли Тремер?— ставил вопрос Лихачев. Достаточно ли обоснованы были его утверждения, что библиотека Ивана Грозного до сих пор цела, что ее надо только разыскать в замурованных более трехсот лет тому назад подземных кремлевских тайниках?

Напомнив об отзывах Максима Грека и Иоганна Веттермана о богатствах этой библиотеки, профессор Лихачев не подвергал сомнению самый факт ознакомления их с ее сокровищами. Но не все в их отзывах казалось ему правдоподобным. Каким образом мог, например, Иоганн Веттерман видеть, что тайники были вскрыты или взломаны, если дьяки Ивана Грозного показывали ему не самую библиотеку, а только несколько хранившихся в ней книг? Более же всего подозрений внушал профессору Лихачеву каталог этих книг, составленный неизвестным немцем, найденный правоведом Дабеловым и затем бесследно исчезнувший.

Профессор Лихачев высказал предположение, что библиотека Ивана Грозного, состоявшая главным образом из иностранных книг, должна была помещаться при Посольском приказе. Кроме того, некоторые книги требовались царем в «постельную» казну, в которой, очевидно, находилась его личная библиотека.

Отождествляя архив Посольского приказа с царским архивом, профессор Лихачев напомнил, что в сохранившейся неполной описи этого архива упоминаются латинские книги без названия. Они, по его мнению, и были показаны Веттерману; эти книги должны были быть определенно утрачены в 1547 году, когда (как сказано в этой описи) верх постельничих хором горел.

Возражая против отождествления царской библиотеки с архивом и высказывая даже предположение, что иностранных книг в ней вообще не было, а были только «переплетенные сборники документов на латинском и других языках», все оппоненты Лихачева согласились с основной мыслью докладчика, что эта библиотека стала, вероятно, жертвой огня.

Разгоревшаяся в Петербурге дискуссия не могла, конечно, ускользнуть от внимания московских историков и исследователей старины, объединенных в «Обществе

истории и древностей российских». Ведь если эта библиотека, вопреки утверждениям петербургских скептиков, все же уцелела, то искать ее надо было в древнем Московском Кремле. Особенно сильно задели эти споры крупнейшего знатока старой Москвы, и в частности кремлевских древностей, Ивана Егоровича Забелина. После изучения его работ Тремер, собственно говоря, и стал настаивать на продолжении поисков, повторяя вслед за Забелиным свой наиболее веский аргумент о том, что не следует переоценивать значение бесчисленных кремлевских пожаров: да, пожары, были, но построенные на века могучие каменные своды устояли.

Все с интересом ждали, что скажет по поводу мрачных выводов петербуржцев маститый ученый: где искать библиотеку и следует ли ее вообще искать?

Забелин уже давно пытался с помощью летописей уточнить предполагаемое местонахождение библиотеки. При жизни Грозного оно могло быть известно лишь немногим его приближенным. Но почти все они были им казнены.

В «Хронике» Ниенштедта было только одно наводящее указание. Библиотека помещалась в двух или трех каменных сводчатых подвалах «вблизи царских покоев». Это говорило именно о постельных хоромах, а не о парадных палатах, где обычно происходили приемы. И. Е. Забелин не придавал значения разноречиям в тексте рукописей. Говорилось ли в них о подвалах или склепах, то есть подклетах, двух- или трехсводчатых, ясно было: Иван Грозный, видимо, хранил свою библиотеку под землей, в тщательно спрятанном от посторонних глаз помещении.

Присутствие при осмотре книг Веттерманом царского казначея, также казненного впоследствии Никиты Фуникова, свидетельствовало, по мнению Забелина, о том, что книгохранительница состояла в его ведении и находилась где-нибудь на Казенном дворе — так называлось здание, стоявшее возле Благовещенского собора. Оно соединялось переходами или сенями с царскими палатами. Поэтому и собор назывался «Что на сенях».

К Казенному двору, утверждал Забелин, относились также и белокаменные подклеты, на которых был воздвигнут Благовещенский собор. Эти подклеты имели, по-видимому, особенное устройство, так как их в то время называли казнами.

Установив по одной из древних летописей, что до постройки Казенного двора царская казна помещалась под церковью Рождества богородицы, своды которой при Иване III внезапно рухнули и «иконы поби и множества в казне великого князя сосудов поби», Забелин придавал особенно важное значение свидетельству летописца, что «того же лета (1483) разруши князь великий благовещенье на своем дворе только по казну и по подклет и заложи казну около того подклета и палату кирпичну (ее и называли Казенный двор) с казнами».

Забелин допускал, что библиотека Ивана Грозного могла помещаться именно здесь, в каком-либо сводчатом казенном подклете, расположенном позади средней Золотой палаты, недалеко от жилых деревянных царских хором.

Допуская также, что библиотека могла уцелеть при всех пожарах, происходивших до 1570 года, когда книги из нее были показаны Веттерману, Забелин, однако, так же как и Лихачев, не считал возможным сохранение ее после жесточайшего пожара, уничтожившего Москву в 1571 году. Тогда «на царском дворе в каменных палатах даже и железные связи перегорели и разрушились от огня, а в городе церк-

ви каменные от пожара расседались и люди в каменных церквах и в каменных погребах горели и задыхалися... Всякое богатство и все добро погорело».

Если библиотека помещалась в казенных подклетах Благовещенского собора или рядом с церковью Святого Лазаря, как предполагал Тремер, она не могла бы уцелеть и, по мнению Забелина, непременно погибла бы от огня.

Не разделяя удивления Тремера по поводу находки под скопившимся за несколько веков мусором небольшой дворцовой церквушки, Забелин напомнил, что еще в начале 40-х годов XIX века во время земляных работ при постройке Кремлевского дворца был найден медный сосуд с пергаменными и бумажными свитками, относящимися к XIV веку. Около здания Оружейной палаты одному землекопу посчастливилось найти древнейшие серьги — рясы и продырявленные серебряные гривны. В дождливое лето 1882 года недалеко от места, где стояла Царь-пушка, потоки воды неожиданно устремились в образовавшийся на мостовой провал. На дне его обнаружили древний белокаменный погреб с узкими окнами, очевидно находившимися когда-то над землей. В погребе было так сухо, что любые рукописи могли бы там пролежать целые века. Но их там не было.

В качестве веского довода в защиту своего предположения, что библиотека Ивана Грозного сгорела вскоре после осмотра книг Веттерманом, Забелин привел еще один аргумент: о существовании библиотеки не упоминается ни в одном документе, относящемся к более позднему времени; Иван Грозный не имел оснований скрывать ее от своего сына, будущего царя Федора Иоанновича. О ней должен был бы знать и такой просвещенный государственный деятель, каким был патриарх Филарет. Он сам был обладателем ценного собрания рукописей, ставшего основой патриаршей библиотеки. Составляя опись царской казны, дьяки не всегда приводили названия находившихся в ней иностранных книг, но обязательно указывали их внешние приметы, так как книги в то время были большой ценностью, а книги царские украшались особенно дорогими переплетами. Могло ли ускользнуть от учета упоминаемое в списке Дабелова собрание 800 редчайших книг в ценных золотых переплетах?

«Такое количество книг,— утверждал Забелин,— не могло быть потеряно из памяти не только дьяков и казначеев, но и простых дворцовых служителей, близких к царскому книгохранилищу, потому оно не могло быть по небрежности или по забвению закладено и замуровано в каком-нибудь казенном подвале».

Все эти доводы казались убедительными, почти неотразимыми. Но как раз в разгар этих споров один скромный сенатский чиновник, М. Г. Деммини, сообщил Забелину, что, роясь в старых делах правительствующего сената, он нашел в архиве монетной канцелярии пачку документов большой давности, относившихся к началу XVII века и рассказывавших о многолетних розысках в Кремле подземного сокровища, проводившихся по повелению самого царя Петра.

В декабре 1724 года в Петербург на попутной подводе прикатил из Москвы бывший пономарь московской церкви Рождества Иоанна Предтечи, «что за Преснею», Конон Осипов и подал в канцелярию фискальных дел пространное «доношение», в котором писал:

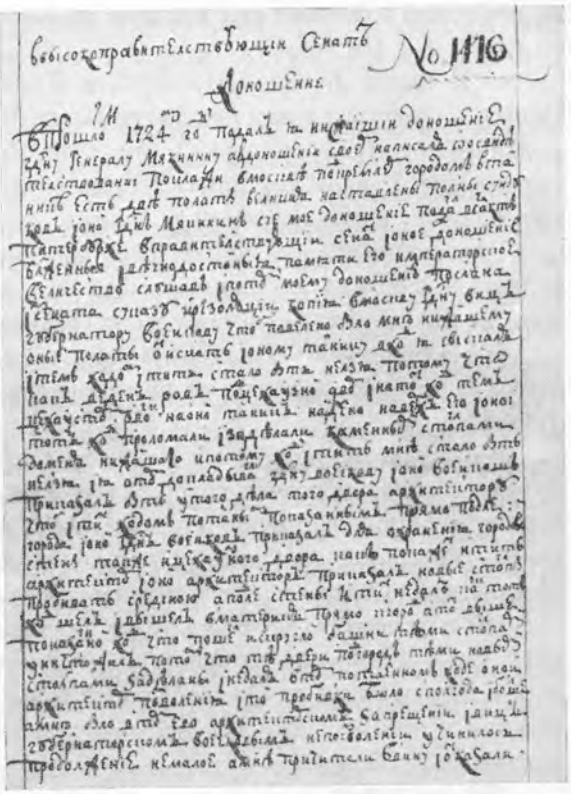
«Есть в Москве под Кремлем-городом тайник, а в том тайнике есть две палаты,

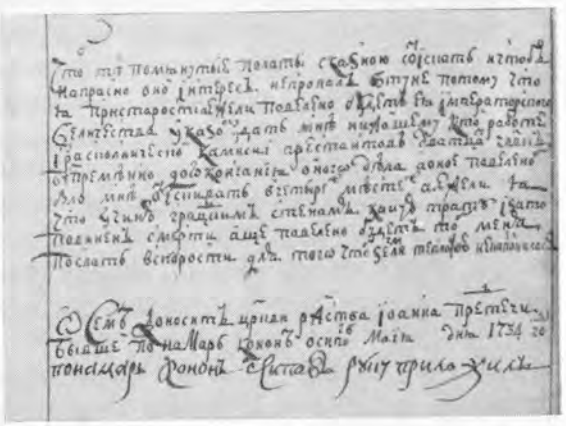
полны наставлены сундуками до стропу(то есть до сводов). А те палаты за великою укрепою; у тех палат двери железные, поперег чепи в кольца проемные, замки вислые превеликие, печати на проволоке свинцовые, и у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворов.

А ныне, — сообщал пономарь,— тот тайник завален землею за неведением, как веден ров под Цехаузный двор и тем рвом на тот тайник нашли, на своды, и те своды проломаны, и, проломавши, насыпали землю накрепко».

Пономарь писал, что об этих подземных палатах он доносил на словах еще в 1718 году ведавшему в то время всякого рода тайными делами Преображенского приказа князю Ивану Федоровичу Ромодановскому. И князь велел его допросить, почему стал он о палатах сведом. И он сказал: «стал сведом Большия казны от дьяка Василья Макарьева. Сказывал он, был де он по приказу благоверные царевны Софьи Алексеевны посылан под Кремль-город в тайник, и в тот тайник пошел близ Тайницких ворот, а подлинно не сказал, только сказал подлинно, куды вышел — к реке Неглинной в круглую башню, что бывал старый точильный ряд.

И дошел оный дьяк до вышеупомянутых палат, и в те окошка он смотрел, что наставлены сундуков полны палаты: а что в сундуках, про то он не ведает; и доносил обо всем благоверной царевне Софье Алексеевне, и благоверная царевна по государеву указу в те палаты ходить не приказала.





Из доношения Конона Осипова в сенат. (Хранится в ЦГАДА.)

А ныне в тех палатах есть ли что, про то он не ведает, потому что оный дьяк был послан в 90 (1682) году».

Пономарь сообщал также, что после снятия допроса князь Иван Федорович Ро-

модановский приказал ему с одним подьячим осмотреть место расположения тайника и отбыл в Петербург.

«...И дьяки Василий Нестеров и Яков Былинской,— продолжал свой рассказ Осипов,— послали с ним подьячего Петра Чечерина для осмотра того выхода; и оной подьячей тот выход осмотрел и донес им, дьякам, что такой выход есть, токмо завален землею. И дали ему капитана для очистки земли и 10 человек солдат, и оной тайник обрыли, и две лестницы обчистили, и стала земля валиться сверху...»

Руководивший земляными работами капитан потребовал еще людей для предотвращения обвала, но «дьяки,— жаловался пономарь,— людей не дали и далее им идти не велели, и по сю пору не исследовано...»

Это «доношение» было оглашено в сенате в присутствии самого императора Петра I, который наложил на нем резолюцию: «Освидетельствовать совершенно вице-губернатору».

Как видно из найденных в архиве сената документов, обратный путь из Петербурга в Москву пономарь совершил уже на казенный счет. По приговору сената ему была предоставлена ямская подвода и выданы прогонные деньги, а также «кормовые» — по гривне в день. Столько же он должен был получать ежедневно и в Москве, «пока оное дело освидетельствуется».

Московскому вице-губернатору Воейкову в тот же день расчетливый сенат послал указ, подписанный четырьмя государственными деятелями: князьями Репниным и Юсуповым и графами Апраксиным и Петром Толстым, «чтобы он освидетельствовал о той поклаже без всякого замедления, дабы пономарю кормовые деньги даваны туне не были».

На связанные с «исканием поклажи» земляные работы было истрачено всего 51 рубль 6 копеек, когда из московской сенатской конторы в Петербург уже было отправлено донесение, что «с начала-де искания той поклажи ничего не сыскано, да и впредь начаяться[1] невозможно». Ввиду того что «к пользе никакого виду нет», контора запрашивала «впредь ему, Осипову, у того изыскания быть ли и на материалы и корм деньги давать ли?»

В это время Петра I, давшего ход «доношению» пономаря, уже не было в живых, и из канцелярии фискальных дел прибыл «экстракт»: «Той поклажи больше не искать и кормовых денег Осипову не давать».

Должно быть, рассказ о хранящихся под землей сундуках, поведанный перед смертью бывшим дьяком Большой царской казны Василием Макарьевым, вопреки запрету правительницы Софьи кому-либо разглашать об этом, произвел неизгладимое впечатление на пономаря Конона Осипова и был очень убедительным, если через девять лет, 13 мая 1734 года, несмотря на неудачу первых поисков, этот же пономарь подал в сенат новое «доношение», в котором сообщал:

«Повелено было мне под Кремлем-городом в тайнике две палаты великие, наставлены полны сундуков обыскать; и оному тайнику вход я сыскал и тем ходом итить стало нельзя...»

По предположению Забелина, землекопы наткнулись на сооруженный еще в 1492 году при деде Ивана Грозного тайник для добывания воды из речки Неглинной.

[1] Начаяться — надеяться.

Осипов доложил о встретившемся препятствии вице-губернатору, передавшему этот вопрос на разрешение городского архитектора, который, однако, запретил все дальнейшие работы.

Ссылаясь на то, что он уже «при старости» и ни словом не упоминая о своем первом обращении в сенат, пономарь просил дать ему «повелительный указ, чтоб те помянутые палаты с казною отыскать». Работы, по его мнению, нужно было начать «в самой скорости, дабы земля теплотою не наполнилась». В помощь себе он просил двадцать человек арестантов «безпеременно до окончания дела».

«А ежели я,— писал, очевидно, уверенный в удаче затеянного им предприятия пономарь,— что учиню градским стенам, какую трату, и за то я повинен смерти».

Поднятый пономарем вопрос о возобновлении раскопок в Кремле сенат обсуждал дважды: сначала, в мае 1734 года, пономарю было предложено представить точные сведения, где он предполагает найти поклажу. Осипов указал четыре места: «в Кремле-городе, первое — у Тайницких ворот, второе — от Константиновой пороховой палаты, третие — под церковью Иоанна спасителя лествицы, четвертое — от Ямской конторы поперег дороги до Коллегии иностранных дел, а что от которого по которое место имеет быть копки,— добавил он от себя,— того я не знаю. А та поклажа в тех местах в двух палатах и стоит в сундуках, а какая именно — того не знаю».

Разрешение было дано 19 июня при условии «ежели для искания по показанью его поклаж от вынимания земли не будет какого в строении повреждения и казне большого убытку...»

И уже через две недели после начала поисков в московскую сенатскую контору из Петербурга полетело предписание «подать ведомость немедленно: поклажа в Москве под Кремлем-городом в тайнике свидетельствована ль и что явилось?»

Одновременно сенатские чиновники начали наводить справки об Осипове и выяснили два подозрительных обстоятельства: что за ним числится недоимка казне и что «оный Осипов в 1734 году о позволении в искании тех поклаж просил, утая прежнее правительствующего сената определение, за что подлежит наказанию».

Как именно должен был быть наказан предприимчивый пономарь, в определении не упомянуто. В архиве сохранилось только донесение секретаря сената, что «рвы были копаны даже не в четырех, а в пяти местах: у Тайницких ворот, за Архангельским собором, против колокольни Ивана Великого, у цейхаузной стены —в круглой башне, и в самих Тайницких воротах... И той работы было немало, но токмо поклажи никакой не отыскал».

Поиски таинственной поклажи, проведенные пономарем Осиповым с разрешения Петра I и после его смерти с ведома императрицы Анны Иоанновны на основании устного сообщения умершего дьяка Большой казны Василия Макарьева, указывают на то, что в кремлевских подземельях, возможно, имелись секретные хранилища, о которых было известно лишь очень немногим.

Неудачный исход этих поисков не позволил выяснить это окончательно и узнать, что именно находилось в этих тайниках: книжные ли сокровища Ивана Грозного или какие-нибудь другие ценности. Упоминание в донесении пономаря Осипова о большом количестве сундуков, виденных в подземных палатах дьяком Василием

Макарьевым, заставило И. Е. Забелина высказать еще одну догадку: не эти ли сундуки перечислены в самой древней из всех дошедших до нас описей царского архива, хранившегося при жизни Ивана Грозного в 231 сундуке, коробьях, ящиках и ларцах и также пропавшего?

«Утрата этих ящиков, — заявил теперь Забелин, — несравненно горестнее для русской истории, чем утрата всей библиотеки Ивана Грозного... Не о них ли, — отвечал вопросом на свой же вопрос Забелин, — оставалось предание от дьяка Большой казны Василья Макарьева? В особом тайнике они могли быть помещены для сохранения именно от пожаров».

СОМНЕНИЯ ИСТОРИКА-СЛЕДОПЫТА

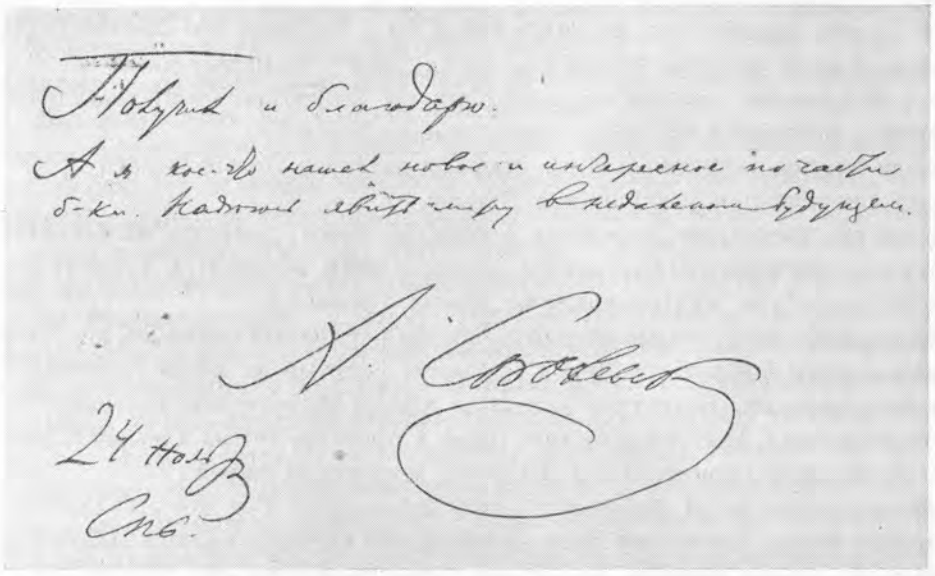
НЕОЖИДАННЫЙ вывод Забелина, что под землей надо искать не книгохранилище Ивана Грозного, а весь его архив, ободрил как раз сторонников продолжения поисков библиотеки.

К Забелину присоединился известный палеограф Алексей Иванович Соболевский. Он выступил с утверждением, что там, где находится архив, должна быть библиотека. Пусть пономарь ничего не нашел — из этого вовсе не следует, что она уже перестала существовать. В заставленных сундуками подземных палатах могли быть спрятаны не только архивные документы, но и ценнейшие рукописи царского книгохранилища.

Профессор Соболевский предлагал немедленно начать под Кремлем раскопки под руководством Забелина. Больших затрат они не потребовали бы; в том же, что они не будут напрасными, он не сомневался.

Этих надежд не разделял скептик Белокуров, считавший, что поиски царского архива под землей будут безуспешны, потому что архив этот находится... на земле.

Даже в извлеченных Забелиным из забвения показаниях пономаря Осипова о двух подземных палатах Белокуров нашел зацепку для подтверждения своих выводов. «Ведь там говорилось, — напоминал он, — о крепко запертых сундуках, о дверях железных, цепях и замках превеликих, печатях на проволоке свинцовых». И спрашивал не без ехидства: каким же образом из-под такого крепкого запора через землю выскочил 138-й ящик царского архива, содержание которого находится ныне в московском главном архиве министерства иностранных дел? На этот каверзный вопрос у него, конечно, был уже готов и ответ: древнейшая дошедшая до нас архивная опись вовсе не является описью царского архива. В ней утрачены как раз заглав-



Прочтя исследование С. А. Белокурова „О библиотеке московских государей", Н. А. Соболевский послал его автору интригующую открытку.

ные листы, где об этом должно было быть сказано. На самом же деле это опись дел Посольского приказа, хранившего важные государственные документы, переданные впоследствии в Иностранную коллегию, а потом в министерство иностранных дел. В его архиве, уверял Белокуров, находились не только документы из 138 ящиков, но и из многих других. По Белокурову выходило, что нелепо искать царский архив под Кремлем, раз он находится на виду у всех, хотя и сильно разрозненный. Недостающие по описи документы, вероятно, остались в Польше, куда они были увезены и откуда удалось пока вернуть лишь немногие. Они могут оказаться даже в Германии, к которой перешла часть польских архивов после раздела Польши. Но вероятнее всего, что большинство этих документов погибло безвозвратно...

Однако сторонники продолжения поисков библиотеки во главе с профессором Соболевским не могли с этим согласиться. Из того, возражали они, что несколько ящиков с грамотами великих князей Ивана III, его сына Василия и его внука Ивана Грозного были когда-то взяты в Посольский приказ для справок и там застряли, вовсе не следует, что у московских царей не было своего архива. Соглашаясь с Белокуровым, что дела Посольского приказа сохранились полнее других, Соболевский подчеркивал, что они состоят главным образом из черновиков и копий. Подлинники же этих документов должны находиться в царском архиве.

Но Белокуров не сдавался. Он заявлял, что из перечисленных в древнейшей описи 231 ящика более половины содержали дипломатические документы и все они уцелели. Кроме документов по внешним сношениям, в Посольском приказе хранились и всякого рода грамоты, характеризовавшие внутренний быт московской Руси. Остальные, вероятно, попали в другие приказы или пришли в негодность. Если

еще в 1614 году о некоторых из них в описи было сказано, что они «ветхи добре и розпались, а иные згнили», то как они могли дожить до наших дней?

Спор московских архивистов и историков с петербургскими, возглавляемыми Соболевским, принимал все более ожесточенный характер.

Между тем подстегиваемый этими спорами директор Исторического музея князь Щербатов приступил к раскопкам в Кремле.

Белокуров решил, не дожидаясь окончания работ, доказать их бесполезность специальным научным исследованием, посвященным вопросу: а существовало ли вообще когда-нибудь книгохранилище Ивана Грозного?

Неистощимое упорство проявил этот опытный архивный следопыт, изучая вопрос о происхождении библиотеки Ивана Грозного. Задетый за живое разгоревшимися вокруг него спорами, Белокуров решил во что бы то ни стало доказать правоту своей точки зрения. И Белокуров приступил к проверке самых древних источников, в которых впервые упоминалась библиотека московских царей.

Достоверны ли наши сведения об этой библиотеке? Вот что требовалось выяснить прежде всего. Поскольку было известно, что книгохранилище Ивана Грозного досталось ему от его предков, Белокуров перечитал тексты всех древних летописей. Ни в одной из них не было ни слова о том, что кто-либо из московских великих князей или царей владел большим собранием иноязычных книг.

Если эти книги погибли в огне войн и пожаров, рассуждал Белокуров, летописцы обязательно об этом упомянули бы. Ведь в те времена книги были большой ценностью. В одной ветхой богослужебной книге — «минее», а также в знаменитой «Степенной книге», правда, имелись краткие записи, что в 1547 году в Кремле сгорели «святые многие книги, греческие и русские, дивно преизрядно украшенные», но не было сказано, что они происходили из царской библиотеки. Иван Грозный интересовался ведь не только церковной литературой. Скорее всего здесь шла речь о роскошных книгах из кремлевских церквей и соборов, оправленных в драгоценные переплеты.

Молчание летописцев о библиотеке Ивана Грозного подтверждало сомнение Белокурова: да существовала ли она вообще когда-нибудь? Но, с другой стороны, они могли и не знать о библиотеке, потому что она была запрятана глубоко под землей и местонахождение ее тщательно скрывалось. Во всяком случае Белокуров счел своим долгом подчеркнуть, что первое свидетельство о библиотеке Ивана Грозного появилось не в древних летописях, а в таких второстепенных документах, как неизвестно кем сочиненные описания жизни выдающегося книголюба XVI века Максима Грека, приглашенного великим князем Василием Ивановичем в Москву. Со всей литературой о нем Белокуров был хорошо знаком.

Изучая его сочинения, пытливый источниковед с удивлением обнаружил, что в них не было ни слова о царской библиотеке. Приписываемый же ученому старцу восторженный отзыв о ней приводился только в его жизнеописании, составленном спустя 75 лет после его смерти неизвестным автором.

Собирая дополнительные сведения о Максиме Греке в Москве, Владимире, Твери, Ярославле, Костроме, Казани, Суздале и других древних городах, Белокуров лично или с помощью знакомых архивистов нашел более 250 рукописей, содержав-

ших сведения о нем или выдержки из его сочинений. Выделив 65 из них, носивших характер жизнеописаний, исследователь разделил их на три категории: краткие биографические заметки, более подробные, написанные в форме «сказаний», и эпитафии. Все они, кроме одной, были безымянными.

Краткие биографические справки пришлось сбросить со счета. В них не было ни слова о библиотеке. Более подробные исследователь в свою очередь разделил на три вида. К первому он отнес две рукописи, умалчивавшие о ней, но упоминавшие о некоторых известных Максиму Греку книгах. Ко второму — те, где говорилось, что Максим Грек «многие книги душеполезные трудом и потом исправил». Таких рукописей набралось девять. Третий, самый распространенный вариант, содержавший восторженный отзыв о бесчисленном множестве книг, якобы виданных Максимом Греком в библиотеке отца Ивана Грозного великого князя Василия, встретился Белокурову в 39 рукописях, но ни одна из них не давала ответа на законный вопрос: почему этот отзыв отсутствует в собственных сочинениях Максима Грека?

В поисках ключа к разъяснению этой загадки Белокуров съездил в Троице-Сергиевскую лавру на могилу знаменитого старца. Нельзя ли что-нибудь узнать из надписи на его надгробной плите?

Но за двести лет на этой могиле переменилась не одна надпись. Позлащенная таблица, установленная в 1905 году, из-за своей «староветхости» была заменена «дщицей», то есть более скромной доской. Белокуров все же сумел разыскать прежний текст и сличить оба. Он сразу увидел, что они были взяты из одного и того же уже известного ему сказания. В конце 1808 года была установлена последняя надгробная плита, пересказывавшая тот же текст другими словами. Итак, изучение 65 текстов, составленных неизвестными авторами и частично списанных ими друг у друга, не дало ничего нового. Оставался еще один, самый подробный и уже не анонимный, называвшийся «Житие Максима Грека, пострадавшего за истину от самодержавных и злых наветчиков». Это сказание было составлено сравнительно поздно, в 1720—1721 годах, искушенным в чтении богослужебных книг сторожем Благовещенского собора в Кремле Семеном Федоровичем Моховиковым. О его личности Белокурову не пришлось наводить справки. В предисловии к сказанию автор сам рассказывал о себе забавные подробности, заставлявшие с большой настороженностью относиться к сочиненному им тексту*.

Подробное сказание о Максиме Греке оказалось дословно списанным с других, уже знакомых Белокурову.

Выясняя происхождение сведений о библиотеке Ивана Грозного, Белокуров прибегал и к такому методу: он отделил самые древние сообщения о Максиме Греке от более поздних. Из двухсот пятидесяти — восемьдесят относились к XVI веку, но ни в одном из этих восьмидесяти не упоминалось о переводе Максимом Греком книг из царской библиотеки или о самой библиотеке. Все эти сведения появились в рукописях в XVII веке, то есть уже после смерти Максима Грека. Наиболее часто повторявшийся восторженный отзыв о библиотеке, видимо, был приписан Греку.

Утверждение, что Максим Грек прибыл в Москву для осмотра царского книгохранилища, противоречило его собственному свидетельству, что он взял на себя

только перевод одной «Толковой псалтыри». Высказанную им якобы при осмотре библиотеки великого князя жалобу на оскудение греческих книгохранилищ трудно было примирить с тем, что Максим Грек прибыл в Москву из Афона, монастыри которого славились своими книжными собраниями, обогащенными пожертвованиями двух постригшихся в монахи византийских императоров — Андроника Палеолога и Кантакузина. Несмотря на все опустошения и утраты, даже в конце прошлого столетия одних только рукописных книг в афонских монастырях было более пяти тысяч.

Очевидно, эти высказывания, так же как и восторженный отзыв Максима Грека о якобы показанной ему великокняжеской библиотеке, были приписаны ему спустя много лет после смерти сочинителями его биографии — проповедниками легенды о «третьем Риме», утверждавшими, что после падения Византии этим Римом якобы стала Москва, а московский царь сделался единственным наследником и хранителем его бесценных книжных сокровищ.

Но ведь, кроме Грека, был еще Веттерман! Немецкий пастор попал в Москву позже Максима Грека, совсем другими путями и тоже, по его словам, видел знаменитую библиотеку. Белокуров должен был признать, что известия о посещении Москвы Веттерманом с трудом поддаются проверке.

Первое сообщение об этом появилось в «Ливонской хронике», составленной жившим в XVI веке в Риге немецким купцом и бургомистром Ниенштедтом. Белокуров выяснил, что эта «Хроника» долго ходила по рукам в рукописях и с нее было снято не менее семи копий. Список, которым пользовался профессор Клоссиус, был самым худшим из всех. В нем, например, говорилось, что библиотека Ивана Грозного хранилась под тремя сводами его покоев, в то время как в других списках это место читалось иначе: «в одних покоях», то есть, возможно, вовсе не в кремлевских. Специально изучавший историю прибалтийских государств с древнейших времен профессор Форстен утверждал, что «наименее достоверен из всех ливонских летописцев Ниенштедт. Его хроника — это произведение дилетанта, а не историка, написанное в 1604 году, когда автору было 64 года. Он писал по памяти, а потому в его труд и вкралось немало ошибок».

Веттерман был в Москве недолго, сопровождая в ссылку своих прихожан. Это как раз и показалось Белокурову подозрительным. Ссыльному священнику царские дьяки вряд ли стали бы показывать книжные сокровища Кремля. Этот священник был иноверец — как же могли они доверить ему перевод книг, касавшихся истории православной церкви? Белокуров высчитал, что Веттерман мог прибыть в Москву не раньше июля 1570 года. Но как раз в это время Иван Грозный приблизил к себе двух других ливонских немцев — Таубе и Крузе; они оставили впоследствии подробные воспоминания о своей жизни в Москве, но почему-то ни словом не обмолвились о царской библиотеке.

В отличие от Максима Грека, сообщившего, если верить жизнеописанию, что драгоценные книги были привезены в Москву бабкой Ивана Грозного византийской принцессой Софьей Палеолог, Веттерман утверждал, что они были присланы константинопольским патриархом еще при крещении Руси. Но почему же среди них тогда оказались еретические латинские и иноверческие еврейские рукописи? Боль-

шие сомнения внушало и заявление Веттермана, что царское книгохранилище не открывалось более ста лет. После приезда Софьи Палеолог прошло меньше века, когда Веттерман посетил Кремль, а лет за пятьдесят до него те же книги якобы видел Максим Грек.

Очевидно, вспоминая через десятки лет рассказ Веттермана, Ниенштедт не только перепутал многие подробности и фамилии царских дьяков, но и прибавил кое-что от себя. Белокуров допускал, что Веттерману было сделано предложение переводить документы для Посольского приказа. Все, что касалось перевода книг из таинственной царской библиотеки, вероятно, присочинил Ниенштедт.

Но названия этих книг были перечислены в так называемом списке Дабелова! Этот спорный документ Белокуров решил совсем не принимать всерьез.

Список Дабелова состоял главным образом из светских произведений римских и греческих авторов. Московские же цари, в частности Иван Грозный, по мнению Белокурова, должны были более интересоваться творениями «отцов церкви» первых веков христианства. Именно за такими книгами ездил Арсений Суханов на Афон.

Белокурову внушали также большие подозрения анонимный характер списка и его бесследное исчезновение. Как мог опытный исследователь, снимая копию с каталога царских рукописей, опустить его заглавие и имя составителя? Почему такой ценный документ остался неизвестен даже его хранителям — архивариусам города Пярну?

После сделанного Белокуровым на археологическом съезде в Риге запроса о судьбе списка Дабелова прибалтийские газеты напечатали призыв возобновить его розыски, но откликнувшиеся на него рижские ученые так и не смогли ничего найти. Очевидно, этот список был фальшивкой, и поэтому-то Дабелов постарался «потерять» его след.

Белокуров еще не закончил свое исследование, когда в петербургской печати профессор Соболевский обратил внимание на забытый историками документ — письмо жившего в Москве в конце XVII века газского[1] митрополита Паисия Лигарида к царю Алексею Михайловичу, начинавшееся цветистой фразой о некоем «запечатанном источнике», вызывающем огорчение у страждущих. «Давно уже известно, — писал выпестованный римскими иезуитами ученый грек, — о приобретении вашим величеством из разных книгохранилищ многих превосходных книг, почему нижайше и прошу дозволить мне свободный вход в ваше книгохранилище для рассмотрения греческих и латинских сочинений». Соболевский видел в этом письме доказательство, что библиотека Ивана Грозного продолжала существовать по крайней мере еще сто лет после смерти царя.

Другим веским доводом Соболевского были выдержки из наказа Ивана Грозного русскому послу Михайле Сунгулову, ездившему к ногайским татарам. Если Минехмат-князь спросит посла об обещанном царем знаменитом сочинении иранского ученого Казвини «Аджейиб уль махлукат» («Чудеса природы»), ответить: «Государь наш тое книги в казнах своих искати велел и доискатись ее не могли».

Значит, Веттерман был прав: в библиотеке Ивана Грозного были не только гре-

---

[1] Газа — древний город в южной части Палестины, центр Газской провинции.

ческие и латинские рукописи. Так называемое куфическое арабское письмо похоже на древнееврейское, отсюда Веттерман мог заключить, что у царя есть и еврейские рукописи.

Пока князь Щербатов рылся под землей в Кремле, Белокуров продолжал свои наземные раскопки в архивных шкафах. И ему повезло. В расходных тетрадях XVII века он нашел подлинные записи о том, что Паисий Лигарид по царскому указу пользовался привезенными Сухановым с Востока иноязычными книгами из патриаршей библиотеки. Запечатанным же источником он их называл потому, что после удаления патриарха Никона из Москвы патриаршая библиотека была опечатана и ключ от нее находился у царя.

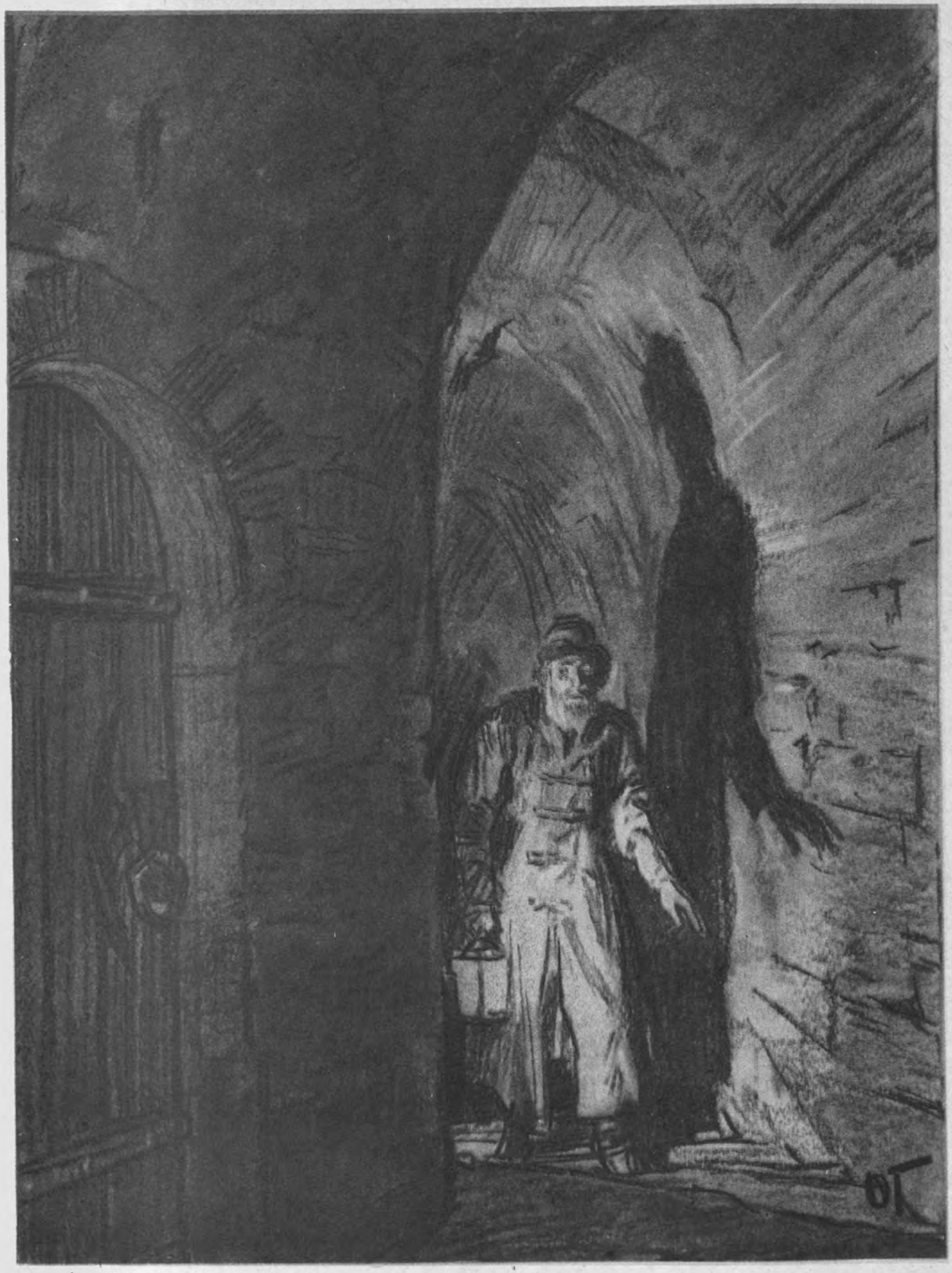
Упрямцев, требовавших продолжения поисков библиотеки, можно разделить на две категории: «наземников» и «подземников». «Наземники» утверждали, что составлявшие ее когда-то книги распылились по другим хранилищам, где и следует их искать. Таким «наземником» первоначально был и немецкий ученый Тремер. Убедившись после осмотра ряда библиотек в бесполезности этих поисков, он перешел в лагерь «подземников», веривших, что книжные сокровища все еще находятся под землей.

Но были и такие «наземники», которые говорили: то, что мы не нашли сокровищ Ивана Грозного в старейших хранилищах иноязычных книг, вовсе не означает, что их там не было раньше. Состав этих хранилищ менялся. В старинных описях можно встретить немало названий давно исчезнувших книг. Вот они-то как раз и были из библиотеки Ивана Грозного! Значит, она все же существовала! Если бы утраченное исследование иранского ученого Казвини «Чудеса природы» не находилось раньше в ней, царь бы не обещал его ногайскому князю.

Белокуров решил лишить своих противников и такого аргумента и предпринял с этой целью ряд специальных исследований, косвенно убеждавших, что упоминаемые в этих описях книги происходили из совсем других источников. Он тщательно проследил историю четырех самых больших и старых хранилищ иноязычных рукописей: архива Посольского приказа и созданного позже вместо него Главного московского архива министерства иностранных дел, а также историю собраний московского патриарха и Печатного двора. Белокуров просмотрел все дела архивов, касавшиеся поступления книг в течение двух веков, и все описи книжных приобретений московского патриарха и убедительно доказал, что приток иноязычных книг в Посольский приказ усилился лишь при царе Алексее Михайловиче благодаря расширению связей с чужеземными странами.

Посылая гонцов или послов в эти страны, Алексей Михайлович давал им наказ приобретать выходящие там книги для выяснения, нет ли в них поклепов на «его царское величество».

Когда в 1680 году в псковском Крылецком монастыре умер немощный старец инок Антоний, от царя пришло строгое предписание «с великим радением обыскать подворье и найденные письма и книги прислать в Москву». В рясе инока скрывался от превратностей судьбы некогда искусный воевода и дипломат, близкий советник Алексея Михайловича, управлявший несколько лет Посольским приказом и постригшийся к концу жизни в монахи — Ордин Нащокин. После ссылки сменившего



его на этом посту просвещенного советника царя боярина Артамона Матвеева (убитого по возвращении из нее во время стрелецкого восстания) «из животов его» также поступило в Посольский приказ 77 иноязычных книг.

Архив министерства иностранных дел пополнялся таким же образом. Каждый раз, когда под топором палача падали головы опальных вельмож, в архив попадали принадлежавшие им иноязычные книги. Среди них было много религиозных «кальвинских», «люторских» и «католицких». Но встречались также и «летописцы», «лексиконы», «атлясы», «космографии» и «конституции», приобретенные главным образом у заезжих ксендзов и иезуитов. Попадались книги и об эпохе Ивана Грозного, но по разным палеографическим приметам Белокуров установил, что они были написаны уже после его смерти и не могли ему принадлежать.

Исследуя историю патриаршей библиотеки, Белокуров досконально изучил описи не только келейной казны московских патриархов, хранившей их личное имущество, но и домовой, в которую записывался весь инвентарь патриаршего двора, и «ризной», перечислявшей переходившую по наследству неприкосновенную собственность патриаршей кафедры. Собрание греческих рукописей патриаршей библиотеки оказалось очень богатым, но ни об одной из них нельзя было сказать, что она могла принадлежать Ивану Грозному.

У этого московского царя, как и у его предшественников и наследников, была, конечно, своя личная библиотека, по мнению Белокурова, состоявшая главным образом из русских и небольшого количества греческих рукописей, а также и московских и литовских старопечатных книг. Некоторые из них впоследствии, вероятно, очутились в монастырских книгохранительницах, так как в их описях нашлись сведения о такого рода пожертвованиях. Но и эта домашняя библиотека Ивана Грозного, по убеждению Белокурова, должна была погибнуть во время бурных событий конца XVI — начала XVII века. «Если царские палаты и хоромы были без кровли и лавок, без окошек и дверей, то как могли уцелеть в сих палатах рукописи?»— спрашивал Белокуров и добивал своих противников еще более каверзным вопросом: зачем стал бы Алексей Михайлович снаряжать на Восток целую экспедицию за греческими рукописями и тратить на их покупку огромную по тому времени сумму — пятьдесят тысяч рублей золотом из своей казны, — если бы сокровища Ивана Грозного были в его распоряжении? Достаточно было лишь достать их из подземелья.

Исследование Белокурова о библиотеке московских государей заняло около тысячи страниц печатного текста и произвело большое впечатление в научном мире. Когда он сделал сообщение об этой работе на заседании «Московского общества истории и древностей российских», председатель этого общества, знаменитый историк и бывший учитель Белокурова Владимир Осипович Ключевский, согласился с основными выводами докладчика, совпадавшими с его собственными взглядами на причины, «которые могли способствовать возникновению легенды о громадном собрании иноязычных рукописей у Ивана Грозного».

За это исследование Белокурову была присуждена почетная премия.

«После обстоятельного и подробного исследования Белокурова вопрос о царской библиотеке может считаться исчерпанным. Отыскивать следы мнимых рукописных сокровищ Ивана IV станет только ученый, обладающий беспочвенным во-

ображением и не доверяющий исторической критике», — писал «Журнал министерства народного просвещения» в 1899 году.

И такой ученый, обладавший очень пылким воображением и доверявший только своему собственному опыту, нашелся. Это был «подземник» Игнатий Яковлевич Стеллецкий — археолог и пещеровед, упорно веривший в необходимость продолжения поисков под землей книжных сокровищ Ивана Грозного и сумевший этого добиться в новой обстановке — после того, как Кремль со всеми его сокровищами, наземными и подземными, стал достоянием народа.

ПЕЩЕРОВЕД-КЛАДОИСКАТЕЛЬ

СЫН сельского псаломщика Игнатий Стеллецкий после окончания церковной школы в награду за прилежание был принят в Киевскую духовную академию, славившуюся в конце прошлого века своими историками. Они разбудили в способном юноше острый интерес к прошлому родной страны. Окончив духовную академию, Стеллецкий священником не стал. После поездки в Палестину он твердо выбрал профессию археолога*.

Стеллецкому пришлось снова сесть на студенческую скамью и закончить еще одно высшее учебное заведение — только что открывшийся в Москве археологический институт. Захламленные, дышавшие сыростью и часто кишевшие крысами подвалы старинных московских домов и монастырей интересовали его больше, чем самые живописные наземные архитектурные памятники. Нет ли под ними какого-нибудь замурованного тайника или подземного хода? Как врач, прежде всего прослушивающий сердце больного, пещеровед-любитель начинал обычно свои обследования с простукивания стен и пола подземелья. Почти под каждым старым московским домом, построенным не меньше чем полтораста-двести лет тому назад, утверждал Стеллецкий, есть какие-нибудь таинственные сооружения, подземные палаты и ходы, проложенные на случай непредвиденных событий. Такие ходы были под ныне снесенными башнями китайгородской стены, например под Варварской, а также и под Сухаревской, под фундаментами зданий, принадлежавших когда-то наперснику Ивана Грозного свирепому Малюте Скуратову и спасителю Москвы от чужеземных поработителей князю Пожарскому. Они тянулись под старой Голицынской больницей и вблизи Новодевичьего и Симонова монастырей. По предположению Стеллецкого, ходы должны были соединять дома некоторых живших в Кремле царских приближенных, например князей Черкасских и Трубецких, и царских родичей —

бояр Морозовых и Милославских — с их городскими владениями. На это, между прочим, указывала запись летописца, будто слишком глубоко запустивший руку в казну царской свояк, знаменитый боярин Борис Иванович Морозов, в 1648 году только потому спасся от народной расправы, что успел по тайному ходу ускользнуть в Кремль.

Тщательно выискивая в древних летописях и рукописях сведения о всякого рода подземельях и тайных ходах, Стеллецкий особенно заинтересовался содержавшимся в одной из них сообщением о том, что итальянский архитектор Пьетро Антонио Солари построил в Москве «две отводные стрельницы, или тайники и многие палаты и пути к оным с перемычками по подземелью. На основаниях каменных водные течи, аки реки, текущие через весь Кремль-град осадного ради сидения».

Ознакомившись с обширной литературой о якобы спрятанной в одном из подземелий Кремля библиотеке Ивана Грозного, в том числе и с опровергавшим это предположение фундаментальным исследованием Белокурова, энтузиаст-«подземник» встал, конечно, на сторону его противников.

Разрешить вопрос окончательно! — вот какую задачу поставил перед собой начинающий археолог и стал искать новые доводы для обоснования необходимости возобновления поисков знаменитой либереи Ивана Грозного. Стеллецкий высказал мнение, что правильней было бы назвать ее библиотекой византийских императоров или греческой принцессы Зои, более известной в России под именем Софьи Палеолог.

Вероятно, она сначала жалела о том, что привезла византийские книжные сокровища в деревянный город, плохо защищенный от пожаров.

Библиотеке угрожала опасность превратиться в пепел. Именно Софья Палеолог, по убеждению Стеллецкого, была главной вдохновительницей перестройки деревянного Кремля, превращения его в каменную крепость по образцу средневековых замков. По ее совету Иван III, отправляя в Италию первого русского посла Семена Толбузина, дал ему задание привезти в Россию способных осуществить этот план итальянских архитекторов. Приглашение было принято знаменитым итальянским зодчим Родольфо Фиорованти дель Альберти (носившим также имя Аристотеля), отправившимся в далекую Московию вместе со своим сыном и с учеником Пьетро Антонио Солари. За ними последовали и другие.

Известно, что Аристотель Фиораванти построил в Кремле Успенский собор с тайником под ним для хранения дорогих церковных сосудов и других ценностей. Стеллецкий смотрел на это иначе. «Постройка Успенского собора, — утверждал он, — была лишь завесой, с помощью которой он хотел скрыть от нескромных взоров творимые им чудеса в подземном Кремле». Именно им и его учеником Солари были сооружены под Кремлем, по утверждению Стеллецкого, многочисленные подземные палаты и ходы. На преемника Солари—Алевиза, Стеллецкий указывал как на строителя двух подземных палат для привезенной Софьей Палеолог библиотеки— впоследствии либереи Ивана Грозного.

Ватикан долго не мог примириться с тем, что книжные сокровища Палеологов куда-то от него ускользнули, и через своих разведчиков делал попытки их разыскать и вернуть.

Такое задание получили, например, как свидетельствуют найденные в архиве Ватикана документы, приезжавшие в 1601 году в Москву польский посол Лев Сапега и специально с этой целью включенный в состав делегации иезуит Петр Аркудий.

16 марта 1601 года он писал из Можайска кардиналу Сан-Джорджо «о греческой библиотеке, относительно которой некоторые ученые люди подозревают, что она находится в Москве; при всем нашем великом старании, а также с помощью авторитета господина канцлера не было никакой возможности узнать, что она находилась когда-нибудь здесь».

Одним из таких разведчиков был, по мнению Стеллецкого, и получивший образование в Италии просвещенный грек Паисий Лигарид, подосланный Ватиканом в Москву, где он упорно добивался допуска в царское книгохранилище.

И, видимо, усилия этих разведчиков не были напрасными. Иначе каким образом могла бы попасть в руки польского короля Владислава принадлежавшая Ивану Грозному древнейшая жалованная грамота византийского императора Константина папе Сильвестру? Поднося ее через своего посла Оссолинского римскому папе, польский король, конечно, не знал, что она была всего только очень древним и очень искусно сделанным списком с подлинной грамоты. Но этот список мог, по убеждению Стеллецкого, попасть к Ивану Грозному лишь от его бабки Софьи Палеолог.

В своих далеко не всегда обоснованных выводах Стеллецкий шел дальше всех историков и археографов, исследовавших вопрос о происхождении библиотеки Ивана Грозного. Теория археолога-энтузиаста выглядела очень стройной, но при внимательной проверке обнаруживались существенные пробелы. Доказательства часто притягивались искусственно или подменялись домыслами.

В подтверждение неоспоримости факта вывоза книжных сокровищ из Византии Стеллецкий приводил цитату из сочинений современника Максима Грека — князя Курбского, слышавшего от учившегося в Италии греческого книголюба, что император Константин перед падением Византии «царицу свою со всей казной, с газофилакией книжной (то есть библиотекой) выпустил на Белое море в кораблях до Родоса и до Веницеи...» Там же было сказано, что последний патриарх бежал от турок «до Веницеи и с собою всю газофилакию (либрарию, або книгохранительницу церковную) изнесе...»

Кто же вывез все-таки библиотеку: жена императора Константина, последний патриарх или деспот Фома Палеолог со своей дочерью Софьей? На эти вопросы Стеллецкий не смог дать ясного ответа. Ничем не подтвердил он и факт перевозки книг Софьей Палеолог во время ее путешествия в Москву. Но это, видимо, его не очень смущало. Он был глубоко убежден, что все эти расхождения не имеют серьезного значения, так как многолетний спор будет решен заступом.

Момент для возобновления раскопок был, однако, совсем неподходящий. Неудача предпринятых князем Щербатовым поисков была еще у всех в памяти, так же как и объяснявшее эту неудачу исследование Белокурова. Эта увесистая книга, подобно каменной могильной плите, казалось, навсегда завалила вход в либерею. Для организации раскопок нужны были также средства и связи. Стеллецкий же ни тем, ни другим не обладал.

Несмотря на то что все цари из династии Романовых, начиная с Петра Первого, постоянно жили в Петербурге и московский их дворец в Кремле обычно пустовал, проникнуть в его покои или в древние кремлевские башни, а тем более в расположенные под ними подземные сооружения было совсем не легко. Приходилось подбираться к ним окольными путями, выискивать подходящий предлог. Такой предлог подвернулся Стеллецкому только в 1909 году.

Еще будучи студентом, он вступил в члены Московского археологического общества, исследовавшего памятники старины и заботившегося об их охране, и пытался с его помощью проникнуть в подземный мир Москвы. Одновременно он начал рыться в архивах, разыскивать в записях приказных дьяков сведения о забытых кладах, подземных палатах и ходах.

Как представителя Археологического общества, Стеллецкого пригласили принять участие в разборке пришедших в ветхость документов, скопившихся в Московском губернском архиве старых дел. Архив этот размещался в китайгородских и кремлевских древних башнях. Дела эти касались главным образом нескончаемых тяжб между московскими купцами. Но участие в работах междуведомственной комиссии по разборке этого архива открывало доступ в кремлевские башни. Стеллецкому представилась возможность попутно познакомиться с их устройством, сделать, так сказать, первую разведку.

Волнуясь, поднимался он по витой заржавленной лестнице в так называемую наугольную Арсенальную башню, возведенную в XVI веке. Суровая и строгая снаружи, она внутри производила впечатление обжитой, так как была доверху загромождена полками с архивными делами. Стеллажи закрывали стены, но Стеллецкий знал, что внутри одной из них есть лестница, ведущая в подземный тайник с колодцем, обнаруженный князем Щербатовым, и с загадочным тоннелем, наглухо загороженным белокаменным устоем арсенала. Хоть бы одним глазом заглянуть в этот тайник!

Однако сделать это не решился.

Только спустя три года Стеллецкому удалось найти новую лазейку в Кремль.

Московское отделение Русского военно-исторического общества по его просьбе обратилось с ходатайством к заведующему придворной частью и начальнику дворцового управления Кремля князю Оболенскому о разрешении члену общества Стеллецкому с научной целью осмотреть кремлевские стены башни с их подземельями. Ходатайство это было удовлетворено, но с существенной оговоркой: «За исключением подземелий».

Напуганный, вероятно, взрывом бомбы, брошенной Каляевым в закоренелого мракобеса великого князя Сергея Александровича, начальник дворцового управления был неумолим. Оговорка сводила на нет выданное Стеллецкому разрешение, но он все же решил им воспользоваться.

В 1912 году в Кремле в связи с приближавшейся юбилейной датой — сотой годовщиной Отечественной войны 1812 года — производились работы по приспособлению части арсенала под музей трофеев этой войны.

Археолог смекнул, что запрещение заглядывать в подземелья кремлевских башен не касалось подвала арсенала. Воспользовавшись тем, что ремонтировавшие

его рабочие ушли на обед, Стеллецкий не упустил случая забраться в подвал и тщательно осмотреть его. Он даже простучал молотком все его земляное дно. В одном месте отчетливо послышался гул пустоты. Схватив оставленную рабочими железную лопату, Стеллецкий принялся поспешно копать землю. Выбросив щебень и известь, он вскоре наткнулся на твердый кирпичный свод, издававший при каждом ударе такой звук, словно это был не камень, а пустая бочка.

«Было очень соблазнительно пуститься в отважную авантюру: на свой страх и риск пробить свод и, юркнув в пролом, исследовать подземный Кремль», — записал археолог в своем дневнике. Но это было слишком опасно. Озадаченный еще одной загадкой, он поспешил подняться наверх.

Через год еще один юбилей — трехсотлетие дома Романовых — дал повод не потерявшему надежды Стеллецкому впервые поставить вопрос об отпуске денежных средств, необходимых для подземных работ.

В печати было торжественно объявлено о «великой монаршей милости»: личная канцелярия царя получила указание в связи с юбилеем принимать просьбы от верноподданных об удовлетворении их самых неотложных нужд.

Археолог сообразил, что у него есть веские основания для вручения такой просьбы. Он испытывал острую нужду в разрешении жизненно важного для него вопроса: возобновление поисков книжных сокровищ Ивана Грозного, по его мнению, нельзя было дольше откладывать.

Необычная просьба поставила, вероятно, в тупик чиновников личной канцелярии царя. Ответ Стеллецкому пришел от императорской Археологической комиссии. Автора прошения ставили в известность, что «проекту разыскания библиотеки царя Ивана Грозного на средства государственного казначейства не может быть дано дальнейшего движения» впредь до представления им «сколько-нибудь точных предположений о месте, где могла сохраниться названная библиотека».

Стеллецкий никаких предположений не представил: он тогда еще сам не знал, с чего начинать.

Летом 1913 года в Кремле в связи с реставрацией Успенского собора снова начались подземные работы, не имевшие никакого отношения к поискам библиотеки Ивана Грозного, но опять напомнившие о ней.

Раскопав мостовую возле собора, землекопы обнаружили неглубокий подземный ход. Возникло предположение, не ведет ли он к исчезнувшему книгохранилищу? Но судя по найденному на его дне окаменевшему илу это была всего только канава, доставлявшая воду в живорыбный садок царя Алексея Михайловича.

«Едва ли библиотека Ивана Грозного находилась под площадью между соборами, — заявил по этому поводу репортеру «Русского слова» руководивший работами инженер. — Не следует забывать, что в старину здесь было самое людное место в Москве. Здесь, у красного крыльца, вечно толпился народ, здесь буквально кипела жизнь. Вероятнее всего, что библиотека помещалась под каким-нибудь дворцом. Если это так, то отыскать ее будет довольно трудно...»

«Трудно, но не невозможно», — поспешил поправить его Стеллецкий. Надеясь втайне, что работы по реставрации собора будут способствовать возобновлению поисков, он на страницах другой московской газеты — «Утро России» — даже ука-

зал, где их следует вести: «Между соборами Успенским, Благовещенским и Архангельским, ближе к двум последним».

Непризнанному искателю либереи удалось поступить делопроизводителем в архив министерства юстиции. Директор его, профессор Цветаев, отнесся к археологу по-дружески, так как тоже интересовался судьбой исчезнувших книжных сокровищ и разыскивал сведения о них в своем архиве. В 1914 году Цветаев взял на себя смелость снова потревожить дворцовое управление Кремля. Он просил разрешить Стеллецкому производить «археологический осмотр» подземелий в башнях Арсенальной и Тайницкой «с целью восполнения и проверки содержащихся в документах архива о них сведений». На этот раз разрешение было дано.

Вдвоем со смотрителем губернского архива Стеллецкий спустился, наконец, в особенно интересовавшее его подземелье Арсенальной башни. Куполообразный свод отходившего от него подземного хода нетрудно было обнаружить. Но как в него попасть? Тщательно исследовав подземелье, они нашли давнишний пролом, сделанный, очевидно, первооткрывателем тоннеля Кононом Осиповым, с торчавшей в нем деревянной лестницей.

«По ней мы и спустились в неведомую мрачную пустоту с фонарем в руках, — вспоминал впоследствии Стеллецкий. — Ноги ступали по зыбкому мусорному дну тайника... В центре тайника возвышалась сложенная из камней пирамида. Только налево чернело устье огромного сводчатого макарьевского тоннеля, ведшего когда-то под Тайницкую башню, а ныне перегороженного на пятом метре устоем арсенала...»

Где бы ни находилась библиотека, между соборами или в другом месте, Стеллецкий, так же как и князь Щербатов, считал, что раскопки надо вести из забитого каменной пробкой макарьевского подземного хода.

Находка подлинника списка Дабелова, опрометчиво выпущенного из рук в прошлом столетии немецким юристом, — вот что могло бы способствовать получению средств для поисков библиотеки. Так, вероятно, рассуждал Стеллецкий, когда он по заданию двух учреждений — Московского археологического общества и архива министерства юстиции — выехал в Прибалтийский край «для изучения подземных ходов и осмотра старинных архивов».

Обследовать древние крепости и идущие от них подземные ходы надо было только во Пскове и в прилегающих к нему районах, так как именно в этом городе должен был вскоре собраться археологический съезд. Осмотреть же архивы требовалось в нескольких городах, в том числе в таких древних, как Рига, Пярну, Юрьев, но археолога интересовал только один из них — архив Пярну — хранилище, где бесследно исчез подлинник списка. Разыскать его во что бы то ни стало было негласной, но главной целью предпринятой им поездки.

Приехав в Пярну, тихий приморский эстонский городок, Стеллецкий прямо с вокзала помчался в местный архив и сразу же принялся за просмотр древнейших грамот, относившихся к тем временам, когда по узким улочкам сновали ратники Ивана Грозного — первого московского царя, настойчиво пытавшегося пробиться к Балтийскому морю.

Нетрудно себе представить волнение малонадеявшегося на успех археолога,

когда, перелистывая одну из запыленных ветхих связок, он вдруг, по его словам, нашел то, что искал: два пожелтевших листа, исписанных старинными немецкими буквами. Чернила выцвели и порыжели. Все же можно было прочесть название принадлежавших московскому царю редчайших книг.

Бесследно пропавший после возвращения его профессором Дабеловым, напрасно в течение многих лет разыскиваемый многими филологами и археографами, служивший предметом ожесточенных споров между московскими и петербургскими историками драгоценный список был, как утверждал Стеллецкий, наконец, в его руках.

«Скопировав наполовину с трудом разбираемый на немецком языке документ, — вспоминал он впоследствии об этой счастливой минуте, — я взглянул на подпись. Была как будто В (Веттерман?); первое мгновенье я был ошеломлен... Я поспешно свернул связку с тем, чтобы вскоре же, еще до археологического съезда, приехать опять и сфотографировать драгоценную находку...»

О своей удаче археолог сообщил по возвращении в Москву только одному человеку — своему покровителю профессору Цветаеву. О поддельности списка Дабелова ходило столько слухов, что печатать сообщение о вторичной находке его без снимка и заключения авторитетных экспертов не имело никакого смысла. Опасаясь, что кто-нибудь все же может его опередить, Стеллецкий, посоветовавшись с Цветаевым, решил не предавать пока свою находку гласности. Но съездить еще раз в Пярну ему не удалось. Вскоре разразилась мировая война. Так по крайней мере излагал дело Стеллецкий. Однако некоторые подробности этого эпизода кажутся не менее подозрительными, чем «исчезновение» так называемого списка Дабелова. Нельзя забывать, что Стеллецкий был кладоискателем-фантастом, своего рода фанатиком этого дела. Не вступил ли он на путь сознательной мистификации? Или это был неосознанный им самообман? А может быть, в самом деле, ему не везло?

ПОДЗЕМНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

ИСКАТЕЛЯ библиотеки Ивана Грозного война забросила на кавказский фронт, проходивший по территории турецкой Армении. Правда, и тут он работал по специальности — обследовал памятники древности в фронтовой полосе от Эрзерума до Трапезунда с целью их сохранения. Весть о занятии Кремля отрядами Красной гвардии заставила его с радостью вернуться в Москву и заняться поисками библиотеки Ивана Грозного.

Кладоискателя в Москве ожидало большое затруднение: принадлежавший уехавшим за границу хозяевам дом, в котором он жил до войны, был занят государственным учреждением, а оставшуюся в нем беспризорную библиотеку Стеллецкого случайно вывезли вместе с имуществом его прежних владельцев. Следов ее уже нельзя было отыскать. С потерей книг он мог бы еще примириться. Но вместе с ними исчезла и снятая Стеллецким собственноручно копия со списка Дабелова.

О новой поездке в Пярну не могло быть и речи: Прибалтика тоже была охвачена гражданской войной, Юденич подступал к Петрограду, в Эстонии власть перешла в руки буржуазии. Враждебно относясь к молодому Советскому государству, ее правители вряд ли позволили бы русскому ученому рыться в своих архивах. Страна переживала трудное время, нуждалась в самом необходимом и не могла оплачивать расходы по поездке за сомнительной подлинности списком каких-то мифических древних книг.

На немедленное возобновление поисков библиотеки в Кремле тоже трудно было рассчитывать: раскопки потребовали бы еще больших средств, чем поездка за списком Дабелова. Надо было сначала доказать, что эти средства не будут выброшены на ветер.

На этот путь и стал теперь неистовый кладоискатель. Куда только он не обращался в первые годы Советской власти со своими проектами! И в Исторический музей, и в Наркомат просвещения, и в Моссовет.

...Служившие когда-то во дворце князя Юсупова уборщица и дворник обратили внимание на исчезновение ниши, заменявшей им раньше шкаф для хранения метел и швабр. Она была заделана кирпичом и выкрашена в такой же цвет, как и вся стена.

Когда кирпичи разобрали, за ними оказался сундучок с изделиями из золота и серебра. Там же была найдена и редчайшая скрипка работы Страдивариуса, переданная потом в Московскую консерваторию.

Узнав об этом, Стеллецкий тщательно обследовал все подземные помещения дворца, но ничего в них не обнаружил. Неудача искупалась находкой во дворе четырех загадочных люков. Два из них были плотно забиты землей, третий оказался круглым цементированным колодцем и только последний был связан с подземным ходом, разветвлявшимся в двух направлениях. Пройти эти ходы насквозь Стеллецкому помешали подземные газы.

...В 1925 году в Москве было заложено девяносто буровых скважин для выяснения вопроса первостепенной важности: о направлении трассы первых линий будущего метро.

Исследуя почву во многих местах, метростроевцы часто натыкались на подземные сооружения и пустоты, буравили древние кладбища, извлекали из земных глубин остатки старинной утвари и орудий труда. Вот уж когда Стеллецкий мог с полным основанием сказать: наступил и на моей улице праздник! Самый подходящий момент для решительной постановки вопроса о поисках подземной либереи Ивана Грозного!

Еще в июле 1924 года в Историческом музее Стеллецкий сделал доклад на эту тему перед авторитетным собранием московских и ленинградских историков, архе-

ологов и инженеров. В разгоревшихся после доклада прениях голоса разделились. Одни были «за», другие «против», но большинство склонялось к тому, что, если даже библиотека и не будет найдена, раскопки помогли бы добыть много ценных сведений о подземном мире Кремля.

В начале следующего, 1925 года кладоискатель повторил свои доводы на публичной лекции в большой аудитории Политехнического музея. Вступительное слово перед этой лекцией произнес убежденный сторонник продолжения поисков, не изменивший своих взглядов и после появления труда Белокурова — академик Соболевский.

Слушатели были взбудоражены, доклад их явно заинтересовал, но практическое разрешение вопроса не продвинулось ни на шаг.

Пользуясь любым поводом для проталкивания своего проекта, Стеллецкий в дни празднования двухсотлетнего юбилея Российской Академии наук обратился к ее президенту, академику Карпинскому, с просьбой о поддержке. Ученый переслал это письмо на заключение историкам: знатоку русского XVI века С. Ф. Платонову и известному археографу Н. П. Лихачеву, написавшему первое исследование о либерее Ивана Грозного, споривщему по поводу нее с Белокуровым, но соглашавшемуся с ним в главном — что эта библиотека больше не существует. Оба академика остались при своем прежнем мнении. «Надежды на открытие каких-либо ценностей в подземных помещениях Кремля я считаю неосновательными и несерьезными», — заключил академик Платонов, а Лихачев добавил: «Клад царя Иоанна Грозного не может быть найден!»

Но Стеллецкий не унывал. В подходивших к Кремлю шахтах особенно часто можно было встретить долговязую фигуру ученого в резиновой спецовке, мелькавшую то тут, то там. Если где-нибудь сносилось мешавшее метростроевцам ветхое здание, он первым забирался в его подвал и тщательно, как дятел, выстукивал его стены. Нельзя же было допустить, чтобы землекопы засыпали какой-нибудь еще не исследованный подземный ход! Спускаясь на самое дно шахт, он не уставал разъяснять проходчикам необходимость бережного отношения к находкам, хотя бы и не имеющим в их глазах никакой ценности.

Почти каждый день Стеллецкому что-нибудь приносили: стертую медную монету, ржавую подкову или шпору, черепок разбитого кувшина, глиняную трубку или печной изразец, человеческий череп с остатками волос и бороды. Но еще больше, чем такие находки, археолога интересовали подземные пустоты, в которых можно было подозревать пещеру доисторического человека, забытый ход или тайник. Как только где-нибудь обнаруживалась такая пустота, ее старались не засыпать до осмотра археологом. Но шахт было много, и Стеллецкий не мог всюду поспеть. Иногда сообщение об обнаруженной пустоте приходило как раз в такой момент, когда он был на другой шахте. В июле 1933 года на углу улицы Горького и Охотного ряда снесли отслужившее свой срок здание, принадлежавшее когда-то князю Василию Васильевичу Голицыну, государственному советнику сестры Петра Первого, той самой правительницы Софьи, которая, руководясь одной ей известными загадочными соображениями, дала задание дьяку Макарьеву обследовать подземные ходы под Кремлем.

Работы по сносу дома были уже закончены, когда на прилегающей к Охотному ряду Театральной площади случилось «чрезвычайное происшествие». Вблизи загороженной дощатым забором шахты начала оседать почва. Оказалось, что проходчики соседней с ней шахты перерезали встретившийся им по пути никому не известный колодец.

На землекопов посыпались сверху песок и мусор, а мостовая дала такую трещину, что в самом центре Москвы пришлось остановить движение. Аварийные работы были проведены в большой спешке. Стеллецкий же узнал о происшедшем, когда повреждения уже были устранены.

Рабочие в один голос уверяли археолога, что засыпанная ими пустота была обыкновенным колодцем.

Сам же он был другого мнения: не колодец, а подземный ход!

«Ход лежал на материковой горелой глине на глубине шести метров и состоял из толстейших дубовых колод, под которыми шел тротуар из толстых досок», — записал археолог в своем дневнике и с грустью добавил: «Картина ясная, как на ладони, только мне одному на целом свете».

Стеллецкому, быть может, казалось, что, если бы колодец не успели засыпать, он прошел бы по идущему от него подземному ходу прямо в Кремль и обнаружил бы по пути тайник с книжными сокровищами.

Несмотря на то что мнение археолога о причине провала мостовой на Театральной площади не было принято во внимание, в следующий раз, когда трещины появились уже не на мостовой, а на стенах старого здания Ленинской библиотеки, выстроенной вблизи некогда находившегося здесь Опричного дворца Ивана Грозного, снова возник вопрос: кто в этом виноват? Проходчики метро или изрывший Москву своими подземными ходами Иван Грозный?

Стеллецкий высказал предположение, что в этом районе должен быть подземный ход из-под Опричного дворца, построенного Иваном Грозным после того, как он покинул Кремль. Дворец этот был деревянный и сгорел в 1571 году при пожаре Москвы, подожженной татарским ханом Девлет-Гиреем. Выложенный деревянными бревнами подземный ход выгорел тогда же. Но после осмотра подвала построенного на этом месте здания Московского главного архива министерства иностранных дел, того самого, в котором работал Белокуров, ученый пережил еще одно разочарование.

«Никакого подземного хода, — должен был он признать и так и записал в своем дневнике, — по крайней мере при современном состоянии подземных зданий, нет, а был он под другой дворец Грозного, что на Кисловке, выстроенный после этого пожара. Ход этот уклонялся на северо-восток, по направлению к Неглинной, а значит, все-таки к Кремлю».

Неудачи в отыскании пустот, которые могли быть когда-нибудь подземными ходами, отчасти возмещались другими находками: черепами человеческими и кабаньими (попробуй-ка разберись, сколько веков назад и кто на кого охотился!), каменными и чугунными ядрами, предметами давно отжившего домашнего обихода.

СИНЯЯ ПТИЦА В РУКАХ!

В ОКТЯБРЕ 1933 года «Вечерняя Москва» поместила статью Стеллецкого под интригующим заглавием «Подземная Москва». Археолог рассказывал в ней, между прочим, как, переселившись в Опричный дворец, Иван Грозный неожиданно для всех исчезал, уходил «обшитыми древом потайными ходами, известными ему одному и двум-трем приближенным. Он проходил тайниками к болотам и чащобам острова Воздвиженки.

Здесь, в глубокой чаще, в потайном подземелье, были вынесены приговоры Курбскому, Шереметеву, Турову, Бутурлину, Адашеву, Сильвестру».

А 13 ноября в дневнике кладоискателя появилась восторженная запись:

«Синяя птица

Да, синюю птицу ухватил за хвост! Лишь бы только не вырвалась!

В десять часов 13-го я, наконец, был в заповедном Кремле, в комендатуре».

Комендант Кремля попросил Стеллецкого в двухдневный срок представить в письменном виде свои соображения о местонахождении библиотеки Ивана Грозного.

22 ноября, после вторичного посещения Кремля, пребывавший в состоянии радостного возбуждения археолог поспешил снова занести в дневник свои впечатления:

«Опять синяя птица!

Синюю птицу держу за крылья! Снова был в Кремле и подал докладную записку.

Обсудили все. Когда речь зашла об Арсенальной башне, условились, что созвонюсь с инженерами и пойду с ними в ее тайники.

...Так вот: двадцатипятилетняя мечта как будто близка к осуществлению! Неужели же синяя птица, на этот раз так крепко схваченная, опять вырвется?»

Вслед за этими словами Стеллецкий записал в дневник один сильно заинтересовавший его случай, видимо рассказанный ему кем-то в Кремле:

...«14-го ноября на физкультурной зарядке курсантов школы ВЦИК, происходившей во внутреннем дворе здания правительства, один из участников ее прыгнул через клумбу и вдруг стал проваливаться в образовавшуюся в земле трещину. Под ней оказался колодец шестиметровой глубины. Комендант приказал налить в него воды. Накачивали целых полчаса, но она куда-то утекла. Пришлось засыпать колодец песком».

«Уж я-то постарался бы выяснить, куда она девалась», — добавил к этому рассказу автор дневника.

1 декабря 1933 года Стеллецкий снова записал в своем дневнике:

...«Мечта осуществляется после двадцатипятилетнего ожидания! Синяя птица поймана! Сегодня знаменательная дата — первый шаг большого дела: приступаю,

впервые в веках, к розыску научным способом библиотеки Ивана Грозного в недрах Кремля! Уж 460 лет, как она спрятана под землей, начиная с приезда Софьи Палеолог, и за это долгое время, почти в полтысячелетия, сегодня впервые с помощью технических и интеллектуальных сил могущественной державы начинаются поиски этого удивительного, принадлежавшего всему человечеству сокровища».

Всякий раз, когда археологу задавали вопрос, где же, по его предположениям, должно находиться его Великое Искомое — так он любил называть либерею, — он отвечал по-разному. В 1913 году ему казалось, что ее следует искать под землей между тремя кремлевскими соборами. В 1924 году он утверждал, что она спрятана под дворцом. Когда же, наконец, Стеллецкий получил возможность практически приступить к поискам, он все же начал их с Арсенальной башни, от которой шел подземный тоннель, уже нащупанный его предшественниками — подьячим Кононом Осиповым и князем Щербатовым.

«Из Арсенальной башни проникнуть в подземный Кремль совсем не трудно, — уверял он еще в 1914 году, после первого обследования этой башни, проведенного с разрешения дворцового управления. — Из подземелья первого этажа башни в направлении к Никольской ведет крутой спуск на четыре сажени, как раз на месте ответвления вправо под Кремль, перегороженный мощным арсенальным столбом... Галерея отлично сохранилась и совершенно безопасна. Ею вышел к реке Неглинной дьяк Василий Макарьев. Единственное неудобство галереи — в заполняющем ее значительном слое грязи. Грязь нанесена стекающей по ней, как по трубе, водой из находящегося в подземелье башни источника. В настоящее время вода исчезла...»

Через двадцать лет после того как были написаны эти строки, 27 декабря 1933 года, Стеллецкий снова входил в Арсенальную башню. На этот раз его спутниками были работавшие в гражданском отделе Кремля советские инженеры. Они поднялись на кремлевскую стену через соседнюю Троицкую башню и остановились перед дверью с увесистым замком. Попробовали подобрать к нему ключ, но ни один не подходил. Кто-то догадался толкнуть дверь, и она подалась. Башня не была даже заперта. По заржавленной железной лестнице Стеллецкий первым стал спускаться вниз. Он сразу заметил, что архив был вывезен — стены башни выглядели внутри такими же угрюмыми, как и снаружи. Дно ее было засыпано землей и мусором. Посредине зияло отверстие ветхого колодца с плававшим в нем гнилым бревном.

«Примечательны три хода, — записал в тот же вечер Стеллецкий. — Один сверху, от Троицкой башни, самый древний, ныне заложенный свежим кирпичом. Другой — к Никольской, сравнительно узкий, тоже замурованный, и третий — знаменитый «осиповский» — загроможден мусором, досками, на дне вода на одном уровне с колодцем. Закладка белокаменная».

Нелепо торчавший из этой закладки деревянный полосатый столб — часть сломанного шлагбаума — заставил Стеллецкого усомниться: осиповский ли это ход?

«По Конону Осипову, — вспоминал он, — сначала продолбили каменный арсенальный столб и уперлись в грунт. Здесь же белокаменная закладка не пробита насквозь. Если эта закладка и есть арсенальный столб, кирпичный свод тоже должен

быть проломан, а тут он почему-то уходит вглубь за тесаные глыбы белого камня...»

Новый, 1934 год, как и можно было ожидать, принес археологу новые открытия. Кладоискатель неожиданно обнаружил, что его предшественники, Конон Осипов и князь Щербатов, ввели его в заблуждение.

«...Конон Осипов, — продолжал археолог свои записи, — ничего не понял относительно происхождения тайника, на который он напоролся, копая «ров», потому, конечно, он и не производил археологического исследования...

...Оказывается, не столб арсенала загородил вход, как думал Осипов, а этот ход был нарочно до дна заложен белокаменными глыбами на извести, после того как на него наткнулись и проломали. Заполнив середину камнем, сверху засыпали землей...

Этот ход, — заметил Стеллецкий, — заворачивал на соединение со ступенями, ведущими из подземелья к первому ярусу. Теперь главное — это выяснить, имеет ли этот замурованный тайник ответвления под Кремль. Если нет, то сенсационные рассказы дьяка Макарьева окажутся пустой болтовней...»

На следующий день, 11 января 1934 года, археолог смог, наконец, поздравить себя с первым успехом.

«...Важное достижение: соединен нижний этаж Арсенальной с ее подземным старинным проходом! Это дает возможность, кажется, ударить в белокаменную закладку сзади. Есть признаки, что с противоположной от прохода на ступени стороны замуровки прячется «брешь» в тайник, о чем упоминал Конон Осипов».

Заметки в дневнике по поводу хода работ становятся все короче и реже. Их заменяют вложенные в тетрадь копии служебных записок, адресованных коменданту Кремля и главному инженеру.

А в дневник в это время заносилось: «Лично начал раскопку продолжения хода за кирпичным сводом. Обнаруживается любопытное: массив из белокаменных столбов наложен по дну хода и неизвестно в какую высоту... и на какое расстояние. Вот здесь именно, вытаскивая на себе песок, я и заметил странное явление: каменный потолок снова повышается... думаю, что тайник был разрушен до этого места, о чем свидетельствует Конон Осипов, а дальше он остался целым и только засыпан песком на какое-то, вероятно небольшое, расстояние. Очень интересно!

Пока рабочие обедали, за час навернул целую гору песку. Они даже удивились.

Получил сапоги, рукавицы и комбинезон. Сегодня работаю лопатой весь день. Все другое побоку».

— Скоро будем листать? — спросил однажды главный архитектор Кремля Николай Дмитриевич Виноградов встретившегося ему в Александровском саду археолога и шутливо пошевелил при этом пальцами, будто он и в самом деле перелистывает драгоценный том из библиотеки Ивана Грозного. Стеллецкий усмехнулся. Но подземный ход оказался закупоренным глубже, чем предполагал Стеллецкий, и он вскоре наткнулся еще на одно серьезное препятствие — воду.

Встреча с новым противником замедлила расчистку подземного хода. Надо было сначала откачать воду и спасти тоннель от затопления.

Об источнике было известно и раньше. В летописях упоминалось о том, что угловая кремлевская башня была перенесена итальянцем Солари на новое место — именно туда, где был обнаружен источник. В 1894 году князь Щербатов обследовал колодец, но Стеллецкий пошел дальше его. Выкачав из колодца всю воду и вычистив его, землекопы нашли в центре башни вырезанную на ее дне круглую цистерну, сооруженную итальянцем Солари для снабжения всего Кремля в случае осады свежей питьевой водой.

Подземный ход, очевидно, и был упомянутой в летописи «водной течью», проложенной «осадного ради сидения».

Дальнейшие раскопки, произведенные Стеллецким в подземелье угловой кремлевской башни, показали, что в начале XVII века при постройке арсенала место стыка акведука с ведущей к цистерне каменной лестницей было разрушено. Опасаясь затопления арсенала, ставший ненужным акведук тогда же забили каменной пробкой, заложили толстым слоем глины и речным песком, но вода все же пошла самотеком по каменному дну тайника, подмыла почву под фундаментами средней, Арсенальной башни и арсенала и вызвала их осадку. Может быть, она и была причиной трещин в его стенах, приписываемых взрыву, произведенному французами в 1812 году.

При расчистке дна Арсенальной башни были найдены монеты разных годов, вероятно оброненные работавшими в ее подземелье рабочими. По этим монетам Стеллецкий установил, что с затоплением этой башни боролись больше ста лет, засыпая ее землей и мусором. Но вода все же размыла стены башни почти на метр, а фундаменты соседней, «средней Арсенальной», и самого арсенала двести лет мокли в стоячей воде.

Работы по откачиванию воды и расчистке подземелья от грязи затянулись. Они не требовали присутствия археолога, и Стеллецкий подал коменданту Кремля новую докладную записку — об изменении фронта работ.

Была уже глубокая осень 1934 года, когда в Кремле собралась авторитетная комиссия, состоявшая из видных специалистов: академика архитектуры Щусева, главного архитектора Кремля Виноградова и других.

Председатель комиссии сообщил, что произведенные под Арсенальной башней археологические раскопки, начатые с целью поисков библиотеки Ивана Грозного, подходят к концу. Надо решать, что делать дальше. Подземелье башни расчищено, целиком откопан сруб колодца, в каменном полуподземелье обнаружена круглая цистерна. Не засыпать ли ее опять землей? И в каком направлении продолжать поиски библиотеки?

Один из участников заседания, инженер Клейн, опираясь на мнение Белокурова, заявил, что библиотека — это миф, но, если продолжить изучение подземной топографии Кремля, то, конечно, можно сделать интересные находки.

Задетый этими словами за живое, Стеллецкий поспешил объяснить, что вопрос о том, искать или не искать библиотеку, не подлежит обсуждению. Он был решен положительно еще в 1925 году на большой дискуссии в Историческом музее при участии московских и ленинградских ученых. Стеллецкого поддержал академик Щусев.

Не прибегая к цитатам из писаний Максима Грека, быть может ему неизвестных, строитель ленинского Мавзолея вспомнил Софью Палеолог. Факт привоза ею в Москву библистеки византийских императоров не вызывал у него сомнений. Однако хитрая гречанка упрятала эту библиотеку где-то очень глубоко, вероятнее всего — в недрах Кремля. Продолжать поиски следует, повторил он прежние свои слова, тем более что попутно можно найти много интересного.

Щусев предложил не засыпать подземелье башни, а реставрировать его и сохранить как архитектурный памятник XV века. Остальные участники заседания говорили главным образом об устройстве нового водоотвода из открытой цистерны. По окончании заседания все отправились осматривать башню, и предложение Щусева было принято.

В решении комиссии предлагалось дальше расчистить цистерну Арсенальной башни до «исторического дна», устроить новый водоотвод и реставрировать поврежденные водой стены башни, а также ведущую к цистерне кирпичную лестницу.

Самая важная для Стеллецкого часть решения, касавшаяся дальнейших поисков библиотеки Ивана Грозного, гласила: после того как будут закончены работы по реставрации подземелья башни и сооружен новый водоотвод, продолжать расчистку вновь открытого хода.

Стеллецкий был сильно разочарован. От башни было взято все, что она могла дать, раскрыты все ее тайны. Ему не терпелось идти дальше по плану, намеченному им в первой докладной записке, поданной главному инженеру Кремля.

Между тем темп работы заметно замедлялся. Арсенальная оказалась крепким орешком, вытянула из него много сил не только душевных, но и физических. Никто не заставлял его проводить в ней целый день с утра до позднего вечера, работать землекопом. Он делал это только потому, что этого от него требовало его «Великое Искомое». Стеллецкому уже было под шестьдесят, и он чувствовал себя уставшим. Предложение коменданта Кремля съездить в Сочи отдохнуть пришлось очень кстати. Работы пока можно было продолжать и без него, тем более что подходила зима и они снова велись в одну смену.

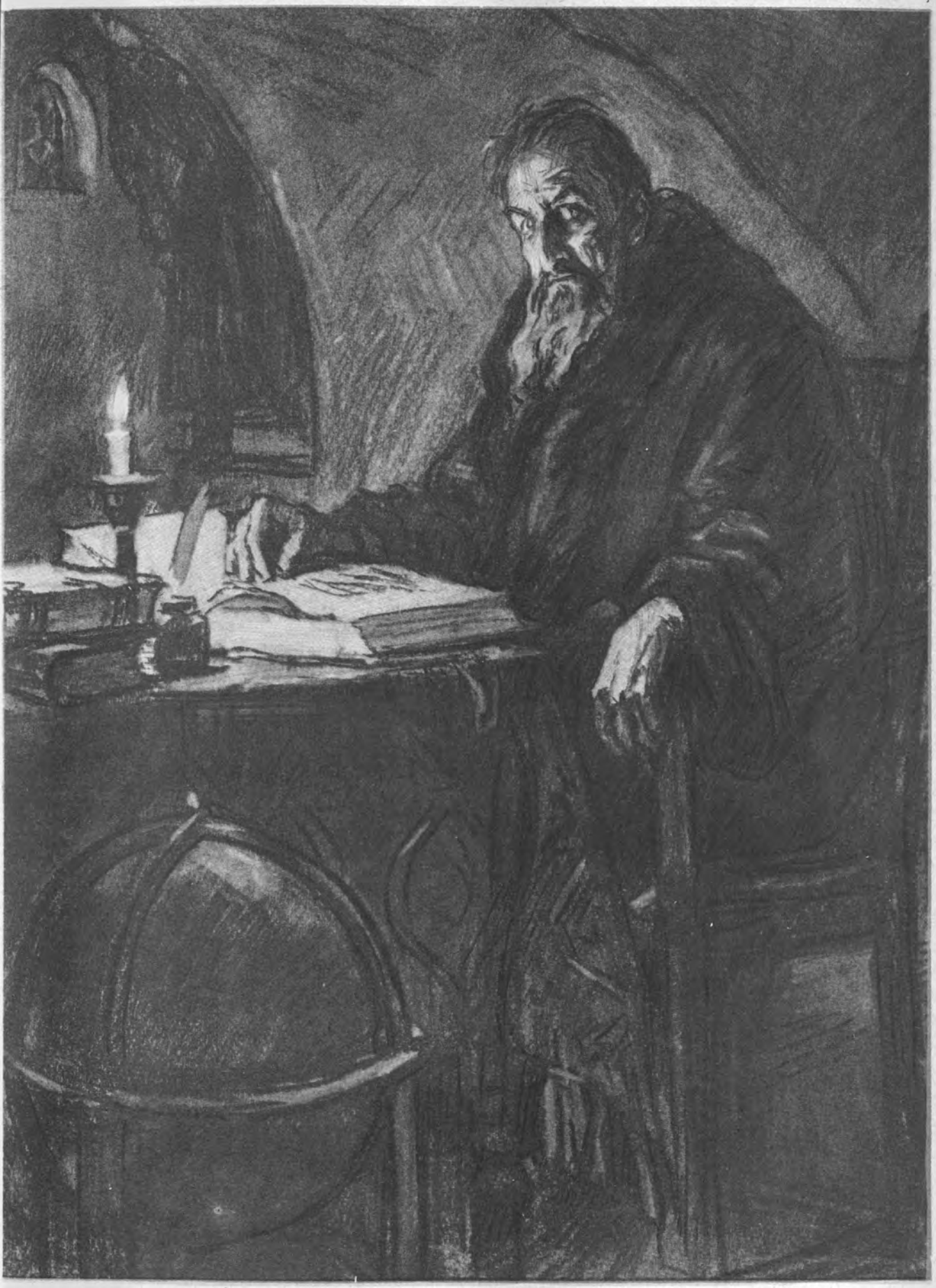
В 1930 году Стеллецкий обследовал в селе Коломенском обширный подвал известной Вознесенской шатровой церкви, построенной в XVI веке. Он представлял собой глубокую круглую яму, выложенную внутри известняком и кремневыми глыбами. В одном месте при простукивании его стен отчетливо слышался гул пустоты. Рабочий-татарин, опускаясь вниз, все время боялся провалиться в какую-нибудь подземную ловушку.

Направление гула, утверждал Стеллецкий, шло на север, туда, где когда-то, как показали пробные раскопки, стоял дворец отца Ивана Грозного — великого князя московского Василия. Из-за поломки бура исследование подземелья, однако, так и не было доведено до конца.

Стеллецкий считал весьма вероятным, что книги из библиотеки отца Ивана Грозного, которыми пользовался Максим Грек, могли быть спрятаны в каком-нибудь тайнике, сообщавшемся с этим подвалом.

Иван Грозный был единственным московским царем, долго жившим вне Кремля — в Александровской слободе, в Опричном дворце и в других своих загород-

Царь обдумывал, как очернить перед потомками уже казненных недругов.



ных дворцах. Не было бы ничего удивительного, если бы и библиотека его вдруг нашлась за пределами Кремля.

Вопрос о возобновлении изысканий в селе Коломенском не был разрешен. Очевидно, на это имелись веские основания. Уж не собираются ли продолжать розыск либереи в Кремле без меня? — терялся в догадках археолог.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны неутомимый Стеллецкий предложил президиуму Академии наук СССР «обсудить вопрос о результатах вековых поисков библиотеки Ивана Грозного, в частности в советское время». Это заявление было передано в отделение общественных наук академии, переславшее его в Институт истории. Оттуда оно поступило в Комиссию по истории Москвы.

Секретарь этой комиссии, профессор П. Н. Миллер, попросил Стеллецкого представить краткий проект или тезисы своего доклада.

.. Наступил 1941 год. Эстония была уже снова советской, и поехать в Пярну было теперь нетрудно. Стеллецкий, вероятно, так бы и сделал, если бы во второй раз этому не помешали чрезвычайные обстоятельства: гитлеровские захватчики перешли советскую границу — началась война.

О поисках либереи, конечно, теперь нечего было и думать. Хотя сигналы воздушной тревоги и звали археолога под землю — в бомбоубежища и газоубежища, сам Стеллецкий пользовался ими очень редко. Несмотря на свой преклонный возраст, он во время налетов вражеской авиации часто дежурил на крыше, проворно гасил «зажигалки», а однажды даже ухитрился предотвратить пожар в дожидавшемся конца воздушной тревоги трамвае.

Когда враг был отброшен и уничтожен, тысячи городов и сел лежали в развалинах и было столько неотложных нужд, что никто не позволил бы себе поднимать вопрос о возобновлении поисков библиотеки, исчезнувшей несколько веков назад. Стеллецкий и не стал этого добиваться. Он даже не съездил в освобожденную от гитлеровских оккупантов Эстонию. Трудно было рассчитывать, что местный архив в Пярну мог уцелеть и остаться на прежнем месте, а для поездки «на авось» и новых утомительных раскопок на загроможденных ветхими связками архивных полках у престарелого археолога уже не было сил. Здоровье его с каждым днем ухудшалось, и в 1949 году он скончался.

Производившиеся в течение трех столетий поиски библиотеки Ивана Грозного по разным причинам не были доведены до конца. Раскопки не дали прямых подтверждений существования этой библиотеки. Но многочисленные косвенные указания исторических источников, подтверждающие реальность ее существования в XV и XVI столетиях, позволяют считать дальнейшее исследование вопроса не утратившим научного значения.

«...Вопрос о библиотеке московских царей выходит далеко за пределы простого любопытства», — высказал совсем недавно свой взгляд на интересующую нас загадку один из наиболее авторитетных представителей исторической науки, академик М. Н. Тихомиров. В статье, посвященной библиотеке московских царей, опубликованной в январе 1960 года в журнале «Новый мир», он утверждает, что этот вопрос «имеет громадное значение для понимания культуры средневековой России».

Академик Тихомиров не разделяет скептических выводов С. А. Белокурова о том, что «никакой царской библиотеки в Москве не было да и быть не могло», и становится на сторону академика А. И. Соболевского, представившего веские доказательства в пользу существования библиотеки.

«Может быть, сокровища царской библиотеки лежат еще в подземельях Кремля и ждут только, чтобы смелая рука попробовала их отыскать», — такова точка зрения академика М. Н. Тихомирова. Ученый считает, что «поиски этих сокровищ в древней кремлевской земле будут стоить сравнительно недорого», а находка их «имела бы грандиозное значение».

Часть вторая

Загадочные приписки

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ РЕДАКТОР

НЕЛЕГКО установить автора анонимного произведения. Тем более, когда нет для сравнения хотя бы одной строки, написанной той же рукой. Тем более, если анонимный автор был человеком изощренного ума и маскировал свое творчество умело и предусмотрительно. Да, это непростая задача. А если к тому же анонимное произведение появилось четыреста лет назад и в течение всего этого долгого времени имя его автора было окружено тайной! В этом случае загадка кажется и вовсе неразрешимой...

Таинственный писатель XVI века, бесспорно современник Ивана Грозного, оставил нам рассказы о важнейших событиях той эпохи, сделанные страстным пером непосредственного участника.

В XVI веке, при Иване Грозном, была создана многотомная всемирная история — от «Сотворения мира» до царствования самого Грозного. Это был огромный

труд в девяти томах, написанный четкими рисованными буквами — полууставом и исполненный «в лицах», то есть украшенный цветными миниатюрами. Более шестнадцати тысяч таких рисунков иллюстрируют текст лицевого свода. Кропотливый, долголетний труд составителей, писцов и художников был затрачен на создание этой всемирной истории. Написание и оформление каждого тома требовали огромных денежных средств. Тома лицевого свода писались на великолепной бумаге, закупленной во Франции из личных королевских запасов. Составители этого труда стремились доказать, что род московских великих князей ведется от римских императоров и что царствование Ивана Грозного — вершина исторического развития человечества. События этого царствования были изложены в последнем томе, который охватывал период 1535—1567 годов, то есть со времени, когда Грозному было пять лет, и до разгара опричнины. Этот последний том лицевого свода известен в науке под именем «Синодального списка», так как он долгое время принадлежал библиотеке синода. И вот именно с этой последней частью лицевого свода, посвященной царствованию самого Грозного, произошли загадочные и, на первый взгляд, необъяснимые вещи.

Чья-то таинственная рука прямо на беловых, украшенных рисунками листах «Синодального списка», не считаясь с тем, что губит драгоценную рукопись и обрекает ее создателей на переделку всей работы заново, нанесла скорописью многочисленные приписки, поправки, сделала вымарки. Ряд замечаний указывал на необходимость серьезных изменений в рисунках.

До нас дошел и второй, уже переделанный экземпляр последнего тома лицевого свода. Его обнаружил среди рукописного хлама в патриаршей библиотеке известный историк XVIII века М. М. Щербатов. Наспех приведя в порядок разрозненные листы, он поднес эту рукопись Екатерине II «яко достойную любопытства» и получил разрешение ее издать. Теперь последний том лицевого свода назван «Царственной книгой». Под этим именем рукопись и вошла в науку. В «Царственной книге» учтены все до единой поправки редактора «Синодального списка», вписаны в текст новые большие исторические рассказы, которыми он пополнил летопись. Казалось, что неизвестный редактор мог быть вполне удовлетворен. Но тут и произошло самое загадочное и удивительное. На листы «Царственной книги» та же рука нанесла в десять раз больше всевозможных приписок, поправок и дополнений. Теперь редактор перечеркнул многое из того, что раньше написал сам, и заменил зачеркнутое новыми приписками. Некоторые из них противоречили его же поправкам на полях «Синодального списка». Сообщения летописи, не вызывавшие у него при первом редактировании никаких возражений, он превращает теперь в страстные политические памфлеты, суровые обвинения, изобличающие бояр-изменников. Он вносит также много новых исправлений, уточнений, фактических дополнений к прежнему тексту.

Кто же он, этот редактор, так безжалостно обращающийся с драгоценной рукописью? Почему он сразу же, при первом редактировании, не внес всех, по его мнению, необходимых поправок? Почему он во второй раз писал иногда прямо противоположное тому, что было написано им же раньше? И, наконец, когда, в какие годы делались все эти поправки? Каким из них нужно верить — вписанным ли при

его первом ознакомлении с летописью или при втором? Найти ответ на эти вопросы было очень важно, потому что именно из приписок редактора узнаются особо серьезные факты и многочисленные подробности царствования Ивана Грозного.

Все, кто читали об этой эпохе, смотрели пьесы и кинофильмы, посвященные Грозному, постоянно встречались с изображением боярских бесчинств и кровавых раздоров, с красочным описанием пожара Москвы и народного восстания 1547 года или рассказом о том, как на подмосковной дороге царь и его свита встретились с новгородскими стрелками-пищальниками, открывшими средь бела дня огонь по царскому конвою. В любом произведении, посвященном этому периоду, обязательно сообщается о событиях марта 1553 года, когда двадцатитрехлетний царь заболел «смертельной огненной болезнью», а бояре устроили настоящий мятеж у постели умирающего, открыто понося его и отказываясь признавать наследником «пеленочника» — недавно родившегося царевича... Но в момент наивысшего напряжения борьбы царь неожиданно выздоровел.

Эти и десятки других важнейших свидетельств, давно и прочно вошедших во все курсы истории, известны нам только из приписок таинственного редактора.

Используя в своих трудах сведения, содержавшиеся в приписках, историки более полутораста лет не занимались изучением их происхождения. Иначе говоря, произошло как раз то, чего хотел сам таинственный редактор. Внося свои приписки и поправки в «Синодальный список», редактор знал, что летопись будет начисто перебелена и его добавления, испортившие первый вариант, скроются под ровными строчками переписанного экземпляра, словно обломки кораблекрушения под волнами. Так оно и получилось: читая «Царственную книгу», совершенно невозможно было бы догадаться, какие вставки сделаны в тексте «Синодального списка». Внося новые поправки и в «Царственную книгу», автор их явно опять рассчитывал на то, что и ее тоже перепишут. Однако обе рукописи сохранились, и вся его черновая работа стала достоянием историков. Намерение анонима полностью скрыть следы своего вмешательства в изложение исторических событий тех лет не осуществилось. Но тут его выручили сами историки. Князь Щербатов, издавший «Царственную книгу» в 1779 году, «ничтоже сумняшеся» внес все приписки в основной текст, благодаря чему они оказались как бы накрытыми шапкой-невидимкой. Несмотря на то что позднее в научном издании полного собрания русских летописей приписки снова были выделены издателями из текста летописи и работа редактора стала различимой, никто до последнего времени специально не занимался изучением загадочных приписок.

Да, анонимный редактор должен был торжествовать, если бы он дожил до наших дней и мог прочитать сочинения позднейших историков, романы и повести о своем времени, посмотреть некоторые современные пьесы и кинофильмы о той эпохе: историки многих поколений дружно шли за ним, послушно повторяя не только его рассказы, но подчас и его оценки исторических фактов.

Так продолжалось до тех пор, пока совсем недавно загадочные приписки на полях лицевого свода не были впервые подвергнуты кропотливому и вдумчивому исследованию, прояснившему таинственную историю их появления на полях «Синодального списка» и «Царственной книги». Аноним был, наконец, раскрыт, и ему

пришлось держать ответ за каждый сочиненный им рассказ, даже за каждую недописанную строчку или слово, за каждую букву, за каждую точку, за каждую вымарку... Стали известны даже документы и книги, которыми пользовался неведомый редактор. Стали известны годы и даже некоторые дни, когда делались эти приписки. Стали благодаря этому понятны и побуждения, заставившие его дважды менять текст летописной истории царствования Ивана Грозного.

КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ

РУКОПИСЬ «Синодального списка» дошла до наших дней с большими изъянами. В ней не было начала и многих листов. Но пробелы эти восполнялись по другим текстам, главным образом по сохранившемуся второму варианту этого «Списка» — «Царственной книге».

Внимательно исследуя «Синодальный список», тот самый, на котором были сделаны первые приписки, и сравнивая его с так называемой Никоновской летописью, рассказывающей о том же периоде русской истории, историк Д. Альшиц пришел к выводу, что этот «Список» подвергался особенно тщательной обработке еще до представления придирчивому редактору. Во многих местах он отличался от других списков более точным и четким слогом. Бросалось в глаза, что только здесь (так же как и в повторявшей этот текст «Царственной книге») князь Владимир Старицкий, двоюродный брат Ивана Грозного, заподозренный им в намерении захватить власть и впоследствии умерщвленный, ни разу не назывался «государевым братом». Там же, где писец по привычке все же употребил это выражение, часто встречавшееся в других летописях, эти два слова были старательно вымараны. Создавалось впечатление, что «Синодальному списку» была предназначена какая-то особая, исключительная роль по сравнению с другими.

Обычно исследователи рассуждали так: «Синодальный список» оканчивался августом 1567 года. Значит, редактор мог просмотреть этот «Список» и внести в него свои исправления после этой даты. Такой, на первый взгляд, очевидный вывод и сделали все историки, изучавшие лицевой свод. После того как академик Н. П. Лихачев установил, что он создан не в XVII, как ранее предполагали, а в XVI веке, считалось, что приписки и на «Синодальном списке» и на «Царственной книге» были сделаны почти одновременно: в конце 60 — в начале 70-х годов XVI века. Но исследователь в этом усомнился. Если первые и вторые приписки делались почти одновременно, то чем же объяснить столь резкие и несовместимые противоречия

приписок этих двух вариантов? И еще одно важное соображение: испещренный поправками последний том лицевого свода был заново переписан. Одних только миниатюр пришлось перерисовать больше тысячи. Такая кропотливая и трудоемкая работа тоже не могла быть проделана в короткий срок. Между первым и вторым редактированием должно было, видимо, пройти длительное время. Однако как это совместить с таким, казалось бы, очевидным выводом, что первые приписки делались после 1567 года, то есть почти одновременно со вторыми, внесенными не позже 1569—1570 годов? Все это важно было выяснить.

Исследователь заметил, что сравнительно редкие приписки на полях «Синодального списка» распределены неравномерно. Последняя была сделана в том месте, где рассказывалось о событиях 1557 года. К изложению истории дальнейших десяти лет почему-то ничего не было добавлено.

Чем это объяснить? Не тем ли, что в эти годы не произошло ничего существенного? Такое предположение пришлось сразу отбросить. Как раз это десятилетие было насыщено важными событиями. Оно начиналось смертью любимой жены Ивана Грозного, царицы Анастасии, по-видимому, отравленной его недоброхотами. Впервые предстал перед царским судом двоюродный брат царя, князь Владимир Старицкий, заподозренный в измене. Умер царский наставник митрополит Макарий, составитель первой части летописного свода. Изменил Грозному, сбежал в Литву его любимец — князь Курбский. Разгневанный боярскими интригами и изменами, царь переехал из Кремля в Александровскую слободу и «учинил опричнину», основал «особый двор государев».

Может быть, приписки на «Синодальном списке» прекратились потому, что автор их в эти бурные годы сам подвергся опале или предусмотрительно удалился от дел? Наконец он мог заболеть и даже умереть. Нет, все эти предположения тоже не годились. Ведь было известно, что после исправления «Синодального списка» это же самое лицо вносило свои поправки и в «Царственную книгу».

Исследователь предложил решение, которое сразу ответило на все недоумения и подсказало важные выводы. «Синодальный список» был представлен редактору не весь. Сначала он получил только его первую часть — до 1560 года, на которой и были сделаны первые приписки. После этого в редактировании произошел длительный перерыв. Между тем пока текст переписывался набело и перерисовывались миниатюры, разыгрались бурные политические события, потребовавшие пересмотра написанного и новых вставок.

Это объяснение подтверждалось и внешним видом рукописи. Вся первая часть «Синодального списка», примерно до известия о смерти жены Ивана Грозного, пестрела яркими заголовками, выведенными киноварью. Их было более трехсот. В остальной же части, охватывавшей 1560—1567 годы, таких заголовков насчитывалось только четыре. Манера оформления, как видим, иная.

Из того факта, что части рукописи за 1535—1560 и за 1560—1567 годы были написаны по-разному, также вытекало, что они могли быть закончены в разное время. Вывод о разделении «Синодального списка» на две части подкреплялся еще одним наблюдением уже по его содержанию. Во второй, неотредактированной части за 1560—1567 годы под 1564 годом было записано сообщение о смерти казанского ар-

хиепископа Гурия. Рядом было оставлено свободное место для указания, сколько лет пробыл Гурий на своем посту. Оно так и осталось незаполненным. Между тем сведения об этом имелись в первой части. Отсюда напрашивался вывод, что, когда писалась вторая часть текста за 1560—1567 годы, этой первой части под рукой уже не было. Она, следовательно, была уже отослана редактору. Но где же писалась эта первая часть до отправки редактору, а затем и вторая часть летописи? Это тоже удалось установить.

Ученый исследовал дошедшую от времен Ивана Грозного опись царского архива. Он обнаружил в ней следующую запись:

«Ящик 224. А в нем списки, что писати в летописец лета новые. Прибраны от лета 7068 (1560) и до 76 (1568)».

Эта запись явно означала, что вторая часть «Синодального списка» за 1560—1567 годы была отдельно «прибрана» (хранилась) в архиве. Тем самым подтверждалась и догадка источниковеда: первая часть летописи, доведенная как раз до 1560 года, была послана на просмотр редактору раньше второй части и независимо от нее. Этот вывод давал возможность отказаться от заводившего в тупик предположения, что первые приписки делались после 1567 года, почти одновременно со вторыми. Теперь стало ясно то, что они могли быть сделаны и раньше, но после 1560 года. Следующий шаг — уточнение даты появления первых и вторых приписок.

Сравнивая отношение редактора к одним и тем же событиям, упоминавшимся в тексте «Синодального списка» и «Царственной книги», ученый заметил, что оно было далеко не одинаковым. Так, например, к рассказу о вражде между князьями Шуйским и Бельским, внесенному в летопись под 1539 годом, на полях «Синодального списка» было приписано, что в этой распре пострадал боярин Михаил Васильевич Тучков, которого Шуйские «сослаша с Москвы в его село». В «Царственной книге» этот рассказ был изложен уже иначе, и из жертвы боярской усобицы Тучков был превращен в ее зачинщика. Михаил Тучков являлся дедом князя Курбского. Эта, казалось бы, маленькая деталь проливала свет на многое.

Приписка в «Синодальном списке», где Тучков сочувственно изображался жертвой боярской усобицы, могла быть сделана только до измены Курбского и до опалы, поразившей всех его родственников. Вторая — после нее. Курбский бежал в Литву в 1564 году. Значит, «Синодальный список» редактировался до этого года, а «Царственная книга» — позднее.

Эту догадку можно было проверить. Вскоре после своего бегства Курбский написал Ивану Грозному оскорбительное письмо, на которое царь ответил длинной отповедью, известной под названием «Царево государево послание во все его Российское царство об измене клятвопреступников его — князя Андрея Курбского с товарищами». В этом письме он называл деда беглеца, Тучкова, изменником и сравнивал со змеей, говоря Курбскому: «...а понеже еси порождение исчадия ехиднова — по сему тако и яд отрыгаеши». Письмо это, в подлинности которого не сомневались историки, хотя оно сохранилось только в списках, было датировано 5 июля 1564 года. Первая приписка, в которой Тучков рассматривался как жертва боярской распри, могла быть сделана только до этой даты.

В этом же послании к Курбскому не менее резко отозвался Иван Грозный и о

недавнем близком своем советнике Алексее Адашеве. Его он обругал собакой, обвиняя Адашева в дружбе с изменником Курбским.

Между тем в одной из приписок к тому же «Синодальному списку» сообщалось, что Адашев введен в состав так называемой судной комиссии, назначенной для разбора дела заговорщика князя Семена Лобанова-Ростовского. Это также подтверждало, что «Синодальный список» редактировался до послания к Курбскому. Иначе приписка не упоминала бы об оказанном Адашеву доверии.

Наконец ученый обратил внимание и на то, что во втором варианте последнего тома летописного свода — в «Царственной книге» — приведены некоторые сведения, не встречавшиеся в «Синодальном списке», а позаимствованные из так называемой «Степенной книги» царского родословия*, составленной не раньше 1563 года. Сведения из нее могли быть взяты лишь позднее этой даты. И отсюда тоже вытекало, что приписки на «Синодальном списке» делались до 1564 года, а на «Царственной книге» — позже.

КТО ЖЕ ОН?

ОДЕРЖАВШИЕСЯ в важнейших приписках сведения давно находились в научном обороте и были в основном известны Д. Альшицу. Тем не менее, увидев эти приписки, так сказать, «в натуре», ученый сумел узнать много существенно нового.

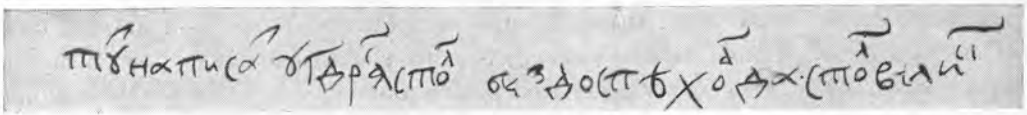
Написанные скорописью XVI века на полях летописи, они заполняли их почти целиком и, не укладываясь на одной странице, переходили на следующие листы; некоторые же были совсем короткими — исправляли только одну строку или имя, третьи — только букву или стоявшую над ней точку.

Во втором варианте, то есть в «Царственной книге», приписок и исправлений было раз в десять больше, чем в первом.

«Вот как невнимательно, должно быть, читал редактор этот текст в первый раз!» — казалось, говорили эти испещренные помарками страницы. Но исследователь сделал другой вывод: «Вот как много событий произошло с тех пор и как резко переменил свои взгляды неведомый редактор этих страниц после того, как в первый раз отдал их переписчику!»

Самые пространные приписки были вставлены в тех местах, где рассказывалось о наиболее важных событиях царствования Ивана Грозного. Все говорило о том, что приписки были сделаны влиятельным государственным деятелем, привыкшим к беспрекословному исполнению своих распоряжений. Этот вывод подкреплялся та-

Загадочные приписки на полях „Царственной книги" иногда обрамляли и основной текст и рисунок.



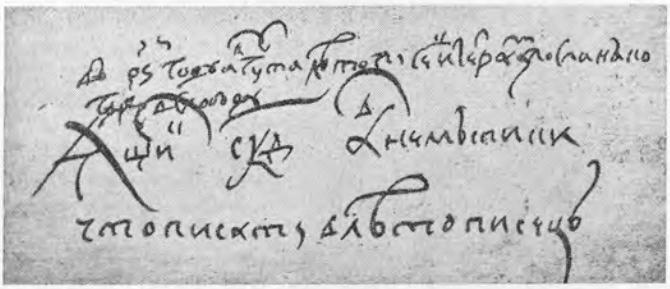
Одно из указаний редактора о переделке рисунка: „Тут написать у государя стол без доспехов, да стол велик".

кими соображениями: поправки он делал на страницах уже готовой роскошной рукописи, составлявшейся в одном экземпляре. Его мало беспокоило, что он ее этим портил. Пропадал труд составителей, писцов и художников, иллюстрировавших текст большим количеством искусно исполненных рисунков. Свои замечания, иногда очень подробные, редактор мог изложить и на отдельных листах. Но он не стеснялся покрывать ими поля великолепной рукописи. Его обширные вставки порой обрамля-

Оба эти рисунка, изображающие свадьбу Ивана Грозного (благословение новобрачных и осыпание жениха золотыми монетами), показались редактору перегруженными, и он потребовал их переделать: „тут написать надвое деяние", а другой — „росписат надвое деяние да брак".

ли и основной текст и рисунок. Иногда целый лист был безжалостно испорчен одной незначительной поправкой. После взыскательного редактора никто уже не прикасался к тексту. Ясно, что он обладал неограниченной властью исправлять и перекраивать официальную московскую летопись.

Художникам повелевалось переделать некоторые рисунки: «Здесь государь написан не к делу» — на этом листе как раз был нарисован сам Иван Грозный. В другом случае редактор указывал: «Тут написат у государя стол без доспехов (не накрытый), да стол велик» — или: «Царя писат тут надобет стара». По мнению редактора, художник его слишком омолодил.



Пометка в описи царского архива об отсылке Ивану Грозному готовых листов „что писати в летописец".

Не понравившееся редактору изображение свадьбы Ивана Грозного он потребовал «розписат на двое — венчание да брак», то есть дать на эту тему две новые миниатюры.

Там, где в первом варианте рисунок был забракован, во втором был нарисован другой, точно соответствовавший сделанным указаниям.

Приказывая на некоторых рисунках убрать царя, редактор в то же время всячески старался в тексте своих приписок представить Ивана Грозного находчивым, мудрым и великодушным. Это было особенно заметно в приписках к рассказу о взятии Казани.

Кто же мог быть автором подобных приписок?

Как известно, многие из приближенных Ивана Грозного в разное время подверглись опале. Кто из них удержался до того момента, когда были сделаны вторые приписки? Кто мог быть так подробно осведомлен о тревожных событиях, происходивших во время детства Ивана Грозного, а потом в его личных покоях в дни его тяжелой болезни? Кто отважился бы, наконец, при Иване Грозном самостоятельно решать, к делу или не к делу нарисован государь, да еще требовать: нет, отсюда надо его убрать, «царя писат тут надобет стара».

В поисках автора приписок и указаний исследователь составил перечень несомненных признаков, которыми обладало это лицо.

Он должен был находиться при дворе после 1564 года, поскольку установлено, что приписки, внесенные после этой даты, сделаны тем же почерком.

Он был лицом весьма полномочным, и в редактировании свода ему принадлежало последнее слово.

Его политические взгляды — суть политические взгляды Грозного.

Личности царя он исключительно предан.

Редактор этот — человек с большим политическим кругозором:

он в курсе всех важных событий, происходящих как непосредственно возле царя, при его участии, так и на самых отдаленных окраинах страны;

он — очевидец взятия Казани (об этом, бесспорно, свидетельствуют живые подробности, добавленные им к рассказу об осаде и взятии этого города);

он подробно знаком с хранившимся в царском архиве секретным делом об измене князя Лобанова-Ростовского, намеревавшегося бежать в Литву, и с историей боярского брожения в 1553 году, не говоря уже о ряде других, более мелких дел.

Всем этим признакам, по мнению Д. Альшица, отвечал только один человек: сам Иван Грозный. Это предположение, разумеется, нуждалось в тщательной проверке и аргументации. Приступая к наиболее ответственной части своего исследования, ученый знал, что после Ивана Грозного не осталось ни одной собственноручно написанной им буквы. Все сочинения царя, например его послания к Курбскому, дошли до нас в списках XVII века. Значит, сличение почерков исключалось. Но нужно было обратиться к сочинениям Грозного для установления сходства или разницы между ними и приписками по мыслям, слогу и манере изложения.

Сравнивая ряд приписок с содержанием послания Грозного к Курбскому, в котором царь высказывал все обиды, накопившиеся у него против бояр, Д. Альшиц установил до сих пор никем не замеченное совпадение. Все наиболее яркие мысли и факты, изложенные в приписках, встречались и в этом послании.

«Изложение часто совпадает дословно, а там, где нет дословного сходства, ясно видны одни и те же краски, одни и те же мысли, одни и те же образы, одни и те же выводы», — подытожил свои наблюдения ученый.

В самом деле, в первых же двух приписках на полях «Синодального списка», подчеркивавших жестокость, проявленную Шуйскими в борьбе со своими соперниками, упоминались те же примеры, которые Грозный, перечисляя преступления бояр, использовал впоследствии в известном послании Курбскому. В третьей приписке приводились крамольные слова заговорщика князя Семена Лобанова-Ростовского, выписанные из хранившегося в царском архиве секретного следственного дела. Эти же слова повторялись царем и в письме Курбскому.

Автор приписок и Иван Грозный словно сговорились. Оба они приводили одни и те же примеры боярских самоуправств и измен.

Совпадение имен и фактов бросалось в глаза и при сличении с посланием к Курбскому приписок, сделанных при вторичном редактировании на полях «Царственной книги». Так, в одной из приписок к тексту летописи рассказывалось об очередной дерзкой выходке Шуйских, едва не убивших царского любимца — боярина Федора Воронцова и оскорбивших митрополита Даниила. Один из Шуйских наступал убеленному сединами старцу на мантию, пока не разодрал ее. В тех же словах рассказывал об этом царь и в письме к Курбскому.

В приписке к «Царственной книге» говорится о происшедшем в 1547 году в одной из московских церквей самосуде над дядей царя боярином Юрием Глинским.

Автор приписки утверждал, что самосуд этот произошел по наущению изменников бояр. О том же говорит Грозный в послании к Курбскому.

Многое совпадало и в пространной приписке о начавшемся во время болезни Ивана Грозного брожении среди бояр и в негодующем рассказе царя об этом в послании. Некоторые выражения совпадали даже полностью. Например, и тут и там упоминалось о нарушении боярами их клятвы: «мимо» Ивана Грозного и его детей «иного государя себе не искати». И письмо и приписка делали из рассказа о боярской смуте одинаковый вывод. Если в приписке утверждалось, что «оттоле царству почала быть во всем скудость», то в письме слово «скудость» было заменено равнозначным «горчайшее утеснение». Веским доказательством единого происхождения обоих рассказов о боярской смуте 1553 года мог служить и еще один довод: рассказ этот не встречается нигде, кроме приписки к «Царственной книге» и письма Ивана Грозного.

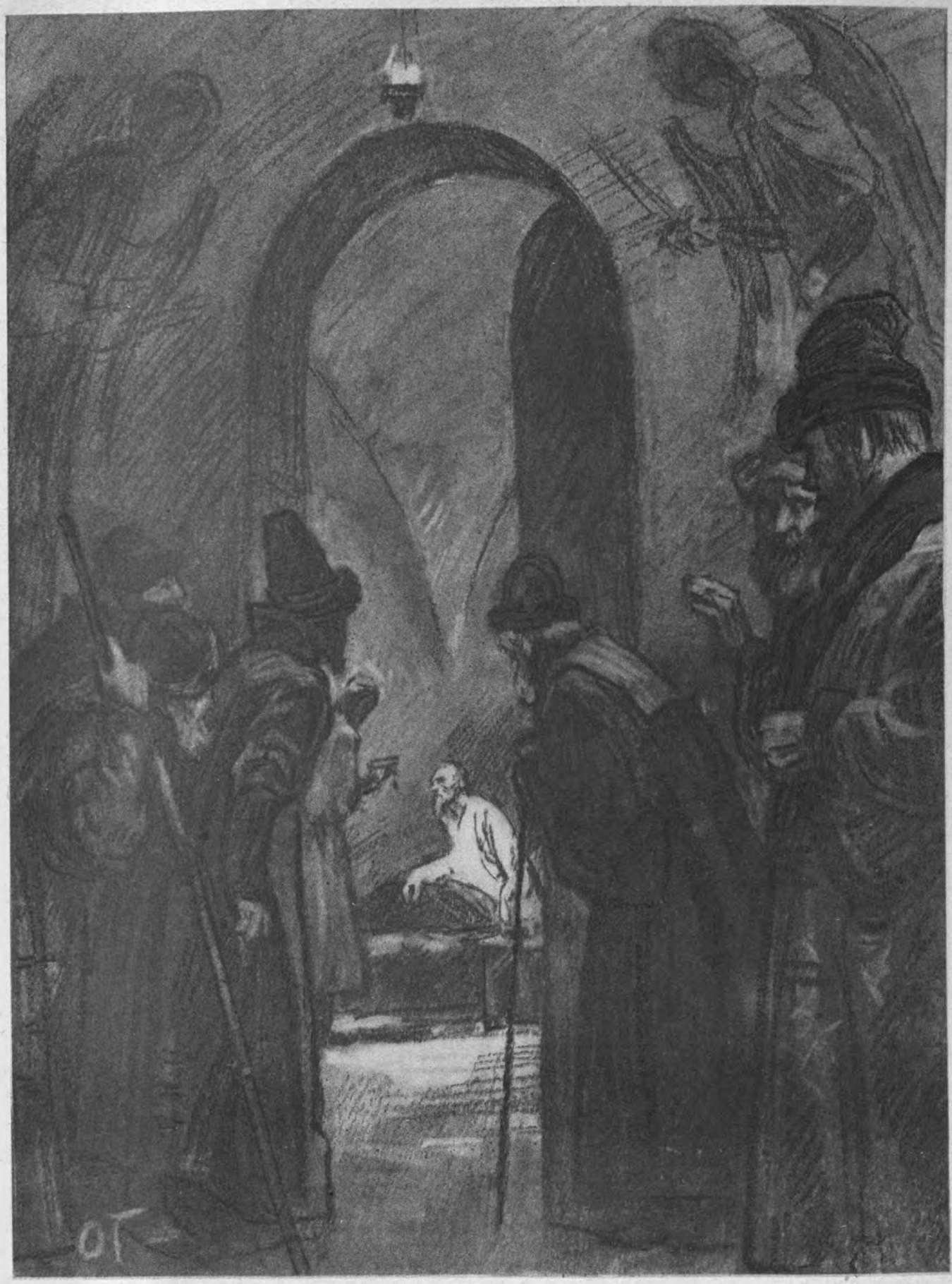
Из приведенных Иваном Грозным в послании к Курбскому примеров боярских бесчинств приписки к «Царственной книге» умолчали только о двух—как раз о тех, которые были высмеяны Курбским в его «Кратком отвещании на зело широкую эпистолию великого князя Московского».

Например, царь Иван Грозный вспоминал в своем послании, как в те годы, когда он был еще ребенком, временщик князь Иван Васильевич Шуйский издевался над ним и его братом Юрием: «Седит на лавке локтем опершися, — о отца нашего постелю ногу положив...» Этот же Шуйский, по словам Грозного, ходивший раньше в ветхой шубе, «исковавше себе сосуды златы и серебряни» за счет великокняжеской казны. В приписках эти факты не приводились, но исследователя это не удивило. Так и в ответном письме, начинавшемся словами: «Широковещательное и многошумное твое писание приях и вразумех и познах», — Курбский едко упрекал Грозного в многословии: «Тутo же о постелях и телогреях и иные бесчисленные яко неистовых баб басни». Царь, несомненно, знал содержание ответного письма Курбского, несмотря на то что официально оно было послано ему позже, и был уязвлен этим упреком. Именно поэтому высмеянные его противником примеры он не повторил в приписках.

Между посланием к Курбскому и приписками были, конечно, различия и в форме изложения, и в количестве приводимых имен и подробностей. Но эти различия указывали только на то, что письмо и приписки были написаны в разное время для разных целей. Теперь можно было с уверенностью сказать: авторы послания к Курбскому и приписок не могли быть разными лицами. Такое предположение было несовместимо с фактом, установленным ранее: первые приписки появились до послания к Курбскому, а вторые — после него.

Если бы приписки к «Синодальному списку» делал не царь, а другое лицо, тогда, значит, царь, подобно незадачливому школьнику, привыкшему списывать у соседа по парте, перенес из них примеры и даже отдельные выражения в послании Курбскому. Затем автор приписок в свою очередь, делая новые вставки на полях «Царственной книги», должен был списывать свои примеры и выражения у Ивана Грозного из другой части его послания. Недопустимость такого предположения

Чувствуя приближение смерти, Иван Грозный каялся в своих грехах.



очевидна, и, значит, автор приписок и автор послания к Курбскому — одно лицо, то есть Иван Грозный.

Сходство и различие приписок с посланием к Курбскому приводили к одинаковому выводу: автором их мог быть только царь.

Наконец в описи царского архива Д. Альшиц нашел веские подтверждения того, что приписки были сделаны именно Иваном Грозным.

Самая большая приписка в «Синодальном списке» касалась измены князя Лобанова-Ростовского. В ней приведено много новых и неизвестных из других источников подробностей, например обстоятельные объяснения причин побега, и перечислены имена бояр и дьяков, участвовавших в расследовании.

Судя по всему, сведения эти взяты из подлинного сыскного дела, хранившегося в царском архиве. Так определилось, зачем ящик № 174 с находившимся в нем сыскным делом князя Семена Лобанова-Ростовского был 20 июля 1563 года, то есть спустя почти десять лет после раскрытия заговора, «взят ко государю».

Дата как раз совпадает со временем редактирования «Синодального списка».

В описи царского архива имелись еще и другие записи, убедительно подтверждавшие сделанные Д. Альшицем выводы.

Выясняя в начале своего исследования сложный вопрос о времени появления приписок на томах летописного свода, он обратил внимание на важную запись, касавшуюся как раз «списков, что писати в летописец лета новые», то есть черновиков последнего тома летописного свода. В этой записи говорилось о том, что они прибраны в 224-м ящике «от лета 7068 (1560) до лета 7074 (1566) и до 76 (1568) года».

Эти сведения помогли доказать, что на просмотр редактору была послана сначала только часть летописи, доведенная до 1560 года, остальные же ее листы продолжали лежать в архиве.

Но рядом с этой записью имелась еще одна очень важная пометка дьяка: « В 76 (то есть 1568 году) летописец и тетради посланы ко государю в слободу». Эти слова уже прямо указывали на Ивана Грозного как на автора редакционных приписок к лицевой летописи. «Списки, что писати в летописец», посылались Ивану Грозному для просмотра и одобрения. При этом от внимания исследователя не ускользнула еще одна очень существенная подробность. Посланные на просмотр Ивану Грозному материалы были почему-то разделены: «От лета 7068 до 7074» (то есть от 1560 до 1566 года), а потом было добавлено: «и до 76» (то есть до 1568 года). Но такое же разделение заметил Альшиц и в касавшейся этой записи пометке дьяка на полях описи. В ней говорилось раздельно о «летописце» и, кроме того, о «тетрадях», посланных к государю в слободу. Ученый объяснил это тем, что «летописец» был доведен только до 1566 года, а в «тетрадях» содержались еще не облеченные в окончательную форму летописи сведения о событиях за 1566—1568 годы, доставленные царю, вероятно, по его требованию.

Другие пометки на описи царского архива свидетельствовали, что в августе 1566 года царь не только забирал к себе архивные документы целыми ящиками, но и сам часто бывал в архиве. За десять дней он пять раз посетил архив и выбрал из ящиков главным образом документы об опальных боярах — как раз о тех, имена которых упоминаются в приписках.

ЧЬЯ РУКА?

ТАК, вопрос, кто является автором загадочных приписок, можно было считать выясненным. Но нужно было ответить еще и на другой: сделаны ли приписки собственноручно Иваном Грозным? Или они были продиктованы им какому-нибудь писцу? Возможно, что царь набросал свои замечания на других листах и приказал перенести их на поля летописного свода?

Последние предположения были отвергнуты исследователем.

И вот почему. Наряду с пространными замечаниями на полях «Синодального списка» и «Царственной книги» в тексте обеих летописей встречались и мелкие поправки, сделанные тем же почерком, которые могли возникнуть только в процессе чтения текста. Слова и целые фразы были вставлены между строк внимательно читавшим текст редактором, замечавшим даже незначительные описки переписчика. Зачеркивая какое-нибудь слово, он заменял его другим, более точно выражающим мысль.

Тот, кто вносил в летопись поправки и добавления, писал, видимо, очень быстро и сам сделал немало описок. Такую небрежность не мог бы себе позволить никакой писец, если бы он перебелял рукопись с царского образца. Все это, вместе взятое, привело исследователя к выводу, что правка на листах летописи принадлежит лично Грозному.

Принимавшие участие в обсуждении исследования ученые единодушно подчеркнули большое значение этой работы для изучения ряда наименее ясных вопросов царствования Ивана Грозного.

Правда, один из оппонентов В. Гейман усомнился в том, что приписки сделаны собственной рукой Ивана Грозного. «Пока этот вывод не будет подтвержден находкой другого автографа Грозного, — заявил ученый, — я вправе это оспаривать».

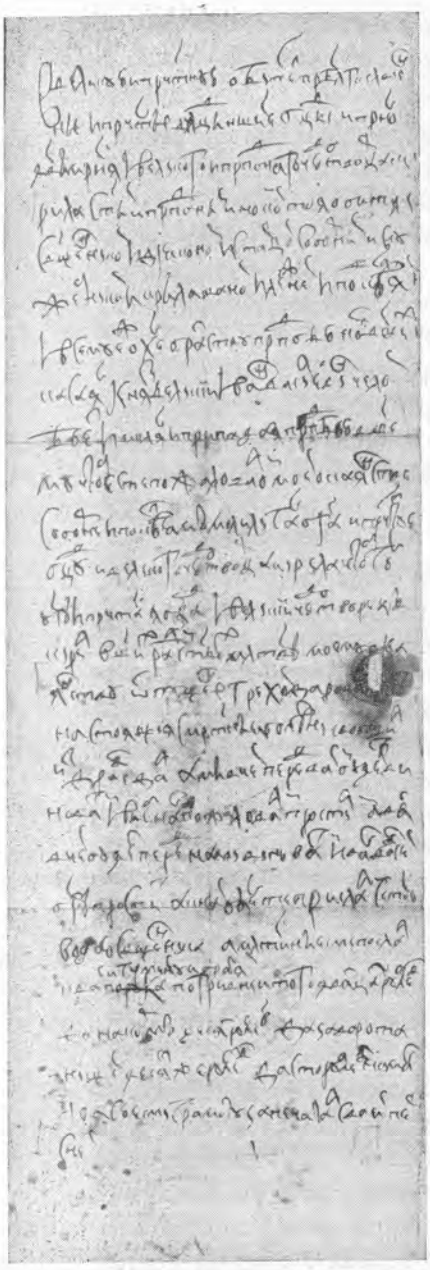
Спустя несколько лет Д. Альшицу удалось найти источник, окончательно подтвердивший правильность его заключений. Это случилось совсем неожиданно даже для него самого.

Будучи уже главным библиографом отдела рукописей Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина и составляя в 1949 году вместе со своим бывшим оппонентом В. Гейманом описание древнерусских грамот, Д. Альшиц обратил внимание на одну из них, почерк которой показался ему знакомым. Уж очень он был похож на почерк автора приписок.

Небольшая по размеру грамота оказалась последним предсмертным письмом Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь[1]. Письмо это было обращено ко всей монастырской братии, даже к «крылошанам», то есть к поющим на клиросе церковным певчим, и к «лежням по кельям», то есть к прикованным к постели немощным старцам.

---

[1] Содержание этого предсмертного письма Ивана Грозного с небольшими пропусками было известно только по одному списку XVII века, сохранившемуся в библиотеке древнего новгородского Софийского собора.



Подлинник предсмертной грамоты, посланной Иваном Грозным в Кирилло-Белозерский монастырь в марте 1584 года. На грамоте виден отпечаток царского перстня.

Одна из перстневых печатей царя Ивана Грозного.

«Ног ваших касаясь, князь великий Иван Васильевич челом бьет», — униженно писал монахам тяжелобольной Иван Грозный, чувствуя приближение смерти. Он просил их молиться об освобождении «от настоящей смертной болезни», о возвращении здоровья, об отпущении грехов «моему окаянству».

В конце письма перечислялось, сколько милостыни послал царь игумену и инокам «на корм» да «на масло», чтобы дольше горели лампады, и «за ворота» нищим. «А сю есьми грамоту запечатал своим перстнем»,—говорилось в последней строке.

Решающее доказательство было, наконец, найдено.

Внешний вид, печать и содержание письма — все это свидетельствовало, что грамота была написана Грозным собственноручно. Понятно, что ни один дьяк или писец не осмелился бы подать царю грамоту с помарками.

Видно было, что Иван Грозный писал свою последнюю грамоту наспех. Покаянный характер письма объясняет, почему он не стал диктовать его писцу и не дал переписывать набело. Специальной припиской о том, что он сам запечатал грамоту своим перстнем, царь заверял ее подлинность.

КАКОЙ ВЕРСИИ ВЕРИТЬ?

УСТАНОВИВ автора приписок на лицевом своде, ученый одновременно ответил и еще на один важный вопрос: почему некоторые из них так противоречили другим.

После того как было выяснено, что между первым и вторым редактированием последнего тома лицевого свода протекло значительное время, насыщенное важными событиями, этим противоречиям не приходилось удивляться. Различия в первых и вторых приписках объяснялись изменениями в политической обстановке, продиктовавшими новое отношение к целому ряду событий и лиц.

Но ведь приписки интересовали историков прежде всего как источники дополнительных сведений о том, как развивалось и укреплялось во второй половине XVI века русское государство. Поэтому и важно было, изучив встречавшиеся в них противоречия, выяснить, какие из приписок наиболее достоверно освещают события тех лет. Важно было также определить, какие из этих событий могли повлиять на автора приписок в момент работы над ними.

Первый исследователь «Царственной книги» Александр Евгеньевич Пресняков писал, что «как единственный источник для целого ряда живых и любопытных известий о времени Ивана Грозного... эти приписки и придают «Царственной книге» столь высокую ценность.

А между тем среди приписок к «Царственной книге» были такие, которые полностью опровергли все, что сообщал тот же автор во вставках, сделанных на первом варианте летописи, приводили совершенно исключающие эти сведения факты.

Самые большие приписки на «Синодальном списке» и «Царственной книге» давали разные объяснения таким важным событиям, как, например, серьезные волнения, возникшие в марте 1553 года в связи с болезнью царя.

Приписка, сделанная Грозным к «Синодальному списку» по поводу изменного дела князя Семена Лобанова-Ростовского, под 1554 годом подробно излагала материал следствия. В основном же тексте летописи было сказано только, что «царь и великий князь велел князя Семена поимать и выспросить его. И князь Семен сказал, что хотел бежать от своего убожества и малоумства».

Эта версия встречается и в сохранившейся в делах Посольского приказа секретной инструкции Ивана Грозного уезжавшему в Польшу русскому послу Федору Вокшерину: если там начнут его расспрашивать про беглеца, отвечать, что князь Семен «в разуме прост» и «на службу не пригодился», «со всякими иноземцы говорил непригожие речи про государя» и что у него никаких сообщников не было. Царь создал эту версию, опасаясь, что слухи об измене Лобанова-Ростовского могут вызвать за границей нежелательные толки.

Спустя много лет в обширной приписке на полях «Синодального списка» Иван Грозный впервые предавал огласке подробности этого тайного изменного дела, в котором, оказывается, участвовали и другие бояре.

Из приведенных в этой приписке поносных речей «взнеистовавшегося злобою» князя Семена видно, что он считал обиженным не одного себя и говорил не только

от своего имени: «Бояр всех государь не жалует и их безчестит, а приближает молодых людей, а нас ими теснит... и тем нас истеснил, что женился у боярина у своего дочь взял, рабу свою, и нам как служить своей сестре?..»

«Молодыми людьми», близость которых к царю вызвала недовольство бояр, были незнатные советники Алексей Адашев, Иван Висковатый, священник Успенского собора Сильвестр и другие. Осуждали заговорщики Ивана Грозного и за то, что он взял себе в жены дочь своего окольничьего из незнатного рода Анастасию Романову.

Под пыткой Семен Лобанов-Ростовский назвал имена участников тайного заговора, замысливших в случае смерти царя от «огненной болезни» возвести на престол его двоюродного брата, князя Владимира Андреевича Старицкого. Содержание этой пыточной речи ученым удалось восстановить лишь с большим трудом, так как текст приписки был сильно поврежден при переплетении рукописи. Неподдававшиеся прочтению слова, поставленные здесь в скобках, приходилось восстанавливать по предположению.

«...И князь Семен сказал, что у него м(ысль) почалася, потому как (государь недомогал) и мы все думали (о том что) только государя не станет: (как нам быти)?

А ко мне на подворье при (езживал ото) княгини от Офросиньи, от (князя Володи) мира Ондреевича (чтобы я по) ехал ко князю Володимеру служити (да и людей перезы) вал; да и со мно(й есьми думал) и бояре: толко (нам служити царевичу Дмитрию, ино) нами владети (Захарьиным), и чем нам влада (ти Захарьины) м, ино лутчи служи (ти князю Воло) димеру Ондреевичу. (А были в той) думе и княз Петр Щенятев и княз Иван Турунтай Про(нской, и Кураки) ны родом и княз Дмитрей Немой, и княз Петр Серебряной, княз Семен Микулинский, и ин (ые многия боя) ре и дети боярские и княжата и дворяне с нами в той думе бы (ли же... и как бог) государя помиловал и облегченье ему дал и мы меж себя почали говорит, что (бы то дело) укрыт, а на подворье к мне приезживал и Семен Морозов а яз страх (а ради ка) зни с того времени учал мыслити в Литву...»

В той же приписке приводился и состав судной комиссии, назначенной Грозным для разбора дела Лобанова-Ростовского. В нее вошли одиннадцать наиболее преданных царю приближенных—князья Мстиславский, Курлятев, Палецкий, бояре Шереметев Большой, Морозов, Данила и Василий Юрьевы, окольничий Адашев, постельничий Вешняков, казначей Фуников и дьяк Висковатый.

Из всего этого следовало, что боярский заговор, возникший во время болезни царя, был раскрыт через год после его выздоровления благодаря допросу Лобанова-Ростовского.

Совсем другое объяснение происходившим в марте 1553 года событиям дал Грозный в новой длиннейшей приписке, сделанной им на полях «Царственной книги» через несколько лет. Здесь говорилось уже об открытом мятеже большой группы царских приближенных. Вопрос о передаче власти князю Старицкому бояре обсуждали, оказывается, не «меж себя», а вслух, около постели больного Ивана Грозного: «И бысть меж бояр брань велия и шум велик и слова многие бранные». Часть бояр будто бы открыто заявляла, что в случае смерти Ивана Грозного они будут служить не «пеленочнику» — его четырехмесячному сыну Дмитрию, а двоюродному брату

царя, князю Старицкому. Дело зашло так далеко, что не надеявшийся на благоприятный исход болезни царь даже просил верных ему людей бежать с царицей и с Дмитрием «в чужую землю, где бог наставит».

Эта приписка утверждала теперь, что заговор был раскрыт не через год после выздоровления Ивана Грозного, когда был схвачен и допрошен готовившийся скрыться в Литву князь Лобанов-Ростовский, а сразу стал известен царю и ближним боярам. Из семи фамилий заговорщиков, упомянутых в первой приписке, во второй было названо только четыре в числе участников этого мятежа. К ним якобы присоединилось еще шесть весьма заметных лиц: влиятельный князь Иван Михайлович Шуйский, отец ближайшего советника царя Алексея Адашева Федор Адашев, царский духовник протопоп Сильвестр, казначей Фуников, князья Курлятев и Палецкий. Самое удивительное было то, что последние трое, как верные слуги царя, значились в первой приписке как раз в составе суда над заговорщиком князем Семеном Лобановым-Ростовским и его сообщниками.

Какой же из двух приписок можно было верить?

Д. Альшиц обратился к тексту послания к Курбскому, написанному Иваном Грозным. Но в данном случае оно не помогло прояснить вопрос. В этом письме Иван Грозный только вскользь упоминал о разыгравшихся в дни его болезни событиях, очевидно хорошо известных Курбскому. Царь лишь съязвил, что бояре «восшатавшася яко пьяни», а едва он поправился, «сий совет разсыпася». Это не противоречило ни одной из двух версий. Но это послание содержало в то же время еще одно новое утверждение. В нем вдохновителем мятежников выставлялся думный дворянин Алексей Федорович Адашев, тот самый, которого подразумевал изменник Лобанов-Ростовский, заявляя, что царь «приближает молодых людей, а нас ими теснит», и о котором приписка в «Царственной книге» сообщала, что в дни болезни Ивана Грозного он одним из первых добровольно присягал на верность царю и его сыну.

Исследователь загадочных приписок проделал еще одну кропотливую работу. По разрядным книгам, служившим для официальных справок, и другим беспристрастным источникам он проследил судьбы всех упомянутых в обеих приписках лиц. И тут обнаружились удивительные, казалось бы, просто невероятные факты.

Не отличавшийся, как известно, кротостью, царь против ожидания не наложил никакой опалы на мятежников. Выяснилось, что казначей Фуников и князья Курлятев и Палецкий после 1553 года занимали почетнейшие места на самых важных придворных церемониях. Окольничий Федор Адашев, сам мятежник и отец вдохновителя мятежников Алексея Адашева, — таким был выставлен Алексей в письме к Курбскому, — был пожалован в бояре. Заклейменный как изменник князь Петр Щенятев в 1554 году по указу Ивана Грозного «приводил всех к присяге в верности государю, царице и царевичу Ивану Ивановичу». А названного первым среди мятежников боярина Ивана Михайловича Шуйского царь в 1556 году, отлучившись из Москвы, оставил своим наместником. Д. Альшиц тщательно проверил, какие следственные дела значились в описи царского архива, той самой, в которой была сделана отметка об отсылке Ивану Грозному по его требованию изменного дела князя Лобанова-Ростовского, и установил, что в этой описи нигде не упоминалось о каком-либо изменном деле, участниками которого были бы лица, характеризованные в при-

писке как мятежники. Не было ни дела, ни подследственных, ни наказанных! Все это свидетельствовало о том, что не было никакого мятежа.

Ложные сведения содержала не первая приписка о тайном заговоре небольшой группы князей, а вторая, написанная после новых опал и измен.

В 1564 году «генваря в третий день прислал царь и великий князь из слободы список, а в нем написаны измены боярские и воеводские и всяких приказных людей» — так гласила летописная запись о начале опричнины. Рассказ о мятеже, вставленный царем в «Царственную книгу», выглядел как перенесение в летопись этих же самых обвинений.

Ко времени составления второй приписки думный дворянин Алексей Адашев, казначей Фуников, князья Палецкий, Курлятев, Щенятев и другие перечисленные в ней лица действительно подверглись опале или были уже казнены.

Прочтя язвительное послание Курбского, составившего перечень царских злодейств, Грозный не ограничился отправлением пространного послания, опровергающего его обвинения. Он на страницах летописи оправдывал себя в глазах будущих поколений и представил давними изменниками тех, кто к этому времени чем-либо вызвал его немилость.

Приписка о мятеже делалась в то время, когда по дворам даже преданных царю бояр и дьяков сновали опричники, творя на месте суд и расправу, и вздернутые на дыбу, «не истерпя пытки», нередко оговаривали невиновных.

Заканчивая эту приписку словами: «... и оттоле быть вражда велия государю с князем Володимиром Ондреевичем, а в боярах смута и мятеж, а государству почала быти во всем скудость», — Грозный хотел переложить ответственность за все возникшие в стране трудности на своих политических противников.

Но эти слова тоже были неправдой. «Скудость», ухудшение благосостояния страны, как можно проследить по сохранившимся документам, наступила значительно позже и объяснялась совсем другими причинами.

В тексте «Синодального списка» под 1545 годом упоминается о налете крымских татар.

«Того же месяца декабря 30 приходил крымский царевич Имин Гирей Калга... со многими людьми крымскими безвестно на украинские места Белевские и Одоевские и по грехом за небрежение попленише многих людей».

Это известие было прочитано Грозным при первом редактировании им летописи и не вызвало с его стороны возражений. Но просматривая его во второй раз, уже в тексте «Царственной книги», он зачеркнул последнюю фразу, в которой не были указаны виновники поражения, и приписал, что это были воеводы князья Петр Щенятев, Константин Курлятев и Михаил Воротынский. Они якобы «разопрешася о местех», то есть заспорили, кто кому должен подчиняться, и из-за этого не оказали вовремя помощи передовому полку, чем и воспользовались татары.

Проверив эти сведения по разрядным записям, историк убедился, что все обстояло совсем не так: эти воеводы никогда вместе не служили и не могли поэтому пререкаться из-за постов и быть виновниками поражения. Царь задним числом обвинил их потому, что к моменту просмотра им «Царственной книги» все трое были уже в немилости.

Казнь князя Кубенского и Федора и Василия Воронцовых (миниатюра из „Царственной книги").

Точно так же Иван Грозный оставил сначала без изменения рассказ о казни бояр: князя Ивана Кубенского и Федора и Василия Воронцовых по злостному навету дьяка Гнильева. При вторичном редактировании, прочтя это же известие в «Царственной книге», Грозный дополнил его обширной припиской, объясняющей, чем вызвана расправа над боярами, один из которых, Федор Воронцов, был когда-то его любимцем. Иван Грозный вписывает теперь на полях совсем новый рассказ о каких-то новгородских пищальниках, якобы пытавшихся подать ему челобитную, когда он из подмосковного своего имения на Коломне отправился однажды на прогулку «поездити, потешитися». Иван Грозный отказался их выслушать и приказал их прогнать. Тогда челобитчики, набравшись смелости, открыли стрельбу из

пищалей по сопровождавшим царя дворянам. Завязался бой, принесший потери обеим сторонам, а царю пришлось спасаться бегством. Подстрекателями отважившихся на такое лихое дело пищальников якобы и были вышеупомянутые бояре.

Что побудило Ивана Грозного заменить первоначальное сообщение большой припиской, повествующей о «сопротивьстве» новгородских пищальников? В переписке царя с Курбским было обнаружено в письме беглеца то место, где он осуждает царя за неоправданное избиение верных ему слуг и в числе «безвинно побиенных» называет как раз князя Кубенского и двух Воронцовых.

В ответном послании Грозный, отвергая многие выдвинутые Курбским обвинения, почему-то об этой казни умолчал. Но, редактируя «Царственную книгу», он вспомнил этот упрек Курбского и не преминул оправдаться перед потомством.

Прямая связь содержания приписок к «Царственной книге» с политическими страстями, обуревавшими Грозного во второй половине 60-х годов, становится ясной при сравнении приписки об обстоятельствах убийства дяди, царя князя Юрия Глинского, с прежним текстом летописи.

В «Синодальном списке» Грозный также оставил этот текст без поправок. При втором редактировании, после обмена письмами с Курбским, рядом с рисунком, изображающим смерть Глинского, появилась пространная вставка, подробно излагающая обстоятельства убийства. Грозный хотел теперь подчеркнуть, что его дядя был убит не на площади, как сообщал «Синодальный список» и другие летописи, а именно в церкви, но приспешниками бояр. Очевидно, приписка была сделана под впечатлением брошенного Курбским и особенно сильно задевшего Грозного обвинения в том, что это он проливает кровь даже в церквах.

Уже в первом своем ответе Курбскому Иван Грозный выдвинул эту версию: что его дядя был убит не на площади, а именно в церкви и что это было сделано по наущению бояр. Брошенное ему обвинение царь переадресовал, таким образом, единомышленникам Курбского. В приписке Грозный вторично возвращается к этой теме и даже называет имена подстрекателей, замышлявших якобы и цареубийство.

«Быша же в совете сем протопоп Благовещенской Федор Бармин, князь Федор Шуйский, князь Юрью Темкин, Иван Петров Федоров, Григорий Юрьевич Захарьин, Федор Нагой...»

Как и при изучении большой приписки о мятеже, будто бы разгоревшемся в дни тяжкого недуга Ивана Грозного, все зачинщики опять остались безнаказанными.

Не останавливавшийся перед казнью даже неповинных людей, царь почему-то не тронул ни одного из подстрекателей. Все они, так же как и участники выдуманного Иваном Грозным мятежа, продолжали после смерти Глинского жить и здравствовать на свободе. Кое-кто даже возвысился, например князь Юрий Темкин был назначен первым воеводой в Казань. Впоследствии, именно накануне написания приписок, некоторые из них не избежали опалы и были казнены. Так, например, «первый боярин на Москве» глубокий старик Иван Петрович Федоров был зверски казнен вместе с женой и всеми дворовыми людьми, «скончавшимися ручным усечением», спустя целых двадцать лет после самосуда над Глинским, то есть как раз накануне составления приписки.

Не потому ли Грозный воспользовался случаем приписать ему задним числом на страницах летописи и вину за убийство своего родственника? Остальные также были внесены в список подстрекателей уже после их смерти, когда никто из них не мог опровергнуть это обвинение.

Изучая подробности народных волнений, приведших в 1547 году к убийству Глинского, исследователь пришел к выводу, что восстание было неверно освещено в приписке.

В первоначальном тексте «Синодального списка», совпадающем с записями других московских летописцев, было сказано, что «черные люди... пришедше во град и на площади убиша каменьем... князя Юрья Васильевича Глинского». Совсем не те бояре, которых перечислил в своей приписке Иван Грозный, были виновниками разыгравшихся событий, а его собственные родичи, притеснявшие народ, — Глинские, настолько ненавистные «черному люду», что народная молва обвиняла их в поджоге Москвы. Мать Глинского и бабку царя, сварливую княгиню Анну, обвинили даже в том, что она сама по Москве «сорокою летала да зажигала». Потому восставшие москвичи и забили ее сына камнями на площади и, выбросив его труп на торжище, двинулись к царю в Воробьево, где они были разогнаны вооруженными дворянами.

Проверка приведенных в приписках сведений обнаружила крайне субъективное и произвольное изложение Иваном Грозным ряда исторических фактов, близко касавшихся царя. Это характерно главным образом для приписок к «Царственной книге», которые делались Грозным в разгар напряженной борьбы с реакционными боярами, мешавшими царю укреплять свою власть, силу и единство государства. Отступая от точной передачи событий, Грозный стремился в этих приписках подчеркнуть главное — свою правоту в этой борьбе. Объясняя, откуда пошла «вражда промеж государя и людей», царь настойчиво доказывал, что виновниками ее были зачинщики всех смут — бояре и что он карал их не как своих личных врагов, а как смутьянов и изменников.

Ошибка дореволюционных историков — М. М. Щербатова, Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и других, — некритически воспринимавших сведения приписок, была теперь ясна. Содержавшиеся в приписках противоречия эти историки пытались не объяснить, а затушевать. Каждый историк толковал по-своему то, что казалось ему непонятным. Даже исследователь «Царственной книги» А. Е. Пресняков, первый из источниковедов обративший внимание на исключительную важность заключавшихся в приписках сведений, поддался этому искушению. Поверив самой пространной из них — о якобы разыгравшемся во время болезни Ивана Грозного мятеже, — он неправильно расшифровал поврежденный при переплетении рукописи текст: «И царь и великий князь... ю злую измену пос... вана Федоровича Мст...»

Убежденный в том, что мятеж был и что царь не мог оставить мятежников безнаказанными, Пресняков прочел это место так: «И царь и великий князь (видя его таку) ю злую измену пос (адил за сторожи князя И) вана Федоровича Мстиславского...» и еще десять бояр, имена которых упоминались в приписке вслед за Мстиславским. На самом же деле после слов «злую измену» надо было читать не «пос (адил за

сторожи)», а «пос (лал бояр своих)». Одиннадцать бояр, превращенных Пресняковым в преступников, как видно из дальнейшего текста, были посланы царем допрашивать заговорщика князя Лобанова-Ростовского, «а доведетца пыткою пытати».

Советский историк не сглаживал противоречия в тексте источников. Он видел в этих противоречиях отражение происходивших в те времена политических событий.

И ВСЕ ЖЕ — ЦЕННЕЙШИЙ ИСТОЧНИК!

ТЩАТЕЛЬНАЯ проверка достоверности приписок показала, что хотя Иван Грозный нередко и сгущал краски, однако он далеко не всегда сообщал неверные сведения. Царь произвольно излагал факты в тех случаях, когда они могли вызвать сомнение в правильности его поступков. В остальных случаях он следил за тем, чтобы события были освещены в летописи с возможной точностью и полнотой.

В «Синодальном списке» исследователь обнаружил под 1550 годом одну небольшую приписку. В ней шла речь о постоянных боях со степняками-кочевниками. Приписка представляла большой интерес для историка потому, что благодаря ей он установил, что Иван Грозный, читая текст летописи, сверял его по другому источнику.

Здесь, как и во многих приписках, царь уточнял имена воевод и бояр, о которых упоминалось в тексте. Он не мог это делать по памяти, так как в некоторых случаях эти сведения относились к походам, происходившим в то время, когда ему было всего двенадцать лет.

Известие о посылке рати в Казань на «луговых людей»[1] оказалось и в разрядной книге под 1550 годом. Оно почти совпадало с текстом сделанной царем приписки. Благодаря этому стало очевидным, что Грозный пользовался для справок официальной разрядной книгой, из нее он и черпал сведения о военных походах, вставляя в летопись не только имена участвовавших в них воевод, но и названия населенных пунктов, возле которых стояли полки.

Редактируя летописный свод, Иван Грозный обложил себя многими книгами. Тут были и посольские «сказки», и родословные, и Никоновская летопись, и вытребованные царем из архива подлинные документы. Благодаря этому некоторые вставки, сделанные Иваном Грозным, обогащены точными историческими деталями. Больше чем кому-либо другому ему были известны истинные причины многих важных событий. Что же касается тех рассказов, которые тенденциозно излагали факты, то и

[1] «Луговыми людьми» называли кочевников.

их можно рассматривать как особо ценные свидетельства политической борьбы. Эти свидетельства отражали связи и отношения тех лет, когда они были написаны: они так и дышат страстью политических битв времен опричнины. Сама их тенденциозность и частичная недостоверность превратились теперь из источника заблуждения в источник плодотворного изучения событий, вызвавших к жизни эту тенденциозность.

Почему же «Царственная книга», после того как ее редактор проделал такой большой труд по исправлению и дополнению текста, не была переписана начисто? — вправе спросить читатель.

Объясняется это новыми изменениями политической обстановки в конце 60-х—начале 70-х годов. Мог ли, например, Иван Грозный после расправы над Висковатым, изрубленным опричниками, но до последней минуты вопившим о своей невиновности и проклинавшим царя, допустить, чтобы все написанное раньше об этом верном «государевом дьяке» вошло в текст «Царственной книги»? Казни начала 70-х годов заново изменили взаимоотношения Грозного со многими его приближенными. И, наконец, надо полагать, «Царственная книга» не была переписана начисто потому, что не только ее текст, уже однажды измененный Грозным, но даже и новые его приписки слишком быстро устарели.

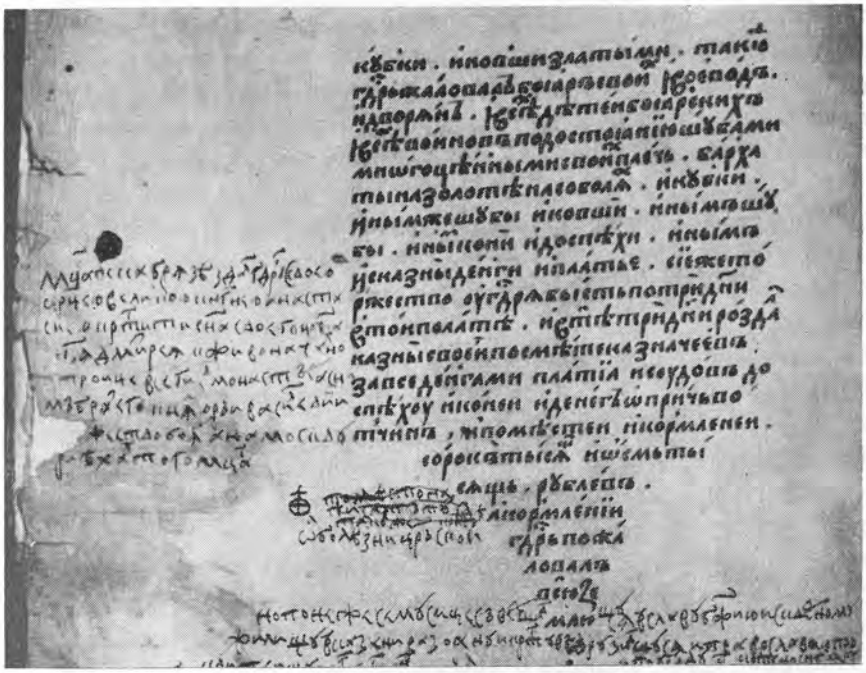
Знакомясь с исследованием приписок к летописному своду, читатель испытывает такое ощущение, словно он сам стоит за спиной Ивана Грозного и неотступно наблюдает за царем в момент просмотра им летописи.

...Царь, закончив свой красочный рассказ о мятеже во время его болезни в 1553 году и перевернув еще несколько листов «Царственной книги», заметил переписанный из «Синодального списка» прежний летописный рассказ о своей болезни, где все излагалось в совершенно безмятежных тонах.

Наличие его в летописи оказалось для царя неожиданностью. Делая свою приписку о мятеже, он совершенно забыл о том, что читал этот рассказ несколько лет назад, когда правил «Синодальный список», и что не нашел тогда нужным его изменить.

Увидев, что по изложению летописного текста рассказ о мятеже должен стоять именно здесь, а не на той странице, где он поместил свою приписку, Грозный вычеркивает свои же слова: «То место написат тут, где таков же крест». Он решает отнести приписку назад, к летописному рассказу о болезни, и пишет на полях возле этого рассказа: «Тут написати то, што там писано». Но естественно, что просто поставить рядом два совершенно разноречивых рассказа царь не мог, и поэтому он принялся переделывать прежний летописный рассказ, приводя его в соответствие со своей припиской. Он вычеркивает начало летописного рассказа и взамен пишет свое...

Внеся эти поправки и превратив этим самым летописный рассказ о своей болезни в предисловие к приписке о мятеже, царь снова написал рядом: «Тут написати о государевой болезни и то все, што там писано». Прочитав, видимо, еще раз и летописный рассказ и приписку вместе, царь не удовлетворился этим сочетанием даже после произведенных им исправлений, настолько по-разному звучали эти два описания одного и того же факта. Во всяком случае обе свои приписки: «Тут написати то, што там писано», — царь вычеркивает...



В том месте, где редактор пометил: „Написать тут, где таков же крест", — он нарисовал не обычный крестик, а поставленный на кружок. Такой значок похож на царскую державу.

В том месте, где Иван Грозный пометил: «Написат тут, где таков же крест», — он нарисовал не обычный крестик, а поставленный на кружок.

Быть может, он сделал это не случайно. Кружок с водруженным на нем крестиком походит на царскую державу.

Тщательное изучение содержания приписок, отдельных вставок, помарок, зачеркиваний помогло воссоздать до мельчайших подробностей весь процесс работы Грозного по подготовке истории своего царствования.

* * *

Советская историческая наука создала замечательную школу историков и литературоведов — исследователей древних текстов, сумевших раскрыть тайны многих рукописей и восстановить драгоценные памятники древней письменности.

Продолжая кропотливый труд глубокого знатока древних летописей академика А. А. Шахматова, советский историк профессор М. Д. Приселков век за веком восстановил историю русского летописания. Возвращая жизнь, казалось бы, мертвым строкам, он прочитывал выскобленные много веков назад самим летописцем слова. Благодаря его настойчивым усилиям возродился из пепла один из важнейших памятников русской письменности — Троицкая летопись, сгоревшая во время пожара Москвы в 1812 году. Через сто с лишним лет М. Д. Приселкову удалось

восполнить, казалось бы, невозвратимую потерю — почти полностью восстановить утраченный текст. Ученый пользовался многочисленными выписками, которые успел сделать из летописи до пожара Москвы историк Карамзин, и выдержками, обнаруженными в текстах других летописей, в том числе так называемой Симеоновской, найденной совсем недавно, уже в начале XX века, академиком Шахматовым. Профессор С. Н. Валк, крупный знаток древних исторических источников, например первого русского свода законов XI века «Русской Правды», сделал ценные наблюдения и при изучении исторических документов нашего времени.

Целая плеяда талантливых ученых, вдумчивых исследователей исторических источников трудится в отделе древнерусской литературы Пушкинского дома Академии наук: члены-корреспонденты Академии наук Д. С. Лихачев и В. Н. Адрианова-Перетц, профессор И. П. Еремин, неутомимый собиратель древних рукописей в отдаленных районах Севера старший научный сотрудник В. И. Малышев и другие. Авторы ценных теоретических работ и публикаций, они в то же время объединяют усилия большой группы источниковедов, изучающих древнерусскую историю и литературу.

Чрезвычайно интересны исследования московских историков-источниковедов: создателя труда «Источниковедение истории СССР» академика М. Н. Тихомирова, профессоров А. А. Новосельского и Л. В. Черепнина, И. У. Будовница, А. А. Зимина, А. Н. Насонова, В. Т. Пашуто и других.

Проникнув в творческую лабораторию этих ученых, можно было бы рассказать много увлекательного об их открытиях и находках и написать не одну главу о романтике источниковедения.

Часть третья

По страницам „Черной книги"

«ЧЕРНАЯ» — В СМЫСЛЕ «ЧЕРНОВАЯ»

ОКРЫТЫЙ дорогими тканями гроб с окоченевшим телом царя Алексея Михайловича 30 января 1676 года вынесли из государевых хором и водрузили на погребальные сани. В этот же день в сенях, а потом и в трапезной кремлевских хором один из преданнейших наперсников умершего царя, дьяк Приказа тайных дел Данило Полянский, вместе с патриархом и ближними боярами привел к присяге новому царю «всяких чинов начальных людей», а уже через неделю молодой царь Федор Алексеевич по настоянию бояр отставил Полянского от должности и распорядился об упразднении Тайного приказа. Так внезапно исчезло зловещее учреждение, ведавшее по мысли его основателя «из всех дел самыми тайными». Двум ближним боярам, князьям Никите Одоевскому и Михайле Долгорукому, и двум бывшим дьякам упраздненного приказа Дементию Башмакову и Федору

Михайлову было поручено разобрать, переписать и отослать его дела по разным канцеляриям, «в которые какие пристойно». После смерти Алексея Михайловича они, по-видимому, утратили всякую секретность, да и, кроме того, некоторые из них вовсе не были делами Тайного приказа.

Они были затребованы туда только потому, что умерший царь заинтересовался ими. Лишь небольшой дубовый ящик с хранившейся в четырех киндячных[1] мешках личной перепиской Алексея Михайловича был «взнесен вверх» занимавшим теперь должность печатника бывшим дьяком Тайного приказа Дементием Башмаковым, и через некоторое время он же принес «наверх» мешок с тайными азбуками.

За двадцать с лишним лет существования Приказа тайных дел накопился большой архив, поэтому разбор и рассылка документов по другим приказам подвигались медленно. Ведь каждая грамота, указ, отписка внимательно прочитывались, так как в опись заносилось не только их название, но и краткое содержание.

При жизни царя Федора Алексеевича, процарствовавшего всего шесть лет, эта работа так и не была закончена. Сменившая его правительница Софья от имени своих младших братьев Ивана и Петра повторила указ Федора, но «тридцать шти места» с наиболее важными документами после рассылки бумаг по другим учреждениям все же были оставлены, и Дементий Башмаков забрал их к себе, в Печатный приказ.

Только когда Петр I стал царем, он снова вспомнил об остатках отцовского архива и велел своему «тайному советнику и ближней канцелярии генералу», в детские годы обучавшему его грамоте, Никите Моисеевичу Зотову, немедленно переписать все бумаги Тайного приказа и держать их в этой канцелярии.

Один ящик, три сундука, два дубовых, окованных железом сундучка, шестнадцать коробей[2] и коробочек и четырнадцать холщовых, простых и разноцветных мешков и мешочков... Если бы не было известно их содержание, можно было бы подумать, что это домашний скарб какой-нибудь захудалой боярыни. Но тщательно составленная по приказу Петра I под наблюдением его учителя Никиты Зотова опись не оставляет никаких сомнений, что в этих сундучках, коробьях и мешочках действительно хранились остатки архива одного из самых загадочных учреждений XVII столетия — вездесущего Приказа тайных дел.

Основная масса документов этого таинственного учреждения потонула в канцеляриях других приказов, а впоследствии и те документы, что были переписаны при Петре I, очутились в так называемом архиве старых дел.

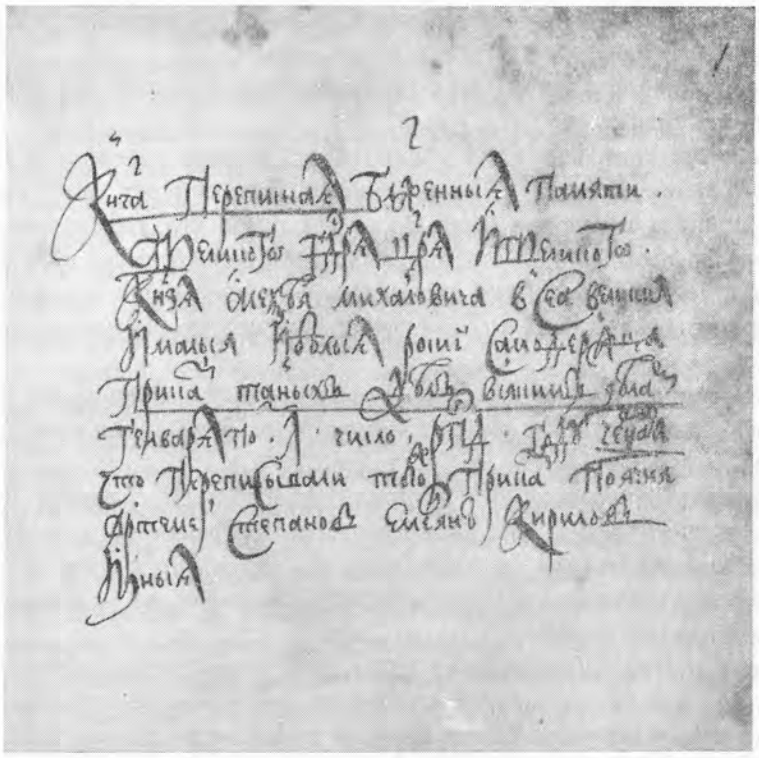
После преобразования Петром I старых, существовавших при его отце приказов в коллегии архивы некоторых из них были привезены в Петербург и размещены в подвалах знаменитого «дома двенадцати коллегий» на Васильевском острове. Эти подвалы не раз затоплялись во время случавшихся в Петербурге наводнений. Документы намокали, буквы расплывались и превращались в «тайнопись», которую уже никто не мог прочесть.

Когда в 1835 году специально назначенная сенатом комиссия заглянула, нако-

---

[1] Киндяк — восточная бумажная материя, обычно одноцветная.

[2] Коробья — гнутый короб с напускной крышкой, круглый или с четырьмя тупыми углами.



Первый лист „Черной книги", на котором написано: „Книга переписная блаженной памяти благоверного государя царя и великого князя Алексея Михайловича великия и малыя и белыя России самодержца Приказа тайных дел всяким делам, черная..."

нец, в эти подвалы, чиновники ужаснулись. Они подсчитали, что им «предлежит» просмотреть более двух миллионов дел, из которых многие «по случаю наводнения и от долговременности» пришли в такую ветхость, что «едва ли можно узнать их содержание».

Но кропотливая, муравьиная работа по разбору этих дел все же была проделана неутомимыми архивными следопытами. Найти среди них все дела расформированного в 1676 году Тайного приказа, конечно, не удалось. Многие погибли безвозвратно, истлели и при первом же прикосновении к ним рассыпались в прах. Но некоторые все же уцелели и хранятся теперь в Москве, в Центральном государственном архиве древних актов.

Как и дела всякого другого приказа, они состояли из «входящих» и «исходящих». Самыми интересными были последние, так как именно они давали наиболее полное представление о деятельности этого приказа. Их сохранилось меньше, чем входящих, и часто это были черновики. Но как раз это и было ценно. Составленные подьячими и дьяками черновики обычно показывались царю Алексею Михайловичу. Он вносил в них поправки и замечания, после чего указ или грамота переписы-

вались начисто и отсылались по назначению. Только по черновикам и можно было определить, какие замечания и вставки делал царь.

Но самой важной находкой была отлично сохранившаяся рукопись так называемой «Черной книги».

Она была в кожаном переплете и называлась «Книга переписная Приказу тайных дел всяким делам, черная», то есть черновая. Именно в эту книгу бывшие подьячие Тайного приказа в течение нескольких лет после его упразднения вписывали все числящиеся за ним дела. Пусть многие из этих дел потом не нашлись, истлели, след от них остался в этой сводной описи. Она не только напоминала о давно исчезнувших и никому не известных тайных делах, но вкратце рассказывала и их содержание.

Велико значение этих записей для характеристики деятельности Тайного приказа и его бессменного руководителя. Ведь сам царь возглавлял этот приказ со дня его основания.

Некоторые дореволюционные историки изображали Алексея Михайловича «тишайшим», кротким государем. Они пренебрегали фактами, подмеченными даже иностранными наблюдателями, в частности, что «царь, по натуре самолюбивый и варварски жестокий», увлекался чтением «повествований из истории Ивана Грозного и его тирании».

Перелистывая страницы «Черной книги», получаешь ясное представление именно об этой, недостаточно освещенной в прошлом деятельности «тишайшего» царя.

Этот приказ возглавлялся самим царем и помещался для его удооства рядом с его покоями; вся грязная и черная работа была переложена на другие приказы. Подозреваемых в тяжких преступлениях, в так называемых «государевых делах и словах», пытали в Стрелецком приказе, которым управлял исполнительный дьяк Ларион Иванов, ведавший вместе с Дементием Башмаковым и «тайными делами». За пределами же Москвы все экзекуции и пытки проводились под надзором местных воевод. Но вдохновлял, направлял и проверял их действия, разумеется, вездесущий и всеведущий Тайный приказ.

«Всякими сысками накрепко сыскать!» Если такое предписание поступало оттуда, воеводы, дьяки и заплечных дел мастера отлично соображали, что скрывалось за этими четырьмя словами. «Всякими» это означало, что можно сыскивать и при помощи пыток. Отсюда они обычно делали вывод, что именно к этому способу дознания надо прибегать в первую очередь.

Подследственных после первого же допроса тащили в застенок, ставили около дыбы и, если язык у них не развязывался, делали «стряску», били кнутом или жгли огнем.

Подробное описание застенков и способов пыток, применявшихся в царствование «кроткого» царя Алексея Михайловича, составлено его современником, подьячим Посольского приказа Котошихиным.

Прельстившись иностранным золотом, Котошихин бежал за границу и принялся разоблачать царские секреты. О Приказе тайных дел он сообщил, что в нем «сидит дьяк да подьячих с десят человек и ведают они и делают дела всякие царские, тайные и явные, а в тот приказ бояре и думные люди не ходят и дел не ведают, кроме самого

царя. А посылаются того приказу подьячие с послами в государства и на посольские съезды, и в войну, с воеводами... И те подьячие над послы и над воеводы подсматривают и царю, приехав, сказывают. А устроен тот приказ при нынешнем царе для того, чтобы его царская мысль и дела исполнялись все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали».

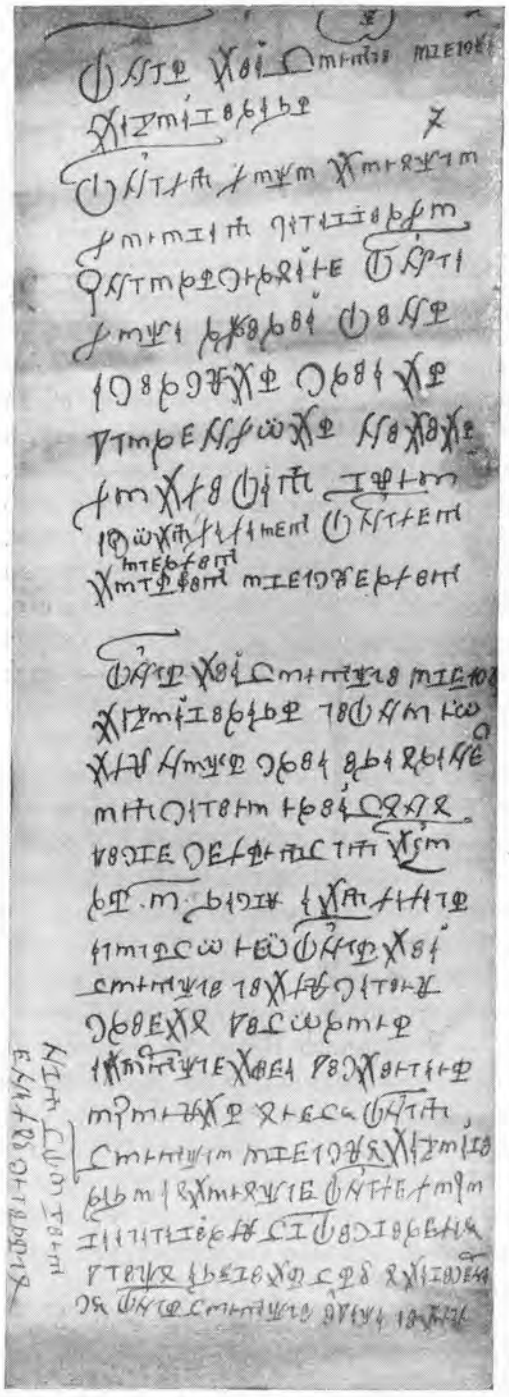
Испытав на себе самое легкое из тогдашних наказаний —«битье батогами» и вступив вскоре после этого на путь предательства, Котошихин имел все основания интересоваться и более тяжелыми экзекуциями.

«...А устроены для всяких воров пытки, — рассказывал Котошихин, — сымут с вора рубашку и руки его назад завяжут подле кисти веревкою — обшита та веревка войлоком — и подымут его кверху, — учинено место, что и виселица, — и ноги его свяжут ремнем; и один человек, палач, вступит ему в ноги на ремень своей ногою, и тем его отягивает и у того вора руки станут прямо против головы его, а из суставов выйдут вон; и потом сзади палач начнет бити по спине кнутом изредка, в час боевой ударов бывает тридцать или сорок, и как ударит по которому месту по спине и на спине станет так, слово в слово, будто большой ремень вырезан ножом, мало не до костей. А учинен тот кнут ременной, плетеной, толстой, на конце ввязан ремень толстой, шириною на палец, а длиною будет с пять локтей. И пытав его, начнут пытати иных, по тому ж. И, будет, с первых пыток не винятся и их, спустя неделю времени, пытают вдругорядь и в третие и жгут огнем, свяжут руки и ноги и вложат меж рук и ног бревно и подымут на огонь, а иным, разжегши железные клещи накрасно, ломают ребра...»

Подлинные документы и описи дел Тайного приказа, найденные через полтораста лет после того, как были написаны эти строки, в общем подтвердили его характеристику, дополнили и расширили представление о Приказе тайных дел также и новыми существенными подробностями, о которых обыкновенный подьячий, каким был Котошихин, при всей его наблюдательности и осведомленности не мог знать, к тому же он служил в другом приказе — Посольском.

Став царем в шестнадцать лет, Алексей Михайлович, как известно, вскоре подпал под влияние своего воспитателя — властного и честолюбивого боярина Бориса Морозова и отца своей первой жены — корыстного Ильи Милославского. О них шла худая молва в народе. Вызванное злоупотреблениями этих бояр и рядом других причин, восстание послужило первым предостережением молодому царю. Но он не решился совсем отстранить ненавистных народу бояр, а только временно удалил их. В то же время он приблизил к себе «худородных любимцев» из числа молодых подьячих Приказа Большого дворца, служивших в его личной канцелярии, и тайно от бояр начал давать им ответственные поручения. Именно эта канцелярия и была постепенно преобразована в Приказ тайных дел.

Это произошло во время польского похода, когда царь, отлучившись из Москвы, почувствовал себя уже достаточно самостоятельным. Через вновь созданный приказ он тайно сносился с оставшимися в Москве преданными ему людьми, вроде боярина Матвеева, думного дворянина Ордина-Нащокина и других. Еще в январе 1655 года он послал своему ближайшему советнику боярину Матвееву тайнописную азбуку с просьбой «держать ее скрытно для тайных дел».



Нерасшифрованное тайнописное письмо, написанное рукой царя Алексея Михайловича, найденное в архиве Приказа тайных дел. (Хранится в ЦГАДА.)

Многие распоряжения, исходившие из Приказа тайных дел, не дошли до нашего времени, потому что Алексей Михайлович или его ближайший помощник — «тайный дьяк» предпочитали отдавать их устно и не так уж часто пользовались тайной азбукой. Если же тайный указ облекался в письменную форму, то его имел право читать только тот, кому он адресован. Прочтя грамоту, полученную из Тайного приказа, адресат тут же должен был вернуть ее посланцу или сжечь. А если адресат не оказывался на месте, посланец обязан был принести ее обратно нераспечатанной.

Выполнив секретное поручение, подьячие Приказа тайных дел должны были немедленно доносить об этом царю. Но если это донесение делалось в письменной форме, они не смели излагать в нем сущность данного им поручения, а должны были писать так: «Что по твоему, великого государя, указу велено мне, холопу твоему, учинить и то, государь, учинено ж».

Расходы, произведенные Приказом тайных дел, часто оформлялись так, что нельзя было узнать, на что именно истрачены деньги. «Выдать такую-то сумму такому-то подьячему», — приказывал царь, а на расписке делалась пометка: «В расходный стол по указу тех денег писать не велено».

В Приказ тайных дел отбирались только наиболее проверенные и способные, грамотные и сообразительные подьячие из других приказов. Некоторые из них проходили даже специальную школу обучения «по латинам и грамматике», созданную при Спасском монастыре. В ней учился, например, подьячий Семен Медведев, постригшийся впоследствии в монахи под именем Сильвестра и прославившийся своими сочинениями.

Когда нужно было доставить особо важное, секретное письмо иностранному правителю, своему послу или воеводе, царь посылал его не с обычным гонцом, а с одним из подьячих Приказа тайных дел. Ему давались еще при этом и другие задания: разузнать стороной о чем-нибудь, интересующем лично царя, собрать сведения о настроении населения, поговорить «наодине» с тамошними воеводами по вопросам, перечисленным в особом, составленном лично царем тайном наказе. Часто подьячим рекомендовалось даже скрывать, в каком приказе они служат, и выдавать себя за каких-нибудь других лиц. Так, например, когда царь с нетерпением ждал прибытия восточных патриархов Паисия и Макария для участия в суде над вышедшим из повиновения патриархом Никоном, подьячим Тайного приказа Еремею Полянскому и Иову Ветошкину был дан наказ: «А едучи дорогою, проведывать всякими людьми тайно про Паисия, папу и патриарха Александрийского и про Макария Антиохийского, где они ныне и которыми месты едут. А дорогою едучи, сказываться им дворцовыми подьячими, что посланы они из дворца для садового заводу», то есть по делам царского садоводства.

Подьячие Приказа тайных дел оплачивались выше служащих других приказов. Они кормились во дворце и получали значительные суммы на дорожные и всякие иные расходы. На пошив парадной одежды им выдавалось даже вдвое больше, чем, например, подьячим Приказа Большого дворца. К большим праздникам они щедро награждались денежными подарками и съестными припасами. Наиболее усердным посылались на дом целые мясные туши. По словам Котошихина, был у них и еще один источник дохода: некоторые послы и воеводы, «ведая в делах неисправление свое и страшась царского гнева, одаряли подьячих Тайного приказа, чтобы они, будучи при царе, их... выславляли, а худым не поносили».

Служба в этом особом приказе и усердие при выполнении личных поручений царя способствовали успешному продвижению по служебной лестнице. Подьячие Тайного приказа назначались дьяками в другие приказы, а дьяки становились думными дьяками[1], но и тогда продолжали вершить те же дела.

Главному доверенному лицу царя, дьяку Тайного приказа, полагался высокий по тому времени оклад — триста рублей, не считая денежных подарков, вина и провизии из царских погребов. Кроме того, ему давались еще и земельные угодья. Во многих грамотах тайный дьяк именовался дьяком «в государеве имени», так как он имел право подписывать грамоты и указы, исходившие «из его, великого государя, царских палат, за его государскими тремя красными печатями».

Поручая часто расследование дел дьяку или одному из подьячих Тайного приказа, царь в тех случаях, когда это касалось родовитых бояр и воевод, наряжал сыск сам или назначал сыщиками наиболее напористых думных бояр, а то и целую комиссию из них под руководством пользовавшегося его особым доверием ближнего боярина. Для расследования дел, возникавших за пределами Москвы, от имени Тайного приказа ездили иногда стольники и стрелецкие головы.

Менее ответственные поручения выполняли также полуголовы стрелецких пол-

---

[1] Думный дьяк — это звание присваивалось дьякам за особые заслуги. Оно давало право на участие в заседаниях боярской думы.

ков и даже царские сокольники и кречетники[1], отчитывавшиеся потом перед дьяком Тайного приказа.

Сыщик должен был выезжать на расследование, «не замотчав ни часу». Иногда сам царь добавлял: «без московской волокиты».

За все время существования приказа должность тайного дьяка занимали всего четыре человека: Томила Перфильев, Дементий Башмаков, Федор Михайлов и Иван, он же Данило, Полянский. Несмотря на незнатное происхождение, они приглашались за царский стол наравне с самыми родовитыми боярами, к немалой досаде последних. Дьяк Тайного приказа должен был всегда находиться вблизи царя на тот случай, если он понадобится для какого-нибудь секретного поручения. Он обязан был принимать меры тайной охраны, сопровождать царя во время походов и выездов на охоту и богомолье, одним из первых встречал иностранных послов при посещении ими Кремлевского дворца, одним из последних провожал их.

Среди бумаг, оставшихся от Приказа тайных дел, много места занимают челобитные и изветы на бояр и других влиятельных лиц.

При сравнении переписной книги этого приказа с другими архивными документами, например с разрядной книгой, в которую заносились сведения об официальных приемах в царском дворце, бросается в глаза любопытное совпадение: и тут и там часто упоминаются одни и те же имена; например, в списках лиц, приглашаемых ко двору по всяким торжественным доводам, князья Волконские, Голицыны, Мышецкие занимают обычно самые первые места. Те же фамилии встречаются в «черной» переписной книге Приказа тайных дел в многочисленных челобитных и безымянных изветах, в которых тех же князей сплошь и рядом называют не иначе, как грабителями и разбойниками, замешанными во всякого рода «убивственных» и даже «татиных» (воровских) делах.

Вот, например, сыскное дело 1669 года, заведенное по отписке сыщика стольника Михаила Еропкина, посланного проверять извет пошехонца Афона Дементьева «про князь Микифора да про сына ево про князь Ивана Белосельских».

Сыщик установил, что оба князя, отец и сын, имевшие крупное поместье в глухом Пошехонском уезде, держали там в сельце Якушеве в течение четырех лет солдата Ивана Перелета «скована на дву чепях, в железах, руки скованы же назад и давали есть по двенадцать сухарей в сутки да ведро в месяц воды и пытали и огнем жгли четыржи (четырежды) и иных людей своих и крестьян мучили и до смерти поморили. И за то их мучительство, — сообщается в записи, — велено их посадить в тюрьму и учинить им то же, что они чинили над солдатом, а давать им в сутки по сорок сухарей».

За чудовищное издевательство над безвинным человеком — четырехлетнее содержание его в цепях в подполье и пытку огнем и голодом — два князя-изверга получили по заслугам: они были тоже посажены на цепь. Случай крайне редкий в те времена. Впрочем, князья, очевидно, были наказаны лишь за то, что самовольно превысили срок и меру мучительства.

В той же переписной книге упоминается и такой случай: отписка из Зарайска

[1] Сокольник, кречетник — лицо, приставленное к ловчим птицам (соколам и кречетам) для ухода за ними, обучения и охоты.

от Василия Малыгина о жильце[1] Семене Денисьеве, что он «пришед в съезжую избу[2], отца своего, крестьянина, насилством с цепи снял». Сын, очевидно, не вынес зрелища сидящего на цепи отца и самовольно освободил его, за что, по всей вероятности, и сам был посажен на цепь.

Некоторые записи в «Черной книге» рисуют жуткую картину помещичьего самоуправства.

8 февраля 1658 года помещик Рахманинов привез в съезжую избу труп своего дворового человека Иуды Васильева, ушедшего накануне на свадьбу в деревню Семчину. Помещик поехал его искать, но по пути наткнулся на труп своего слуги. Заподозрив, что Васильева убили два известных ему жителя этой деревни, Рахманинов решил по тогдашнему обычаю привязать убийц к мертвому телу. Но они успели скрыться. Тогда Рахманинов велел своим людям схватить случайно встреченных им на том же дворе «детину и женщину», привязать их к ноге убитого и доставить в съезжую избу вместе с трупом. Приказ помещика был выполнен, и местный воевода, приняв «приводных людей», начал их допрашивать и пытать.

Немало места в описи дел, разбиравшихся в Тайном приказе, занимают и преступления, совершенные его же собственными сыщиками.

На сыщика Евстигнея Неверова жаловалась, например, жившая в Кремле-городе вдова Дарья Болотникова, обвиняя его не более и не менее как... «в татиных и в разбойных делах». Безнаказанными чувствовали себя и находившиеся в ведении Тайного приказа царские сокольники и кречетники, посылавшиеся иногда для выполнения секретных поручений, но часто злоупотреблявшие оказанным им доверием.

Приказу пришлось проводить обыски по извету Михаила и Агапа Родичевских на кречетника Даниила Григорова «в его приезде, что он приезжал на их, Михайлову и Агапову землю и во всяком его надругательстве...» В ряде дел упоминается царский сокольник Яков Мисюров, посланный вместе с другим сокольником Дмитрием Гавердовским в Великий Новгород. Он брал взятки и просто грабил орешковских «зарубежных выходцев, корелян и всяких чиновных людей». Изнанка этого дела раскрывается следующей записью про царского стольника и воеводу, князя, «что нынче боярин», Ивана Андреевича Голицына. Оказывается, князь «по таких же выходцев посылал тех же сокольников и сводил их с женами и с детьми и со всеми их животы[3] в подмосковные свои вотчины во крестьянство насилством».

На другого не менее родовитого царского стольника, на князя Степана Волконского, жалуется в своей челобитной каширенин Григорий Родичев, обвиняя его «во многих ево обидах в земляном владении и в грабежу». Расследовать эту челобитную был послан голова московских стрельцов Матвей Шишкин. И тут же упоминается новое дело, возбужденное по отписке этого Шишкина. Он жалуется в Тайный приказ на коломенских ямщиков, что они не дали подвод по подорожной и «сыскному делу учинили мотчанье». Причина такого их поведения выясняется из следующей записи:

---

[1] Жильцы несли охрану царского двора и занимали в нем низшие административные должности. Они входили также в «государев полк» — царскую гвардию, сопровождавшую царя во время походов.

[2] Съезжая изба — канцелярия воеводы или местное административное учреждение.

[3] Животы — домашнее имущество.

«Тут же тех ямщиков на Матвея Шишкина челобитная, что он их бил напрасно во 165 году».

А новгородский посадский человек[1] Федот Щукин жалуется «в бою и в грабежу» на князя Афанасия Мыщецкого и на его людей.

Но именно потому, что некоторые грабители и разбойники принадлежали к знатным и родовитым семьям, нередко связанным дальним родством с самим царем, жалобы на них даже в Тайный приказ не всегда достигали цели и порой обращались против самих челобитчиков, оправдывая поговорку: «Изветчику — первый кнут».

Наглядным подтверждением этому может служить сыскное дело по извету дворового человека Григория Змеевского на могущественного воеводу, боярина князя Прозоровского, что «боярин де князь Иван Семенович Прозоровский за побег сына его, Гришкина, и за иных дворовых людей хотел пытать». Изветчик надеялся через Приказ тайных дел найти управу на жестокого воеводу, но достиг обратного результата. «...И тому человеку учинено наказанье, — гласит приписка, — бит кнутом и отдан во двор по-прежнему».

«ПО СЫСКУ И ДОХТУРСКОМУ РАССМОТРЕНИЮ»

ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ из личной царской канцелярии, приказ этот прежде всего занимался делами, интересовавшими лично царя. Это были, с одной стороны, дела первостепенной важности, связанные с чрезвычайными событиями — войнами, восстаниями, эпидемиями и другими стихийными бедствиями, часто угрожавшими стране и вызывавшими у царя опасения за благополучный исход его царствования; с другой стороны, предметом постоянной заботы приказа являлось все, что касалось личной безопасности и материальных интересов царя[2], а также безопасности и благополучия близких ему людей.

Что бы ни случилось во дворце — самое пустяковое происшествие, любая находка или самая обыкновенная мелкая пропажа, — мнительный и суеверный царь Алексей Михайлович неизменно подозревал попытку «испортить» его или «околдовать».

---

[1] Посадские люди — часть городского населения, торговая и ремесленная, участвующая в несении посадских повинностей и платеже налогов.

[2] Приказ тайных дел управлял и царским хозяйством, многочисленными имениями, промыслами и предприятиями. Эта сторона его деятельности подробно освещена в работе историка А. И. Заозерского «Царская вотчина».

Однажды была взята под стражу и «расспрошена накрепко» комнатная бабка Марфа Тимофеевна, помогавшая поварихам на царицыной половине и провинившаяся в том, что она самовольно взяла... щепотку соли.

...В нынешнем де во 179(1671) году, августа 11 дня, объясняла бабка, пришла она к мыленке государыни царицы, а перед мыленкою де ходила дохтурица, принесшая на серебряном блюде грибы для царицы... Большая любительница печеных грибов, бабка украдкой взяла со стола щепотку соли, чтобы посолить гриб, который она собиралась тоже тайком испечь в той самой печи, где пекли кушанья для царицы. Долтурица заметила это и спросила, что у нее в горсти. Бабка не созналась, что взяла щепотку соли, и поспешила в мыленку высыпать ее на пол.

«И как я вошла в мыленку и увидела верховую боярыню Анну Леонтьевну Нарышкину, я так испужалась, — призналась бабка, — что тое соль подле ушата высыпала на землю». В этой попытке взять щепотку соли, чтобы посолить гриб, и заключалось все ее «преступление».

Тем не менее старуха была «подымана на дыбу», и «висела», и была «расспрашивана накрепко»: не имела ли она какого дурного умысла? Бабка отвечала, что «она де, Марфа, про государыню царицу делает всегда кислые шти, а хитрости никакие за ней нет и не было, работает им, государям, лет с тринадцать». Но и после этих слов она была «к огню приложена и всячески стращена, а говорила то ж, что и на расспросе сказала». Дальнейшая судьба ее не ясна. Сохранившаяся запись обрывается на том, что бабка была отведена на житный двор и там посажена в приказной избе «за караул». Во дворец она во всяком случае не вернулась.

Присягая царю, каждый придворный так называемой «подкрестной целовальной записью» обязывался «лиха никакого никак не хотети, не мыслити, не думати, не делати, никаким делом, никоторою хитростью», «государское здоровье во всем оберегати».

Но и это признавалось недостаточным. Кроме общей крестоцеловальной записи, были составлены особые «приписи» для всех близко соприкасавшихся с царем людей, обязывавшихся оберегать его от отравления и порчи.

В первую очередь такое обязательство подписывали стряпчие, стольники и кравчие, подававшие блюда и напитки на царский стол. «Ничем государя в явстве и в питье не испортити, и зеленья и коренья лихого ни в чем государю не дати и с стороны никому не велети».

Прежде чем какое-нибудь блюдо подавалось царю, его пробовали несколько человек: ключник запихивал себе в рот кусок, передавая блюдо дворецкому, дворецкий тоже снимал пробу, прежде чем передать стольнику, обслуживающему царский стол, кравчий, принимая это блюдо от стольника, обязан был еще раз отведать его на глазах у самого царя и лишь после этого ставил перед ним. Чашник[1], поднося царю какое-нибудь питье, отливал частицу себе в ковш и, сделав несколько глотков, только тогда передавал кубок царю.

Боярин Артамон Матвеев, попав в опалу при сыне Алексея Михайловича Федоре, вспоминал с укором в одной из своих челобитных, сколько горьких лекарств,

[1] Чашник — придворный, заведовавший подачей вина и других напитков на царский стол.

угождая его отцу, он слизывал со своей ладони, прежде чем царь изволил их отведать.

Когда «кроткий» царь Алексей Михайлович однажды проведал, что коновал Лев Сергеев из вотчины князя Одоевского давал дворовому человеку царского родственника боярина Юрия Милославского Михаилу Серебренину «питье сосать, хмелевую шишку завязав в плат, чтобы ему запретить от питья», он приказал пытать коновала: «Что, тот плат с хмелем давал пить не для ль порчи?» Лев Сергеев даже на пытке продолжал утверждать, что давал питье как средство от пьянства, но его тем не менее сослали в Астрахань.

Был пытан и потом бит кнутом перед дворцом и портновский мастер, «царицына чина» Михаил Сергеев, отрезавший от царского ковра несколько соболиных хвостов и продавший их за две гривны на толкучке на Красной площади. Сыщик, допрашивавший Сергеева, интересовался не столько количеством украденных соболиных хвостов, сколько «не мыслил ли он какого зла на государево здоровье».

В мае 1675 года Алексей Михайлович приказал одному из родовитейших бояр, воспитателю царевича князю Федору Куракину, ехать к себе на двор и до нового указу со двора никуда не съезжать за то, что он «у себя в дому держал ведомую вориху девку Феньку, слепую и ворожею».

Указ этот был прочитан боярину тайным советником царя думным дьяком Ларионом Ивановым, посадившим его в свой возок и «провожавшим» боярина до самой Москвы-реки.

В тот же день «ведомая вориха», слепая от рождения девица Аграфена, вместе с другими дворовыми людьми была взята с боярского двора, и Алексей Михайлович указал комнатным боярам и дьяку тайных дел Ивану Полянскому по прозвищу Данило пытать ее «жестокою пыткою» и ставить «с очи на очи» с дворовыми людьми Куракина. Тех же, «на кого она в сыске станет указывать, пытать тож всякими пытками накрепко».

«А разыскивать и ведать то дело, — сообщалось в разрядных записях, — указал царь на этот раз самому боярину князю Никите Ивановичу Одоевскому[1], да тому же боярину Артемону Сергеевичу Матвееву, да думному дьяку Ларивону Иванову, да тайных дел дьяку Ивану, прозвище Полянскому».

Уже по одним этим именам видно, какое серьезное значение придавал царь расследованию связей слепой ворожеи.

Боярин Артамон Матвеев обязан был следить за тем, чтобы после пытки слепая Аграфена и люди князя Куракина были отданы «за приставы» — головам и полуголовам московских стрельцов, которые бы держали их по разным приказам под крепким караулом. Второго июня того же года, «в прибавку к предыдущему», последовал новый указ: усилить состав следственной комиссии, включив в нее еще двух знатнейших комнатных бояр — князя Михаила Долгорукого, царского тестя Кирилла Нарышкина и наперсника оружейничего Богдана Хитрово, а также и еще нескольких окольничих, комнатных и думных дворян.

Создание такой авторитетной следственной комиссии из наиболее близких царю людей, к тому же возглавляемой им самим, объяснялось, очевидно, тем, что в деле

[1] Одному из составителей «Уложения» 1649 года.

были замешаны весьма высокопоставленные лица, покровительствовавшие слепой ворожее и прибегавшие к ее услугам.

Как только Аграфена начала давать показания, был составлен специальный вопросник: «1. Где она ездила и по которым боярским дворам? 2. По скольку жила в котором дворе? 3. Кто ездил с ней?»

Дядьку царевича — боярина князя Куракина — и его жену допрашивали, делалось ли это с их ведома. По указу царя думный дьяк Ларион Иванов выезжал на двор к сказавшемуся больным стольнику и ближнему человеку Никите Шереметеву «болезни его досматривать» и записать его объяснения по расспросным и пыточным речам ворожеи.

«Почему она ему и жене его знакома?»— допытывался у стольника напористый дьяк. «За что он ее дарил и телогреи на нее делал, атласные и камчатные[1], и сколь у них с нею учинилось знакомство давно, и сколько у него она, Фенька, в доме жила, и часто ли к нему приходила, и в которые месяцы, недели и дни?»

Проверяя показания стольника и его жены, Ларион Иванов с пристрастием допросил также его дворовых людей, в особенности «девок, и женок, и боярских боярынь». Те же вопросы были заданы и тестю Шереметева, Смирнову-Свиньину, и его дворовым людям.

Предстоял, видимо, допрос и многих других царских приближенных, если бы не внезапная смерть слепой Феньки. Не выдержав непрерывных пыток, она умерла, и по указу царя была погребена на кладбище «при убогом дому». Взятых вместе с ней под стражу дворовых людей князя Куракина «девичья и женского полу» было велено держать по-старому «за приставы», и о дальнейшей их судьбе составитель разрядных записей не нашел нужным упомянуть.

По записям в разрядной книге удалось выяснить только некоторые характерные подробности этого дела. Расспросные и пыточные речи самой Аграфены и многочисленных свидетелей не сохранились. О содержании других, менее серьезных, но, по-видимому, также служивших предметом тщательного расследования дел «о порче» можно судить только по скупым записям подьячих в переписной книге Тайного приказа.

«...Сверточек, а в нем расспросы стольника кн. Васильева человека Одоевского Григория Чуксы в порче его, князь Василия, как он женился».

«...Сыскное дело про бабу Дарьицу Воловятинскую, которая у всяких чинов людей по дворам ворожила и на соль наговаривала».

«...Сверточек, а в нем расспросные речи портновского мастера Ивашки Степанова и сыск, что он государев изуфреной[2] опашень, который лежал в государевых хоромах, просто надевал на себя, с глупа».

Опашень — это верхнее летнее распашное платье из добротной шелковой или шерстяной ткани с золотым парчовым воротником, часто надевавшееся царем. Портновский мастер Иван Степанов, молодой и, вероятно, веселый парень, был, очевидно, вызван в царские хоромы для примерки. Алексей Михайлович в это время куда-

---

[1] Камка — легкая шелковая ткань полотняного переплетения с узором того же цвета.
[2] Изуфрена от слова «зуфь», «изуфь» — шерстяная ткань восточного происхождения; изуфреной — шерстяной.

то вышел. Увидев лежавший в государевых хоромах опашень, Иван Степанов «с глупа» напялил его на себя и посмотрелся в зеркало, идет ли ему царская одежда.

Расспросные и пыточные речи Ивана Степанова по «государеву верхнему делу»[1], возникшему в связи с этим «опасным» его поступком, тоже не сохранились.

Как можно судить по записям в «Черной книге», Тайный приказ нередко заводил «верхние» дела, когда для подозрений в подготовке цареубийства не было решительно никаких оснований.

В одной из записей упоминается, например, о сыскном деле и пыточных речах простодушного деревенского парня Чюдинки Сумарокова, служившего дворовым человеком у дядьки царя Алексея Михайловича — всесильного боярина Бориса Морозова. Вся вина этого парня состояла в том, что он ради забавы начал стрелять с боярского двора по галкам, примостившимся на трубе одного из монашеских общежитий Чудова монастыря.

Двор боярина Морозова находился вблизи царского. «И от той его стрельбы пулька прошла в царские хоромы»,— гласит зловещая запись в «Черной книге» Приказа тайных дел. «И за то его Чюдинкино воровство, — сообщает дальше сделавший эту запись подьячий, — что он стрелял по галке на келейную трубу, а та труба стоит против государевых хором, а он такова великова и страшнова дела не остерегся и прежним заказам учинил противность, — вместо смертной казни отсечена левая рука да правая нога».

Из найденных историком И. Е. Забелиным следственных дел видно, что руководитель Тайного приказа еще с детских лет от своих же собственных родителей наслышался всяких небылиц о «порче» и колдовстве. Ему, конечно, была знакома история женитьбы его отца Михаила Федоровича на Евдокии Лукьяновне Стрешневой, матери Алексея Михайловича, ставшей царицей после того, как две ее предшественницы якобы сделались жертвами «дурного глаза».

Едва только основатель династии Романовых был объявлен царем, начались хлопоты об его женитьбе, так как надо было заблаговременно позаботиться о наследнике. Вопрос этот очень волновал окружавших царя бояр, в особенности его двоюродных братьев — дворецкого Бориса и кравчего Михаила Салтыковых. Один из них искусно «легчил царю волоски», стриг его и этим приобрел его расположение. Прочно укрепившись при дворе, они опасались, что с появлением молодой жены их влияние на юного и бесхарактерного царя ослабнет и главными его советниками станут ее родичи.

Из всех представленных на смотрины княжеских, боярских и дворянских дочерей Михаилу Федоровичу особенно приглянулась одна — дочь не очень знатного московского дворянина Мария Хлопова. Ее нарекли царицей еще до свадьбы. Под новым именем Анастасии невеста переехала на царский двор в сопровождении своих родственников. Одного из них, дядю Марии Гаврилу Хлопова, сразу же не взлюбили Салтыковы. Свадьба так и не состоялась из-за того, что у невесты вдруг объявилась болезнь — началась рвота и боли в желудке. Это приписали «порче». Неве-

---

[1] Московские цари жили в «верху» — в верхних кремлевских палатах, поэтому и всякий заговор, ставивший своей целью покушение на жизнь царя или кого-нибудь из членов его семьи, назывался «государевым верхним делом».

сту «сослали сверху», и началось расследование. Как только она покинула царский двор, где подачей яств к столу распоряжались Салтыковы, болезнь как рукой сняло. По заключению докторов Мария Хлопова была признана здоровой. Но кравчий Салтыков скрыл это от царя, доложив ему, что «дохтуры болезни ее смотрили и говорили, что в ней болезнь великая, излечить ее не можно и живота ее долгого не чаять». Невесту разлучили с родителями и выслали с бабкой в Сибирь. Прошло несколько лет, пока были раскрыты проделки Салтыковых. Они были сосланы за то, что «государской радости и женитве учинили помешку». «Но брак все же не состоялся, так как они успели настроить против Марии и ее родни мать царя. По ее совету подобрали другую невесту — княжну Марию Владимировну Долгорукую.

Царь поддался уговорам матери и скрепя сердце согласился на этот брак, но вскоре после свадьбы Мария Долгорукая начала хиреть и через три месяца умерла.

Из-за боязни «порчи» Алексей Михайлович тоже в юные годы отказался от брака с понравившейся ему с первого взгляда девушкой — дочерью касимовского помещика Евфимией Федоровной Всеволожской. Он выбрал ее одну на смотринах из двухсот боярских и дворянских дочерей.

Когда Евфимию Федоровну ввели в царские хоромы для наречения царевной, она вдруг потеряла сознание. Матери и сестры отвергнутых царем невест поспешили распустить слух, что она «испорчена», больна падучей болезнью и «к царской радости не прочна». Евфимию Всеволожскую тут же увезли за город под надзор одного боярина. А на отца ее, поклявшегося накануне, что его дочь совершенно здорова, завели «верхнее государево дело», взяли его под стражу и после пытки сослали с семьей в Сибирь. Близкий к царю боярин Матвеев спустя много лет признал, что этот извет был «составной и наученой, устроенный завистью и ненавистью».

У Алексея Михайловича теперь не было другого выбора, кроме женитьбы на Марии Ильиничне Милославской, которую усердно сватал ему расстроивший его брак с Евфимией Всеволожской боярин Морозов. Он же был и посаженным отцом на свадьбе и он же через две недели стал царским свояком, женившись, несмотря на серебро в бороде, вторым браком на сестре молодой царицы. Но Мария Ильинична умерла раньше своего мужа, и через восемь месяцев после ее смерти были назначены смотрины невест. На этот раз, как можно судить по сохранившемуся до нашего времени списку девиц, призванных на эти смотрины, кандидаток было всего каких-нибудь шесть десятков.

Породниться с царем стремились главным образом московские князья и бояре — Гагарины, Колычевы, Толстые, Долгорукие, Мусины-Пушкины, но было несколько невест и из других городов: Новгорода, Суздали, Казани, Костромы и Владимира. Предпоследней в списке стояло имя Авдотьи Ивановны Беляевой, скромной, но, должно быть, очень красивой послушницы из Вознесенского девичьего монастыря, видимо, сироты, потому что в Москву она была привезена своим дядей, неким Иваном Шихиревым, да бабкой ее, старицей Ираидой.

Смотрины состоялись 18 апреля 1669 года, и того же числа к ночи девицы, «взятые вверх», были отпущены по домам.

Застенчивая послушница, очевидно, запомнилась царю, потому что на другой

Роспись девиц, прибывших на смотрины невест, устроенные по желанию царя Алексея Михайловича. На обороте 4-го листа записана первой сверху будущая мать Петра I Наталья Кирилловна Нарышкина. На 7-м листе внизу прибывшая из Воскресенского девичьего монастыря „Иванова дочь Беляева Авдотья, привел дядя ее родной Иван Шихирев да бабка ее Ивановская старица Ираида."

день она опять была «взята вверх» для нового осмотра. Вместе с ней еще раз представлялась царю и Наталья Кирилловна Нарышкина.

О результате новых смотрин можно узнать уже из дел Тайного приказа. В переписной книге значится «дело сыскное про воровские подметные письма и расспросные речи Ивана Шихирева». К сожалению, дело это оказалось сильно разрозненным и сохранилось только в отрывках.

Как раз в те дни, когда в верхних хоромах царского дворца начались смотрины кандидаток в царицы, в том же дворце произошло одно загадочное событие, сильно обеспокоившее пугливого жениха. Любимец Алексея Михайловича и его интимный поверенный, ведавший, в частности, и выбором невест к смотринам, боярин и оружейничий[1] Богдан Матвеевич Хитрово поднес ему два подметных письма, запечатанных сургучными печатями, и сообщил, что эти письма принесли ему шатерничие Авдей Кучецкой и Михайло Истомин, получившие их от «постельного истопника» Ивана Камкина. Одно из них Камкин вместе с другим истопником, Тимофеем Оси-

[1] Оружейничий — заведующий Оружейной палатой и Оружейным приказом.

повым, якобы поднял в сенях перед Грановитой палатой, другое же было приклеено к дверям шатерных сеней на Постельном крыльце.

Спрошенный об этом истопник подтвердил, что первое письмо он действительно нашел в сенях, ведущих в Грановитую палату, и отдал шатерничему. А относительно другого, приклеенного к двери, рассказал шатерничему не он, а Тимофей Осипов. Иван Камкин счел нужным добавить, что сам он тех писем не писывал и не знает, кто их подкинул.

Оба шатерничие, Авдей и Михайло, были тотчас же взяты под стражу и затем поставлены «с очей на очи». По поводу показаний Камкина оба в один голос заявили, что и о втором письме они узнали от него, а не от Тимофея Осипова.

Возможно, что все трое ввиду разногласий в показаниях были бы подвергнуты пытке, если бы в тот же день боярин Хитрово не сообщил царю еще одну подозрительную новость: к нему приходил иноземец, «дохтур Стефан», знакомый с дядей одной из участвующих в смотринах невест, Иваном Шихиревым. Три дня назад доктор якобы встретился с этим Шихиревым на Тверской улице, у Мучного ряду, и Шихирев поделился с ним радостной вестью: «племянница де взята вверх для выбору». Одно только его беспокоило: перед этим ее возили на двор к Богдану Матвеевичу Хитрово, «и боярин де смотрел у ней руки и сказал, что руки худы». Шихирев стал просить доктора вспомнить о «беззаступной девице», если ему случится осматривать вызванных в царские хоромы кандидаток в невесты. Доктор сказал Шихиреву, что его пока к такому делу не призывают, и отговаривался незнакомством с его племянницей. На это Шихирев ответил: «Как де рук у нее станешь смотрить и она де перстом за руку придавит, потому де ее и узнаешь».

Оба сообщения сильно обеспокоили трусоватого царя. О содержании подметных писем в дошедших до нас листках сыскного дела всего только и сказано, что «таково воровства и при прежних государях не бывало, чтобы такие воровские письма подметывать в их государских хоромах, а писаны непристойные...» Но Алексей Михайлович, сопоставив эти письма с рассказом Хитрово об ухищрениях старика Шихирева во что бы то ни стало провести в царицы свою племянницу, заподозрил заговор и отдал приказ действовать по двум направлениям.

Прежде всего были начаты тщательные розыски вероятных авторов подметных писем. Дьякам и подьячим всех приказов были предъявлены подпись из одного письма и две строчки из другого. Подпись состояла из одного уничижительного имени «Артемошка». Взятая наугад строчка из второго письма гласила: «Достойно поднести царю или ближнему человеку, несмотря...» В другой же было сказано: «Рад бы я сам объявил и у него письма вынел и к иным великим делам...»

Письма эти, по-видимому, не имели никакого отношения к Шихиреву и к его племяннице, а были направлены главным образом против боярина Артамона Матвеева, который тоже стремился пристроить за царя свою родственницу Наталью Кирилловну Нарышкину, «вызванную вверх» вместе с племянницей Шихирева для вторичных смотрин. Возможность женитьбы царя на родственнице Матвеева вызвала большой переполох среди бояр, боявшихся дальнейшего роста влияния «Артемошки». Шихирева можно было заподозрить лишь в том, что далекому от придворных интриг старику на самом деле очень хотелось, чтобы царь выбрал в жены его племянницу

Всем дьякам и подьячим, познакомившимся с почерком автора подметных писем, приказали дать письменную «сказку»: кто эти письма писал, не знаком ли им этот почерк? Полученные таким способом образцы почерков всех подьячих давали возможность проверить, не был ли, грешным делом, кто-нибудь из них автором этих писем.

Но и таким способом царю не удалось ничего узнать. Через два дня все дворцовые писцы были вызваны к Постельному крыльцу. Им были показаны подметные письма и оглашен новый царский указ: кто про такое воровское письмо проведает и царя об этом известит или, поймав вора, его приведет, того «великий государь пожалует своим государевым жалованием». Но была пущена в ход угроза: «А буде про того вора не проведаете и государя не известите, и от него, великого государя, за то вам быть в великой опале и в конечном самом разоренье без всякого милосердия и пощады».

Однако ни посулы, ни угрозы не помогли. Среди придворных грамотеев «вор» не был обнаружен. Очевидно, его надо было искать совсем в ином месте.

В это же время был разыскан и Иван Шихирев и подвергнут допросу «против Стефановых речей». Дома у него был сделан обыск, и во дворе нашли какие-то травы и коренья. Старик с достоинством заявил, что «воровских подметных писем он не писывал и писать никому не веливал и в сенях перед Грановитою и перед Шатерною не подметовал». Допрос перенесли в застенок. Там он был, как видно из немногих сохранившихся документов, «расспрашиван накрепко и к огню приношен, а в расспросе и у пытки и у огня прежние речи повторял. А было ему тринадцать ударов...»

По поводу найденных во дворе трав Шихирев показал: «А которые травы выняты у него на дворе, толченые и нетолченые, и те де травы дали ему на Вологде, ныне в великий пост... А велели ему те травы пить в вине и в пиве, потому что он ранен».

Были допрошены все родные и знакомые Шихирева. Один из них, «отставной рейтар» Великжанин, сообщил, что Шихирев, будучи у него в гостях еще до начала смотрин, рассказывал, что «государь пожаловал племянницу его и указал взять вверх», а потом, снова встретившись с ним, просил помолиться в Чудовом монастыре, чтобы над ней «учинилось доброе дело». Из всех этих показаний, однако, нельзя было заключить о существовании какого-то заговора.

Не выдержав допросов «накрепко» и пыток, Шихирев умер, а о судьбе его племянницы, вероятно вернувшейся в монастырь, не сохранилось никаких сведений.

Выжидая окончания следствия, Алексей Михайлович долго скрывал сделанный им выбор. После ареста Шихирева одна из двух кандидаток отпала, но и на вторую ведь была наброшена тень. По всей вероятности, ее имя упоминалось в подметных письмах.

Прошло много времени после смотрин, когда к боярину Артамону Матвееву рано утром явились нежданные гости — депутация бояр в сопровождении солдат и трубачей. Они передали ему царский приказ немедленно прибыть во дворец вместе со своей родственницей, для которой тут же был привезен нарядный убор. Во дворце все уже было готово к свадьбе. Сразу же после извещения о царском выборе бу-

дущая мать Петра I должна была поехать в церковь, где и был совершен свадебный обряд в присутствии сравнительно небольшого числа приближенных.

Лишь после смерти Алексея Михайловича очутившийся в ссылке боярин Матвеев в одной из своих челобитных его сыну Федору вспомнил об исчезнувших из делопроизводства Тайного приказа подметных письмах. Он утверждал, что они были подброшены его завистниками и что в них шла речь о каких-то кореньях.

НОВГОРОДСКОЕ «ДОВОДНОЕ» ДЕЛО

Как видно из переписной книги Приказа тайных дел, там хранились также и некоторые сыскные дела, заведенные до создания этого приказа.

О характере этих дел дают живое представление записи источниковедов, сумевших прочитать ветхие столбцы.

Однажды вечером, в октябре 1645 года (значит, еще до возникновения громкого новгородского дела, о котором дальше пойдет речь), в Приказе Большого дворца к трем сидевшим за столом подьячим подошел с трудом волочивший ноги старик. Колодник, из бывших монахов, стал говорить «непригожие слова» об Алексее Михайловиче, что «он де не прямой царевич, а рожден от сенной девушки».

Подьячие всполошились, и один из них на другой же день помчался в Коломенское сообщить об этом самому царю. Сейчас же начался сыск, порученный ближайшим боярам Б. И. Морозову и князю А. М. Львову. Чернец не стал отпираться, а повторил свое утверждение, «что прямово корени был царевич Иоанн, а его брат Алексей — царевич не прямой, а подменной. Знаем де мы такие подмены, добавил колодник, намекая, очевидно, на Лжедмитрия.

— Кто тебе это сказал? — допытывались бояре. Колодник пояснил, что это объявил ему во сне благочестивый старец Андрей Критский, но его жена слышала то же от баб села Олексина.

Словоохотливого чернеца жгли огнем. Какое наказание его постигло, выяснить не удалось, так как часть дела утрачена.

Что такие разговоры об Алексее Михайловиче имели в ту пору широкое хождение, видно из полностью сохранившегося новгородского дела. К ответу был привлечен не простой человек, чернец, а высшие духовные власти: митрополит новгородский Афоний и архимандрит Хутынского монастыря Федорит.

Делу этому придали особенно серьезное значение. По указу царя сыск возглавлял не местный воевода, а присланный из Москвы и пользовавшийся особым доверием

следователь — князь Никита Иванович Одоевский. Именно ему тридцать лет спустя пришлось участвовать в сортировке, переписи и рассылке по разным учреждениям утративших всякую секретность бумаг упраздненного Тайного приказа.

Приплыв в Новгород на струге по Волхову в сопровождении дьяка Тихона Бормосова, князь Одоевский прямо с пристани, не заходя на подворье, отправился в древний Софийский собор, где в это время новгородский митрополит Афоний служил обедню. Дождавшись, когда митрополит, окончив службу, снял облачение и встал на свое обычное место, царский посланец подозвал его к себе и при большом стечении народа огласил указ о совершенном Афонием преступлении: утаении содержания найденных им в этом соборе и самовольно уничтоженных подметных писем.

Митрополит тут же признал свою вину, но оправдывался тем, что учинил это «спроста», без умыслу. Пропустив мимо ушей его объяснение, князь Одоевский приказал перепуганному старцу идти к себе в келью в сопровождении пристава Афанасия Зиновьева. Придя туда же вместе с дьяком, стольник стал с пристрастием допрашивать Афония: какие злые, непристойные слова про государей царевичей были написаны в подметных письмах и кому он, митрополит, давал их читать? Почему он сообщил об этих письмах в Москву так поздно, после того как они уже были сожжены?

Припертый к стене этими вопросами, верховный глава православной церкви в древнем Новгороде продолжал оправдываться. «В прошлом де, во 143 году петрова поста в понедельник нашел он, митрополит, воровские две грамоты, подкинутые в соборной церкви у настоящего места, а подписано на них ему — митрополиту. И он де, митрополит, те грамотки взяв в церкви, понес их в свою келью и учал их у себя в келье смотреть на одине. И в тех де воровских изменных грамотках писано про государя царевича князя Алексея Михайловича непристойное слово, чего и молвить не умеет. И он де, митрополит, того же часу, те воровские грамотки положив на келейном кадиле, сжег у себя в келье для того, чтобы то воровское изменное письмо во век погибло, и к государю того письма послать не посмел, чтоб тем воровским письмом государя на гнев не воздвигнуть».

На вторичный вопрос: не показывал ли он кому-нибудь эти письма, перед тем как их сжечь? — митрополит поспешил ответить, что он даже своему духовному отцу, вяжецкому игумену Иосифу, ничего об этих письмах не сказал.

Князь Одоевский с дьяком Бормосовым не поленились, однако, послать за этим игуменом. Выяснилось, что митрополит Афоний сначала, действительно, умолчал о своей находке, но когда вяжецкий игумен Иосиф сообщил ему, что в новгородской съезжей избе обнаружена изветная челобитная на хутынского архимандрита Федорита, якобы молвившего про царевича «непригожее слово», и о других его «изменных делах», митрополит Афоний признался, что и в собор были подброшены две известные грамотки о том же, да он их сжег.

Из сыскного дела видно, что еще раньше, чем митрополит написал в Москву об этих «воровских непригожих словах», он говорил о них с хутынским дьяконом Тимофеем Брюхановым, известившим его, что в монастыре творятся «недобрые дела», и давал читать эти грамотки протопопу Ивану Анисимову, «да и иные многие про то ведали».

Афоний предупредил архимандрита Федорита о поступивших на него изветах и постарался замять дело, потому что архимандрит ублажил его, подарил ему за это серебряный ковш. Черный дьякон Хутынского монастыря Тимофей даже громко разгласил об этом «государевом деле» всей монастырской братии, и монахи с перепугу разбежались по кельям. Но, заручившись поддержкой митрополита, хутынский владыка посадил его в хлебне «в железа», и потом выгнал из монастыря.

Прежде чем потребовать к ответу «главного вора и изменника» архимандрита Федорита, следователи решили проверить, не было ли это все поклепом, во что бы то ни стало доискаться, кто был автором известной челобитной. Очевидно, на этот счет у них уже были определенные подозрения, потому что сразу же после допроса митрополита Афония они вызвали в съезжую избу казенного дьячка Хутынского монастыря Степана Митрофанова, не ладившего с архимандритом, «не скажет ли он по-хорошему, без пытки, не писал ли он эту известную челобитную, и с кем писал, и не он ли, Степанко, ее подкинул или кому велел».

А когда дьячок поспешил заявить, что он «на хутынского архимандрита Федорита изветных челобитных никаких не писывал и кто ее писал и в съезжую избу подкинул, того он не ведает», князь Одоевский тут же достал из кармана эту самую челобитную, пересланную в Москву новгородским воеводой и, показав ее дьячку, спросил в упор: не его ли это рука?

Степан Митрофанов замотал головой. Тогда стольник приказал ему писать слово в слово то, что он будет ему диктовать.

Медленно прочитав вслух всю челобитную и сличив потом подлинник с вновь записанным текстом, князь и дьяк единодушно пришли к выводу, что изветчиком был именно он, дьячок Степан Митрофанов. Письмо с письмом сошлось — одна рука!

Но упрямый дьячок продолжал отпираться. Тогда в приказную избу были вызваны все новгородские площадные подьячие, и им был показан краешек изветной челобитной и сделанный с нее Степаном Митрофановым список. Подьячие тоже заявили в один голос: одна рука!

Только загадочная фраза на обороте челобитной, утверждали подьячие, была написана иным почерком: «Списывать такой челобитной не сметь, боясь кнута».

Согласившись с тем, что его почерк схож с почерком автора изветной челобитной, Степан Митрофанов стал теперь утверждать, что «руку его воровски подписал по недружбе бывший служка Хутынского монастыря Ивашка Панов», работающий теперь подьячим в съезжей избе.

Но на допросе и этот подьячий заупрямился. Он клялся и божился, что никаких челобитных он сам не писывал и за других не подписывал. Стольник и дьяк допросили духовного отца Степана Митрофанова, черного попа Иосифа и Степанова родного сына Федосейку, обучавшегося у своего отца грамоте и хорошо знавшего его почерк. Они тоже присоединились к мнению подьячих.

Степан же, не испугавшись угрозы князя, немедленно приступить к пытке, если он и теперь не скажет правды, продолжал только твердить, что больше ему сказать нечего, «хотя бы ему с пытки быть сожжену в уголь».

Князь Одоевский и дьяк Бормосов лично присутствовали при пытке дьячка Степана Митрофанова и оговоренного им подьячего Ивана Панова. В деле отме-

чено, что оба они были пытаны «накрепко и не одиножды», но ни в чем не повинились.

Так и не выяснив у предполагаемых авторов челобитной, откуда им стало известно про сказанные архимандритом Федоритом «непригожие слова», следователи взялись за «начального вора в том воровском заводном деле» — так величали они самого архимандрита в одном из своих донесений в Москву. Невзирая на высокий духовный сан, он был также подвергнут допросу и пытке и тоже все отрицал, даже после того как князь Одоевский предъявил ему показания задержанного в Москве хутынского черного дьякона Тимофея Брюханова, лично слышавшего, как он говорил про царя «непригожее слово». Федорит заявил, что Тимофей все это намутил. Именно за то, что он посмел возвести на своего архипастыря такую напраслину, Федорит сажал его «в железа», а потом выслал вон из монастыря.

Но тем временем из Москвы привезли самого Тимофея Брюханова, подробно рассказавшего обстоятельства дела. Вернувшись в Новгород из литовского плена, он зашел в келью к архимандриту. На его приветствие: «Как тебя бог милует?» — дьячок ответил пожеланием здоровья царю и царевичу. Архимандрит же на это возразил: «Бог де то ведает, что прямой ли царевич, на удачу де не подметный ли?» И он, дьякон, тогда сказал архимандриту: «Как де ты говоришь такие речи? То де дело доводное». Но архимандрит был пьян и повалился на лавку.

Показания черного дьякона дополнялись еще одним обвинением. В подброшенной в новгородскую съезжую избу изветной челобитной было написано, что архимандрит Федорит в разговоре с приезжавшим на богомолье дворцовым дьяком Иваном Дмитриевым сообщил ему о возведенном на него черным дьяконом Тимофеем обвинении, будто он, архимандрит, сказал, что царевич Алексей подменен. Дворцовый дьяк на это ответил: «То де обычное дело. На Москве де не тайно говорят и про другого царевича, Иоанна, такое же непристойное слово, как в изветной челобитной написано». И об этом сказанном дворцовым дьяком непригожем слове, он, архимандрит, никому ничего не сообщил.

Потому ли, что после поимки черного дьякона Тимофея накапливались все новые улики, или престарелый архимандрит испугался сделанного ему последнего предупреждения: если теперь не будет сказана правда, «быть ему пытану и сжену без всякой пощады», но он вдруг смирился. Через несколько часов после очередного допроса, на котором он, как и дьячок Митрофанов, утверждал, что ему больше сказать нечего, «хотя бы его сожгли в уголь», Федорит вдруг прислал сыщикам собственноручно написанную им на имя царя покаянную челобитную.

Виноват, признался он наконец, непригожее затейное слово он молвил, но молвил беспамятно, опившись пьян, едва то и помнит, что говорил, без всякой хитрости.

Пытки тем не менее возобновились. Сыщики теперь доискивались, от кого и сколь давно слышал архимандрит такое непристойное слово. Но он повторял те же речи, добавляя, «что над ним царь учинить ни велит, того он и достоин». Стали снова пытать и об этом же расспрашивать и обоих дьячков.

Теперь, «как Степанку Митрофанова с пытки спустили», и он тоже сознался, что писала эту челобитную его собственная рука «прямая». Он сунул челобитную в

сапог, за голенище, и потом ненароком выронил, а кто ее подкинул в съезжую избу, этого он не ведает. Затеял же он ее писать «по насердке» и «по недружбе», потому что архимандрит «до него был недобр».

На вопрос следователей, откуда он проведал про сказанное архимандритом «непригожее слово», дьячок ответил, что узнал о нем от того же черного дьякона Тимофея. Писал же он изветную челобитную в казенной келье, один, и мысли его никто не ведал. А к тому еще иные воровские непристойные затейные слова, что в изветной челобитной написаны, прибавил собою, что ему взбрело на ум, то и написал, «чем бы архимандрита из монастыря изгнать».

Но Степану Митрофанову больше не верили. Новгородский воевода князь Репнин откопал еще раньше где-то старое сыскное дело, по которому Степан привлекался по подозрению в намерении извести черного попа Пафнутия по прозвищу Фуфая, посланного в Москву с дарами к царевне Пелагее и грозившегося открыть на Москве разные Степановы тайные дела». Старец этот в дороге умер от неизвестной причины. Если Степан писал изветную челобитную один, то почему же на обороте ее выведено другим почерком: «Списався, сжечь»? И еще «Кто с кем умышляет, тот и доводи, а я переписать не смею, боясь кнута».

Дьячку Митрофанову пришлось признаться, что написанную им челобитную он давал недругу архимандрита, старцу Закхею, но, будучи неграмотным, Закхей ее сам не читал, а куда-то носил. Обратно же Степан получил ее «сверчену» и, не посмотрев, заткнул за голенище.

Проверяя показания дьячка, сыщики ставили его «очи на очи» со старцем Закхеем, который тоже был «пытан накрепко и клещами сжен по спине не одиножды».

«Против расспросных же и пыточных речей старца Закхея, — доносил в Москву князь Одоевский, — Степанка Митрофанов не пытан до государеву указу для того, что, как он про изветную челобитную пытан и сжен сперва и от тех пыток еще не оправился, пытать было нельзя».

«Да и старец Закхей, — говорится в другой отписке, — стар добре, сказывает себе лет с восемьдесят и больше, и от пыток прихудал, велено его лечить зелейщику».

Степану Митрофанову, видимо, становилось все хуже, потому что он «был дан держать новгородцу Семену Кашкарову с наказом отослать и его к зелейщику». Неизвестно, какими зельями тот его лечил, но 21 ноября Семен Кашкаров «пришед на съезжий двор, сказал стольнику князю Одоевскому да дьяку Тихону Бормосову, что дьячок Степанко Митрофанов прихудал и просит отца духовного».

«И к нему отец духовный послан, — говорится в донесении царю, — и велено ему дьячка Степанка Митрофанова исповедать и о том расспросить, кто с ним изветную челобитную писал и в думе был, чтоб он перед концом сказал правду».

Но добровольно взявший на себя обязанности следователя духовный отец Степана, приходский священник Антоний, смог добиться у больного только одного ответа: что изветную челобитную писал он один.

«...И ноября в 26 день, в восьмой день после пытки, — закончил князь Одоевский свое донесение, — дьячок Степанка Митрофанов умер».

Из последующих донесений видно, что, хотя хутынскому архимандриту «стряски были многие и клещами сжен по спине и не одиножды», выносливый старик «прежних своих речей не переменил ни в чем».

Особенно настойчиво допытывались сыщики про упоминаемого в изветной челобитной дьячка Ивашку Германова, якобы посланного архимандритом за границу в Стокгольм и в немецкую землю с каким-то «изменным» письмом. Не содержало ли это письмо «непригожие слова» про царевичей?

Они смогли только выведать, что дьячок Ивашка Германов был сыном лежащего в монастырской больнице старца Германа Ростовцова, постригшегося в монахи лет десять назад. Дьячку же было всего пятнадцать лет, и он был болен «черной болезнью». Приволокли на допрос из больницы, конечно, и его отца, но узнать у него смогли немного, потому что, говорится в отписке, Герман Ростовцов «стар гораздо и дряхл добре, не видит ни зги».

Слепец поведал лишь, что сын его немощный Ивашка пошел в Ладогу тому назад недель шесть и оттуда хотел идти на Соловки искать лекаря.

Опять заскрипели перья в съезжей избе. Новгородский воевода князь Репнин послал на Ладогу и в иные города, «которые подошли к немецкому рубежу», вплоть до Соловков, строгие наказы сыскать того Ивашку, где бы он ни объявился, и, сковав, прислать в Великий Новгород.

Вслед за грамотками поехал в те же места специальный «посылочный подьячий» Семен Трестин с заданием расспрашивать о беглом дьячке всех встречных.

Вернувшись поздней осенью обратно в Новгород, он привез с собой целый ворох донесений, начиная с показаний приказчика дальнего вороновского погоста Завьяла Тимофеева, в которых говорилось: «За рекою, за вороною, на пустоши метал де он сено и мимо де той пустоши шел человек молод, уса и бороды нет, волосы русые, очи черные, в лице полон, сказался Хутынского монастыря дьячком, Ивашком зовут... Шел же этот парнишка, по его словам, в Карельский уезд в сердобольский погост, к ухновским мужикам».

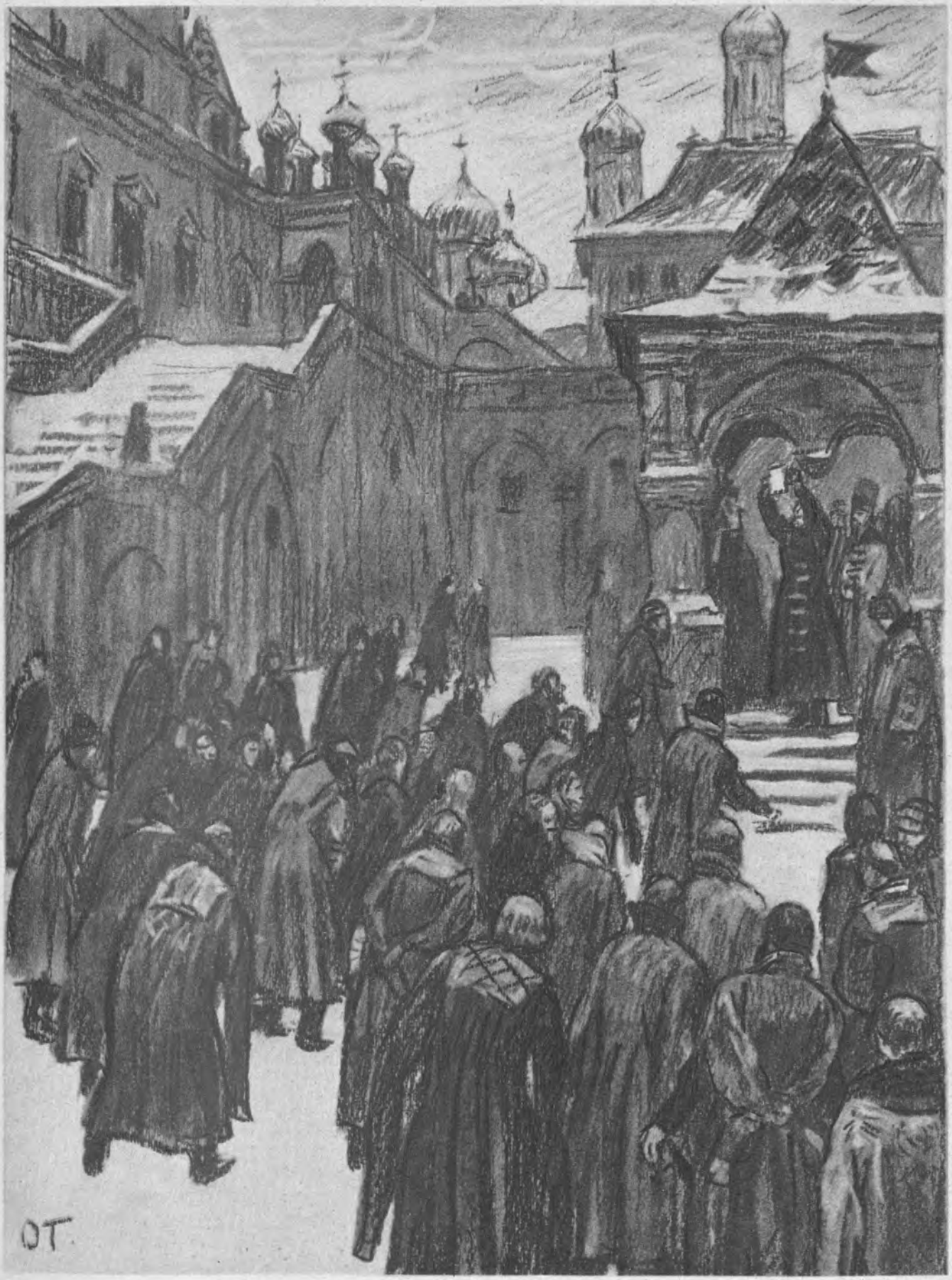
Монастырский крестьянин Голованов сообщал, что видел детину с такими же приметами в обед на подворье и был он пеш и бос.

Поп сердобольского погоста Федор Дорофеев утверждал, что и он видел поздно ввечеру этого белобрысого парня, одетого в черную однорядку «да сапоженки кривы». Видимо, он их очень берег, если днем шел босой.

В донесениях были небольшие разноречия. В одном упоминалось, что парень был в темно-синей однорядке, в другом, что сапоженки он носил «полукривые», однако нельзя было сомневаться, что речь идет об одном и том же лице — тщательно разыскиваемом новгородским воеводой беглом дьячке. У крестьянина Сермакской волости Фаддея Степанова дьячок спрашивал дорогу в Александровский монастырь. Сохранилось и донесение игумена этого монастыря Авраамия со всей братией и служками, подтверждающее, что был у них на Олонце дьячок, назывался Ивашкой. Староста да волостные люди олонецкого погоста не смогли указать, в чем он был одет. В отписке сказано: валялся на кабаке «в голышах».

Чумаки кабацкого откупщика Артемка, Меркушка да Илюшка показали, что загулявший прохожий дьячок заложил у них однорядку и сапоженки за четыре

Все дворцовые писцы были вызваны к Постельному крыльцу.


ОТ.

алтына, но на третий день выкупил. Деньги внес за него местный крестьянин Гордей Угрин.

Допросили и его. Пил он водку у кабака с зарубежным крестьянином Мартынкой Гутуем, сообщил Гордей Угрин, когда подошел к ним в одной рубашонке босой детина и обратился с двумя просьбами: дать денег четыре алтына — выкупить из кабака платьишко и свезти его за рубеж. Денег Гордей ему дал, а за рубеж не повез. Взялись это сделать Мартынка Гутуй с братом, а он только указал, где достать судно.

Казалось бы, след разысканного с таким трудом дьячка был теперь навсегда потерян. Но ветхие документы говорят о другом: и за рубежом сумели достать беглеца царские сыщики.

К новгородскому сыскному делу подшито донесение царских следователей о том, что благодаря стараниям местного воеводы князя Репнина беглый дьячок Ивашка Германов наконец был разыскан за рубежом в Карельском уезде и привезен в Новгород. «Только, — жалуются царю сыщики, — прислали его к нам, холопям твоим, больного, болен черной болезнью».

«И как мы, холопы твои, того дьячка Ивашка Германова учали на съезжем дворе расспрашивать против изветной челобитной Хутынского монастыря дьячка Степанки Митрофанова и того же, государь, часа, у разспроса, дьячка Ивашка Германова схватила болезнь черная и учала бить и лежал безпамятно трои сутки. И затем не пытан, что пытать было за болезнью нельзя».

Видимо, в Москве с большим нетерпением ждали его показаний, потому что князь Одоевский считал своим долгом чуть ли не каждый день писать о нем лично царю.

«...Болен тою же болезнью, по-прежнему бьет его по вся дни и ночью многажды: как бить перестанет и он лежит замертво, покаместа его ухватит опять. А иное, государь, сутки в двои или в трои глянет и попросит пить и есть. В те поры будет, что успеют дать вскоре есть или пить и он съест или изопьет и того же часа опять его ухватит болезнь, и учнет бить и промеж битья лежит беспамятно».

Уж очень долго лежал в забытьи обессилевший от припадков падучей болезни Ивашко.

Торопясь угодить царю, следователи обвинили его в притворстве и вопреки сложившемуся у них самих убеждению, что пытать больного дьячка нельзя, все же приступили к экзекуции.

«С 28 декабря по 10 генваря, — доносят они опять в Москву об Ивашке, — от болезни своей не образумлевался, лежит беспамятно, и мы, холопы твои, не имея кому верить, — либо отбаливается воровством, — велели его перед собою, разжегши клещи, терть по спине...»

Но и это не подействовало: «И с огня он не прокричал и не промолвил ничего и после», — сетовали следователи. Все же к вечеру Ивашка Германов от болезни своей «образумился» и «учал говорить».

Бесхитростный рассказ дьячка, вероятно, разочаровал царя. Ивашка рассказал, что он в первый раз сбежал от отца, когда тот вздумал учить его грамоте, скитался по чужим людям, но в Москве ухватила его «черная болезнь». Встретившись

здесь случайно с отцом в богадельне, он вернулся вместе с ним на Хутынь. Старик советовал ему идти на Ладогу искать лекаря. Из монастыря он ушел «безвестно» и забрел за рубеж, в Карельский уезд. Об «изменных» письмах ничего не слыхал, никому таких писем не передавал.

Скудость этих показаний вызвала новые угрозы. И на этот раз они подействовали. Ивашка неожиданно признался, что действительно носил «изменное» письмо от архимандрита Федорита, писанное дьячком Степаном Митрофановым, и передал его за рубежом немчину Индрику Фламу. Все же, как и его предшественники, этим признанием он не избег новой пытки.

«Стряска ему была не одна и огнем сжен трижды», — доносили следователи царю, но на этот раз их усилия привели к обратным результатам. Дьячок объявил, что он на себя наклепал, стараясь избежать пытки. Этому пришлось поверить. Степана Митрофанова уже нельзя было поставить «очи на очи» с дьяком, но вряд ли автор изветной челобитной на архимандрита Федорита мог оказать ему такую услугу — настрочить для него «изменное» письмо. Откуда же взял Ивашка имя немчина Индрика Флама?

Дьячок пояснил, что как только он в поисках лекаря съехал на судне за рубеж, на заставе остановил его немчин, назвавшийся этим именем, и еще десять солдат. И его де, Ивашку, немчин Флам расспрашивал, для чего он едет за рубеж и есть ли у него проезжая грамота. И он де, Ивашка, сказал, что он болен, а ищет мастера, кто бы его болезни пособил. И немчин де Индрик пропустил его в Карельский уезд и там де его ухватила болезнь. Волочился он по деревням, и в какой деревне его болезнь ухватывала, тут его со двора и сбивали. А до того мастера, немчина, что от болезни пособить может, он так и не дошел. Живет он больно далеко, за Карелою, верст с триста девяносто. А в Кареле и в иных немецких городах не бывал нигде...

Судя по сохранившемуся сыскному делу, более трехсот листов исписали следователи на одни только донесения в Москву, а сыск зашел в тупик.

«...Архимандрит Федорит, — гласит одна из последних отписок, — дряхл добре, говорит себе восемьдесят лет. Больше того было пытать нельзя, чтоб с пытки не умер. Ныне от пытки лежит болен, дан лечить зелейщику».

Слушавшие новгородское сыскное дело бояре порешили, что всякий, «кто так учинил, как митрополит Афоний» (следовало перечисление всех его тяжких проступков), подлежит смерти, но, приняв во внимание высокий его духовный сан, они нашли возможным заменить смертную казнь тюремным заточением до конца жизни.

Казнен смертью без всякой пощады должен был быть архимандрит Федорит. Остальные же замешанные в этом деле духовные чины отделались более легкими наказаниями: тюрьмой, ссылкой, отдачей на крепкие поруки.

К этому времени как раз у царя «случилась радость» — родилась дочь Татьяна. Подлежавший пожизненному заточению митрополит Афоний был прощен. Лежавшему у зелейщика и все еще не оправившемуся от пыток восьмидесятилетнему архимандриту Федориту царь, «не хотя его крови», заменил смертную казнь отправкой «в смиренье», в холмогорский Сийский монастырь.

ТЕТРАДЬ В САФЬЯНОВОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

СОСТАВЛЕННОЙ по повелению Петра I описи имущества Тайного приказа, к сожалению, нет сведений о каких-либо документах, касающихся Григория Котошихина — лица, несомненно известного сыщикам этого приказа и не раз упоминаемого в предыдущих главах. Подьячий этот, правда, служил в другом, а именно в Посольском, приказе, но имел доступ к секретным делам и, вероятно, находился под наблюдением Тайного приказа, в особенности во время переговоров с иностранными послами.

Пробелам в «Черной книге» Приказа тайных дел не приходится удивляться. В опись не вошли пришедшие в негодность документы, о которых составители ее сочли нужным сделать такую пометку:

«Две коробьи, а в них тетради и листы, столбцы и лоскуты греческие и латинские, польские и русские, печатные и письменные, всякие; письма сгнили и мыши поели и разобрать не можно».

Среди этих утраченных почти триста лет назад грамот могли быть и какие-нибудь, упоминавшие о Котошихине. Потеря их восполняется только тем, что кое-какие сведения о нем имеются в делах Посольского приказа, в котором главным образом и протекала его деятельность.

Судя по количеству шкафов, занимаемых делами этого приказа в Центральном государственном архиве древних актов, этих дел сохранилось не так уж мало. Наряду с текстами договоров с иностранными правителями и донесениями первых русских послов, переплетенных в толстые тома — так называемые посольские книги, уцелели даже ведомости на выплату жалованья дьякам и подьячим этого приказа, составленные триста лет назад.

Раскроем наугад одну из этих ведомостей. У нее ведь тоже могут быть свои тайны. На обороте 51-го листа (в те времена нумеровать страницы было не принято) записана сумма «13 рублев», а рядом красуется кудреватая, но вполне разборчивая подпись ее получателя: «Гришка Котошихин».

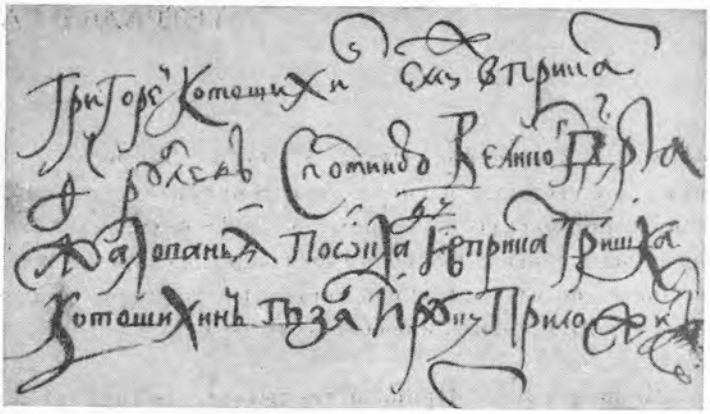
Тринадцать рублей за год службы — деньги, конечно, небольшие. Григорий Котошихин был простым подьячим, но выполнял важные поручения, участвовал в переговорах с шведскими послами. Судя по другой пометке за это ему полагалась прибавка в размере половины его жалованья.

Всего в книге имеется пять таких записей. По ним видно, что проворный подьячий быстро продвигался по службе. Жалованье его с каждым годом повышалось. В 1663 году он уже получал 30 рублей, что считалось приличным заработком.

Но последняя запись, внесенная в 1665 году, говорит о том, что карьера расторопного подьячего внезапно оборвалась — впрочем, по его же вине.

«...В прошлом во 172 году Гришка своровал, изменил, отъехал в Польшу. А был он в полках бояр и воевод князя Якова Куденетовича Черкасского с товарыщи».

Эта краткая запись в сравнительно хорошо сохранившейся платежной ведомости о чрезмерном проворстве способного канцеляриста, вероятно, осталась бы



Расписка Григория Котошихина в получении жалованья.

незамеченной, если бы спустя почти двести лет после этого незначительного происшествия имя беглого подьячего из давно упраздненного Посольского приказа вдруг не вынырнуло из забвения.

В 1837 году русский ученый, профессор Гельсингфорского университета Сергей Васильевич Соловьев, однофамилец известного историка Сергея Михайловича Соловьева, проводя свой отпуск в Швеции, послал в Петербург заманчивое предложение. Отлично владея шведским языком и изучая историю Швеции, он предложил государственной археографической комиссии, занимавшейся розыском и исследованием древнерусских рукописей, поискать такие рукописи в шведских архивах и библиотеках.

Предложение это очень заинтересовало петербургских историков.

В начале XVII века шведы временно захватили русский север, а через сто лет были разбиты под Полтавой. Шведский генерал де ла Гарди около шести лет сидел губернатором в Новгороде и мог за это время прикарманить и отправить на свою родину немало ценнейших памятников русской старины. После Полтавской битвы многие шведские офицеры, попав в плен, продолжили знакомство с Россией, изучили русский язык и, вернувшись на родину, изложили свои наблюдения в увлекательных мемуарах. Шведское правительство с давних времен оказывало приют перемет-чикам из России в надежде выведать от них больше, чем могли сообщить собственные послы и резиденты. Из всего этого следовало, что шведы знали прежнюю Россию лучше многих других иностранцев и хранили о ней в своих архивах немало ценных сведений.

Члены археографической комиссии решили поддержать предложение С. В. Соловьева, который тем временем начал поиски на собственный страх и риск.

Первый свой визит он нанес в королевский замок в Стокгольме, так как в нем помещалась одна из лучших шведских библиотек, основанная просвещенным королем Густавом Вазой.

Книги в те времена были большой ценностью. Рассматривая их как свою военную добычу, шведские полководцы во время Тридцатилетней войны вывезли из Гер-

мании, Богемии и Польши целые библиотеки, поступившие впоследствии в королевское книгохранилище. На просьбу профессора показать достопримечательности библиотекарь вынес древнее пергаменное евангелие, написанное в IX веке на английском языке, и привлек его внимание к сделанной на одной из страниц приписке на древнегерманском наречии. Из нее следовало, что какой-то благочестивый германский князь или герцог Альфред выкупил это евангелие у язычников-пиратов. Библиотекарь показал также русскому ученому знаменитую «Библию дьявола»— увесистую книжищу чешского происхождения, написанную, по его уверениям, в XII столетии на коже двухсот ослов. Шведские солдаты похитили ее вместе с тяжелой цепью, которой она была прикована к дубовому столу в одном из пражских монастырей. Предание гласило, что приговоренный к смертной казни монах написал ее за одну ночь с помощью дьявола.

Из славянских же книг в королевской библиотеке нашлась всего одна. Это была тоже библия, но более позднего происхождения. Как бы оправдываясь, библиотекарь сообщил профессору, что в 1697 году королевское книгохранилище пострадало от пожара, уничтожившего 18 тысяч томов и более тысячи рукописей. Возможно, что среди них как раз и были документы на русском языке.

Не смущаясь неудачей, профессор Соловьев решил заглянуть и в помещавшийся в том же королевском дворце государственный архив. Тут ему больше повезло. Среди документов, относившихся к XVI и XVII столетиям, оказалось много шведских и немецких рукописей, посвященных России эпохи Ивана Грозного, «Московская хроника»— впечатления проезжавшего через Россию в Персию голштинского купца Филиппа Крузиуса и др. Но, кроме этих иностранных сочинений, профессор обнаружил в этом архиве и множество подлинных документов на русском языке, свернутых в виде столбцов челобитных и отписок воевод и старост из Смоленска, Владимира, Суздали и других древнерусских городов. Были даже собственноручные грамоты польского гетмана Сапеги, Лжедмитрия и царя Василия Шуйского. Все эти документы относились главным образом к бурной эпохе начала XVII столетия, недостаточно исследованной русскими историками как раз из-за недостатка в письменных источниках, погибших в огне пожаров и частично увезенных в Польшу. В Стокгольм они попали как трофеи во время шведско-польской войны.

Но во время беглого осмотра не только эти документы привлекли внимание опытного археографа. Особенно его заинтересовала старинная рукопись на шведском языке «О некоторых русских обычаях». При ближайшем рассмотрении она оказалась переведенным с русского описанием царствования Алексея Михайловича. Это было сочинение какого-то жившего в Швеции русского подьячего, именовавшегося то Александром Селецким, то Григорием Котошихиным. Оно было переведено толмачом государственного архива Олафом Боргхузеном.

Из предпосланного переводу предисловия Соловьев узнал, что Польша была только временным приютом беглеца. Последние годы своей жизни он провел в Швеции, где и умер при не совсем обычных обстоятельствах. Рукопись эта показалась ученому настолько интересной, что он тут же послал в Петербург краткое ее описание с предложением ввиду отсутствия подлинника перевести ее на русский язык.

Лицевая сторона первого листа рукописи Котошихина, найденной в Швеции.

Археографическая комиссия, выхлопотавшая к этому времени просимые профессором средства, охотно на это согласилась, но Соловьев успел перевести только несколько глав. Приехавшему на следующий год ученому посчастливилось обнаружить в другом месте подлинник заинтересовавшего его сочинения беглого подьячего.

Просматривая в знаменитой Упсальской библиотеке коллекцию рукописей, подаренную этому книгохранилищу жившим в XVII веке и хорошо знавшим русский язык известным филологом-славистом Олафом Спарвенфельдом, профессор Соловьев обратил внимание на объемистую тетрадь в красном сафьяновом переплете. На обложке ее было оттиснуто золотыми латинскими бук-

вами: «Грегор Кошихин». Один слог в фамилии подьячего был пропущен, очевидно по недосмотру переписчика. Тут же была проставлена недописанная фамилия владельца тетради — Спарвенфельд.

Раскрыв заглавный лист, Соловьев прочел на нем написанное тем же почерком самого Спарвенфельда, но уже по-русски пояснение: «Григорья Карпова Кошихина, Посольского приказа подьячего, а потом Иваном Александром Селецким зовомого, работы в Стохолме 1666 и 1667». Далее следовала приписка: «Рукопись на 232 листах, в малую четверть, писана скорописным почерком XVII века самим автором». Тетрадь отлично сохранилась, только на некоторых ее страницах появились пятна от сырости. Это и был подлинник сочинения Котошихина, с которого был сделан найденный Соловьевым в Стокгольме перевод.

Четыре недели понадобилось настойчивому ученому для переписки этого сочинения от начала до конца при точном соблюдении орфографии подлинника. Русский текст не имел названия и состоял из тринадцати глав, в свою очередь разделенных на отдельные маленькие статьи. Таких статей насчитывалось двести тридцать четыре.

Это был рассказ не только о русских обычаях и обрядах в первой половине XVII века, как уверяла шведская надпись на стокгольмском экземпляре перевода. В сочинении Котошихина, написанном для иностранного, в данном случае — шведского читателя, рассказывалось о государственном устройстве России в царствование Алексея Михайловича. Особенно подробно — «о дипломатическом и судебном производстве». Много внимания уделялось старинным русским обычаям и обрядам; самым же ценным было то, что автор рассказывал обо всем как «самовидец», впрочем, не всегда беспристрастный.

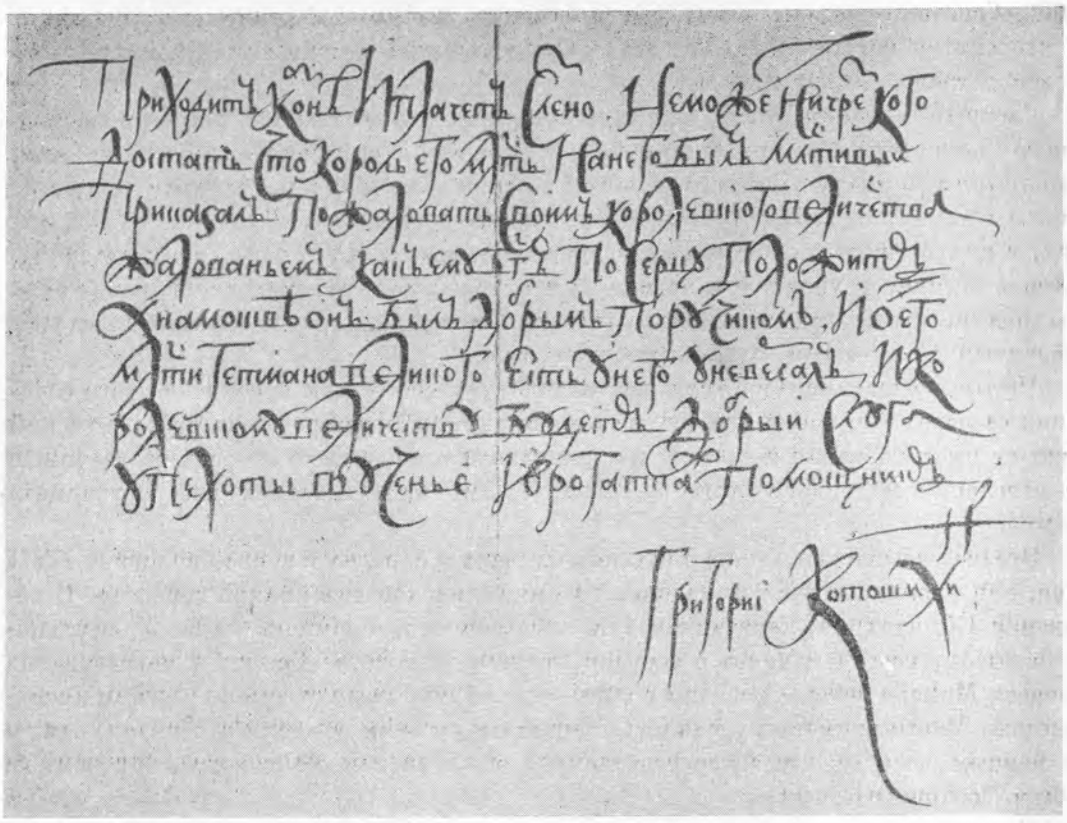
В написанной деловым и точным языком книге было заметно стремление автора подладиться к интересам чужого читателя, угодить ему.

Но независимо от намерений Котошихина сочинение его оказалось ценным пособием для историков, содержавшим богатейший материал для изучения внутреннего состояния России в середине XVII века. Поэтому члены археографической комиссии решили эту рукопись издать. Однако надо было еще окончательно удостовериться в ее подлинности. Шведское правительство пошло навстречу этому желанию русских историков, и найденная профессором Соловьевым в Упсале тетрадь в сафьяновом переплете, так же как и один из сделанных шведами переводов, были присланы для экспертизы в Петербург.

Сличив почерк сочинителя с другими собственноручно написанными Котошихиным документами, хранившимися в архиве Посольского приказа, члены комиссии признали, что присланная из Упсалы рукопись была подлинной.

* * *

С тех пор как профессор Соловьев нашел в университетской библиотеке древнего шведского города Упсалы переплетенную в красный сафьян тетрадь, прошло больше столетия. Однако ни одна научная работа, касающаяся эпохи тридцатилетнего царствования царя Алексея Михайловича, не обходится без ссылки на это интересное сочинение беглого подьячего.



Последние строки заявления Котошихина о желании служить польскому королю.

О самом же Котошихине, человеке далеко не безупречного поведения, историки обычно умалчивают.

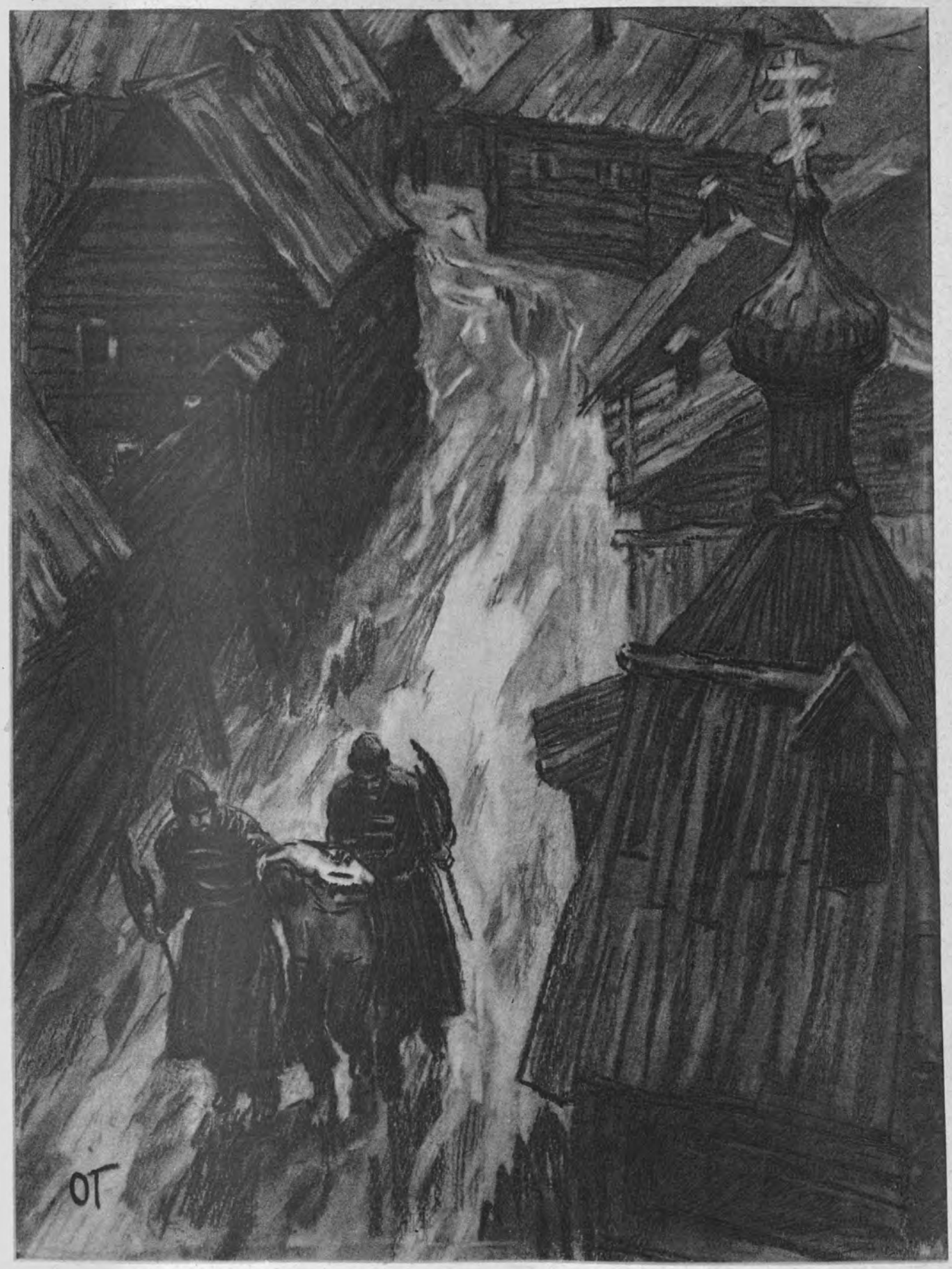
Что же заставило его покинуть родину и скрываться под чужой фамилией? Какие преступления совершил он? Почему он переехал из Польши в Швецию и чем там занимался? Что помешало ему вернуться домой? При каких обстоятельствах и когда он умер? Все эти вопросы в разное время занимали ученых, как русских, так и иностранных, и побуждали их к новым розыскам.

Первым из всех обнаруженных в архивах документов о Котошихине, еще более ранним, чем приведенные выше записи из приходо-расходной книги Посольского приказа, оказалась грамота самого царя Алексея Михайловича к управляющему этим приказом думному дворянину Ордину-Нащокину.

4 мая 1660 года царь предписывал этому ближайшему своему советнику по иностранным делам впредь внимательно перечитывать все посылаемые на царское имя письма, а подьячему Гришке Котошихину учинить телесное наказание.

Вина Гришки состояла в том, что в отправленной царю из приказа отписке он пропустил слово «государь».

Сказавшего «непригожее слово» о царе вели в тюрьму «с великим бережением».


OT

В архиве Посольского приказа, в папке с надписью «Дела шведские за 1657—1661 год», завалялся столбец, присланный из Приказа тайных дел от царя Алексея Михайловича «великим и полномочным послам», думным дворянам Ордину-Нащокину «с товарыщи».

«Апреля в 19 день писали есте к нам, — напоминал царь своим послам, — а в отписке вашей в первом столбце прописано, где было надобно написать нас, великого государя, и написали великого, а государя не написано.

И то вы учинили не остерегательно, — поучал Алексей Михайлович, — и как к вам ся наша грамота придет и вы б впредь в отписках своих и во всяких наших делах, которые будут на писме, наше, великого государя, именованье и честь писали с великим остерегательством.

А вы, дьяки, — продолжал царь отчитывать служащих приказа, — вычитали б всякие писма сами не по единожды и высматривали б гораздо, что б впредь в ваших писмах таких неосторожностей не было».

Последние строки грамоты были посвящены непосредственному виновнику описки:

«...а подьячему Гришке Котошихину, который тое отписку писал, велели б есте за то учинить наказание — бить батоги».

Итак, за случайную ошибку—пропуск одного только слова «государь» в официальном письме к царю — виновный в этой оплошности молодой подьячий был выведен на мощеный двор перед зданием Посольского приказа, положен на землю или на скамью и нещадно бит толстыми прутьями, так называемыми батогами.

Эта экзекуция оставила, разумеется, некоторые следы не только на его теле, но и в душе, хотя в то время такое наказание было обычным явлением и на дальнейшей карьере Котошихина оно не отразилось.

Из других найденных в том же архиве документов мы теперь знаем, что уже в следующем году отведавший батогов «царского величества подьячий» Григорий Котошихин был включен в состав важного посольства, отправившегося в Эстонию для мирных переговоров со шведами.

В сохранившемся в Посольском приказе письме, посланном в Москву А. Л. Ординым-Нащокиным из занятого русскими войсками Дерпта, снова упоминается имя Котошихина. Нащокин сообщал, что он отправил этого подьячего в Ревель поторопить шведских послов скорее ехать в Москву. Шведы ответили, что они тронутся в путь, как только дождутся выехавшего в Стокгольм за инструкциями руководителя посольства Бенгта Горна. 8 декабря к Нащокину явился шведский трубач. Бенгт Горн извещал через него русского посла о своем прибытии.

Трубач был отправлен назад в сопровождении Котошихина, вручившего главе шведского посольства новое приглашение скорее прибыть в Москву.

Опытный дипломат Бенгт Горн вел с молодым подьячим длинную беседу. Он пожаловался на «небрежность» русских, выразившуюся в том, что в грамоте на имя шведского короля был пропущен один из титулов — «король лифляндский», и высказал надежду, что при переговорах русские будут сговорчивыми и заключат мирный договор на вечные времена. Котошихин не сказал послу, что описка была сделана нарочно, так как русские не считали Лифляндию шведской землей. Он

остался весьма доволен посланным Бенгт Горном ему на квартиру «приличным угощением».

21 июня 1661 года в приютившейся между Дерптом и Ревелем эстонской деревушке Кардис не без некоторого участия Котошихина был наконец подписан договор о мире.

Но по возвращении в Москву Котошихина опять ждали неприятности. Отец его, монастырский казначей, живший, по-видимому, на квартире своего сына, был обвинен в растрате. Воспользовавшись отсутствием подьячего, один из ближайших царских прислужников, думный дворянин Прокофий Елизаров, за долги отца отнял у него дом со всеми пожитками и лишил крова его жену. Произведенным по настоянию Котошихина розыском было доказано, что отец его, в сущности говоря, обвинен напрасно. В монастырской казне не хватало всего пяти алтын, то есть пятнадцати копеек. Но хлопоты подьячего ни к чему не привели. Думный дворянин Прокофий Елизаров заартачился. Отобранное в казну имущество Котошихину так и не вернули.

Толкнула ли новая обида оскорбленного подьячего на путь измены и предательства или для этого были еще и другие причины, сказать трудно. Судя, однако, по тому, что об этой второй причиненной Котошихину несправедливости стало известно из текста его слезливой просьбы на имя шведского короля, написанной спустя два года после конфискации имущества, эпизод этот сильно его озлобил.

Вот тут-то и пригодился обнаруженный профессором Соловьевым в Стокгольме шведский перевод сочинения Котошихина. В предисловии к нему толмач шведского государственного архива Боргхузен привел обширные выдержки из этого, по-видимому навсегда утраченного, прошения Котошихина. По выдержкам можно легко заключить, что подьячий был корыстолюбив и падок на разные авантюры.

Причиненная Котошихину вторая обида сглаживалась полученным им новым ответственным поручением. В августе 1661 года Алексей Михайлович послал его в Стокгольм с письмом к шведскому королю Карлу XI.

Обеспокоенный задержкой с утверждением договора, Алексей Михайлович просил короля прислать своих посланцев для обмена ратификационными грамотами. И на этот раз шведы встретили Котошихина с почетом и отпустили с дорогими подарками.

Истратив крупную сумму — пятьсот риксдалеров — на прокорм царского посланца и его провожатых, они, кроме того, сделали ценные подарки лично ему.

Кардисский договор был вскоре утвержден, но после этого в Москве должны были еще рассмотреть вопрос о взаимных денежных претензиях. Переговоры на эту деликатную тему с царским окольничим Василием Семеновичем Волынским вели уже не послы, а искушенный в такого рода делах комиссар шведского подворья в Москве и опытный разведчик Адольф Эберс.

Стремясь заранее выведать, каких уступок можно добиться от противной стороны, предприимчивый швед сумел получить нужные ему сведения от одного предателя в составе русской делегации и об этой своей удаче с удовлетворением доносил шведскому королю:

«Оный субъект, хотя русский, но (в этом месте пять слов были написаны тайнописью)... по своим симпатиям добрый швед... обещался и впредь извещать меня обо всем, что будут писать русские послы и какое решение примет его царское величество насчет денежных сумм».

Эберс извещал короля, что за услуги подкупленного им шпиона, принесшего ему текст данной русским послам инструкции и других важных бумаг, пришлось заплатить сто червонцев.

Кто же был этим тайным агентом шведского правительства? Ответ на этот вопрос, конечно, тоже не мог дать архив Посольского приказа. Он был найден более чем через двести лет в секретном Стокгольмском государственном архиве шведским историком профессором Иэрне. Этот ученый и опубликовал впервые в 1881 году хранившиеся в архиве тайные донесения шведского резидента в Москве Адольфа Эберса. Среди них и был обнаружен перевод перехваченной им инструкции русским послам.

За Эберсом во время его пребывания в Москве велась постоянная слежка, но его тайные встречи с предателем из состава русской делегации московские сыщики из Приказа тайных дел, очевидно, проморгали.

Между тем шведский резидент 26 января 1664 года в зашифрованном письме снова доносил своему королю:

«Мой тайный корреспондент, от которого я всегда получаю ценные сведения, послан отсюда к князю Якову Черкасскому и, вероятно, будет некоторое время отсутствовать...»

Какое совпадение с записью в приходо-расходной книге о последнем местопребывании Григория Котошихина! «А был он в полках бояр и воевод князя Якова Куденетовича Черкасского с товарыщи».

«Это для меня очень прискорбно, — заканчивал свое сообщение шведский резидент, — потому что найти в скором времени равноценное лицо мне будет очень трудно».

Упоминаемый в донесении Эберса князь Черкасский вместе с другим царским воеводой, князем Прозоровским, сдерживал в это время стоявшие на берегу Днепра польские войска. Туда же, под Смоленск, как узнаем мы из другого донесения королю пронырливого резидента, прибыли промышлять о мире с Польшей и воевода Ордин-Нащокин вместе со своим родственником Богданом Нащокиным и дьяком Григорием Карповым. Это и был Григорий Карпович Котошихин. Переговоры о мире начались, но поляки были неуступчивы. Надеясь сделать их более податливыми, князь Черкасский с тридцатитысячным войском перешел в наступление, но был отброшен с большими потерями и после этого отозван в Москву. Его сменил пользовавшийся большим расположением царя князь Юрий Алексеевич Долгорукий, тоже, однако, не добившийся успеха. Пытаясь переложить вину за свою неудачу на своего предшественника, Долгорукий подослал гонца к Котошихину с требованием сочинить изветное письмо, обвиняющее князя Черкасского в том, что он якобы «сгубил царское войско». За это влиятельный князь обещал подьячему повышение в должности и возвращение имущества, забранного в казну за долги отца.

Но Котошихин не захотел оговаривать своего бывшего начальника. Опасаясь отказом навлечь на себя гнев нового воеводы, он предпочел бежать в Польшу.

Так объяснял он сам в первом прошении на имя шведского короля Карла XI причину своего бегства из России. Уверяя короля в другом письме в своем давнишнем желании ему послужить, Котошихин просил о предоставлении ему убежища и работы в Швеции.

Но в прошениях к шведскому королю Котошихин умалчивал, что до этого он уже обращался с такой же просьбой к королю польскому. Шведский же резидент Эберс мог только донести своему хозяину, что оказавший ему ценные услуги тайный корреспондент так и не вернулся.

Не имея точных сведений о судьбе Котошихина и не называя его имени, Эберс лишь осторожно извещал короля о том, что на сторону поляков передался один русский писарь со многими секретными бумагами, касающимися трактатов.

Существенный пробел в изучении биографии изменника, пытавшегося представить себя страдальцем за правду, был восполнен после еще одной неожиданной находки. Она стала возможной лишь с возвращением в Россию остатков похищенного поляками в начале XVII века царского архива. Изучая его содержимое, управляющий Главным архивом министерства иностранных дел князь Оболенский обнаружил в 1842 году среди бумаг литовского канцлера Христофора Паца старательно написанное двести лет назад аккуратным канцелярским почерком прошение на имя современника Алексея Михайловича — польского короля Яна Казимира. Оно заканчивалось знакомой кудреватой подписью Григория Котошихина.

Из текста этого прошения было видно, что польский король уже успел назначить перебежчику высокое жалованье — сто рублей в год, в три раза больше, чем он получал в Москве, и приказал ему всегда «быть при его милости канцлере литовском».

Котошихин же упрашивал «наияснейшего государя», чтобы он оставил его при своей персоне до конца его жизни и обещал в скором времени показать добрую службу. Он намекал, что может давать королю полезные советы, от которых даже «к способу в войне будет годность», если только его будут держать в курсе всего, что делается на границах, а также если ему будет известно, «что делается на Москве и меж Москвою и шведами, также и на Украине и меж татарами». Эту свою просьбу Котошихин подкреплял увереньем, что, служа в Москве в Посольском приказе, он крепко дознался к тем «вестовым делам».

Перебежчик выражал готовность поделиться с королем и своими познаниями, и даже изобретениями в военном деле. Он просил для этого только обеспечить его землемерными чертежами пограничных районов и дать плотников и кузнецов для изготовления таких рогаток, «что они будут к пехоте годны лучше и легче московских». Другой умысел его заключался в создании инструментов — «чем разрывать московские рогатки». В помощники себе он предлагал назначить одного знакомого ему поручика, перебежавшего на сторону Литвы, — такого же, как и он сам, «предавчика».

Прошение заканчивалось дерзкой припиской. Жалуясь, что до сих пор не был допущен «дойти к королевскому величеству поклонитца», Котошихин ходатайствовал о разрешении ему свободного доступа к королю.

Неизвестно, оттолкнула ли короля чрезмерная угодливость перебежчика или показалась подозрительной его настойчивость, перестал ли он нуждаться в услугах воинственного советчика в связи с изменением внутренней и внешней обстановки, складывавшейся в тот момент неблагоприятно для Польши, только Ян-Казимир отнесся прохладно к просьбам предприимчивого перебежчика и его начинаний не поддержал.

Котошихину ничего другого не оставалось, как уехать из Польши в Пруссию, а оттуда в вольный немецкий портовый город Любек, откуда нетрудно было морским путем пробраться в любую страну. Тут он случайно встретил бывавшего в Москве иностранца Иоанна фон Горна, тайного посредника царя Алексея Михайловича.

Не зная ничего об измене Котошихина, фон Горн попросил его, как подьячего Посольского приказа, переслать царю секретное сообщение, что он, фон Горн, собирается направить в Москву одного полковника, якобы хорошо осведомленного о военных планах шведского короля.

Эта встреча, вероятно, окончательно определила дальнейший маршрут беглеца, так как сведения о ней оказались не в русских, а в шведских архивах. Воспользовавшись доверчивостью фон Горна, Котошихин решил сообщить о его намерениях, конечно, не Алексею Михайловичу, а как раз тому, против кого они были направлены, — шведскому королю, и таким путем завоевать расположение последнего. Впрочем, для поездки в Швецию у него были и другие причины.

Сев на попутный корабль, «предавчик» отправился в Нарву. В те времена этот прибалтийский город был резиденцией шведского генерал-губернатора Ингерманландии[1] Якова Таубе.

Дальнейший путь Котошихина прослежен по документам шведских архивов уже не профессором Соловьевым и шведским ученым профессором Иэрне, а другим иностранным исследователем — преподавателем того же гельсингфорского университета Готлундом. Это он нашел два подлинных обращения перебежчика к шведскому королю и государственному совету Швеции и раскопал ценные сведения о последнем этапе его жизни, совершенно неизвестные до того.

В Нарве Котошихин, оказывается, встретил еще одного знакомца — принявшего шведское подданство жуликоватого купца Кузьму Овчинникова, через которого он и передал генерал-губернатору свое прошение на имя шведского короля.

В предисловии к своему переводу сочинения Котошихина Боргхузен пытался представить его чуть ли не несчастной жертвой царившего в России произвола. Но приведенные им же выдержки из прошения перебежчика говорят о другом.

---

[1] Ингерманландия (Ингрия, или Ижорская земля)— область по берегам Невы и по побережью Финского залива, входившая в состав Московского государства. С 1583 по 1595 и с 1609 по 1702 год она находилась под властью Швеции.

Подобострастно величая малолетнего шведского короля «великомощным славным государем», Котошихин, только что предлагавший свои услуги польскому королю, уверял Карла XI, что желание послужить его королевскому величеству зародилось у него, Григория, еще во время его поездки в Стокгольм с царским письмом.

Поэтому, сбрасывая маску страдальца, беглец признавался, что он еще тогда, вернувшись в Москву, начал служить верой и правдой комиссару его величества Эберсу.

В подтверждение того, что именно он был тайным корреспондентом Эберса, доставившим шведскому резиденту текст царской инструкции русским послам, Котошихин даже сообщил королю, какое вознаграждение было им получено: «За это комиссар подарил мне сорок рублей». Своей бесстыдной откровенностью он, вероятно, оказал плохую услугу шведскому резиденту. Сам Эберс, как стало известно из найденной профессором Иэрне его секретной переписки, уведомлял короля, что приобретение инструкции обошлось ему в сто червонцев. Разницу этот ловкий делец, очевидно, положил в свой карман.

Получив прошение Котошихина, ингерманландский губернатор Яков Таубе сразу вспомнил, что встречал его в Стокгольме как раз тогда, когда будущий перебежчик привозил королю царскую грамоту. Ходатайство его он немедленно препроводил королю. Одновременно Таубе и сам доложил Карлу XI о тайном прибытии русского канцелярского писаря, якобы захваченного поляками и бежавшего из плена. Эта версия сначала была пущена в ход Котошихиным, стремившимся набить себе цену.

Ответ из Стокгольма еще не был получен, когда к шведскому генерал-губернатору в Нарву неожиданно прибыл еще один русский гость — стрелецкий капитан Иван Репнин, вручивший грамоту от новгородского воеводы. Князь Василий Григорьевич Ромодановский извещал своего шведского соседа, что ему стало известно о появлении в Нарве на королевской стороне подданного царского величества Григория Котошихина, учинившего измену царю и предавшегося польскому королю.

Ссылаясь на Кардисский договор, воевода напоминал губернатору, что это соглашение обязывает обе стороны выдавать беглых и пленных. Поэтому он требовал «вышереченного изменника и писца Гришку прислать с конвоем ко мне в Великий Новгород».

Шведский генерал-губернатор не стал отрицать присутствия Котошихина в Нарве, но решил представить его поведение совсем в ином свете. В ответном послании новгородскому воеводе он уверял, что «беглец прибыл сюда в Нарву гол и наг, так что обе ноги его от холода опухли и были озноблены, и объявил, что желает ехать назад к своему государю, но по своему убожеству и наготе никуда пуститься не может».

Сохраняя позу доброжелательного соседа, ничуть не заинтересованного в дальнейшем пребывании Котошихина в его владениях, Таубе оповещал князя Ромодановского, что во внимание к великой дружбе, заключенной между великомощным шведским королем и русским великим государем, а также и потому, что он «реченно-

го канцеляриста у короля видел в Стокгольме в качестве посланца», приказал он дать Котошихину платье и пять риксдалеров «для продолжения обратного пути к царскому величеству». Письмо кончалось предупредительным уверением, что уже отдан приказ немедленно разыскать Котошихина, внезапно куда-то исчезнувшего. Таубе даже предлагал прибывшему с грамотой новгородского воеводы стрелецкому капитану Реннину выделить одного из сопровождавших его стрельцов для участия в поисках.

Но поиски эти, как и следовало ожидать, оказались безрезультатными. Хозяин дома, приютивший Котошихина, показал, что его жилец отъехал несколько дней назад в Псков к тамошнему воеводе и своему бывшему начальнику Ордину-Нащокину.

А перебежчик в это время, облачившись в пожалованный ему шведским генерал-губернатором новый кафтан с позвякивавшими в карманах риксдалерами, продолжал строчить прошение за прошением, скрываясь неизвестно где.

Котошихин умолял короля дать ему какую-нибудь должность и услать его «подалее от отечества». В то же время он упрашивал короля в случае, если последний не захочет воспользоваться его услугами, держать это письмо в строгой тайне, чтобы он мог «безопасно ехать в Москву».

Щеголяя своей осведомленностью, перебежчик воспользовался случаем предостеречь короля о коварных намерениях своего бывшего начальника Ордина-Нащокина, пожалованного царем в думные дьяки за то, что он «против шведского короля стоял смелым сердцем». По словам Котошихина, Нащокин хлопотал теперь в Андрусове о восстановлении мира с Польшей с единственной целью опять начать войну против шведов.

Опасения перебежчика, что шведское правительство может пренебречь его услугами, однако, не оправдалось.

Заключенный в Кардиссе мир со Швецией вовсе не был таким прочным. Пользуясь тем, что Россия еще продолжала воевать с Польшей, шведы могли в любой момент попытаться вернуть потерянные ими земли, и в этом случае «знакомый с тайнами московского государства» угодливый подьячий мог им весьма пригодиться.

Фактически управлявший страной до совершеннолетия короля шведский государственный совет заслушал прошение Котошихина и «признал за благо» доставить его в Стокгольм, чтобы на месте удостовериться, «каков он в своем деле».

24 ноября 1665 года малолетний Карл XI подписал специальный указ камер-коллегии «о некоем русском Грегоре Котосикни», гласивший: «Поелику до сведения нашего дошло, что этот человек хорошо знает русское государство, служил в канцелярии великого князя и изъявил готовность делать нам разные полезные сообщения, мы решили всемилостивейше пожаловать этому русскому двести риксдалеров серебром». Одновременно нарвскому генерал-губернатору было послано извещение об отданном советом распоряжении принять Котошихина на королевскую службу.

Где же был в это время сам Котошихин, по словам шведского генерал-губернатора Таубе якобы вернувшийся во Псков к своему бывшему начальнику Ордину-Нащокину?

Как и следовало ожидать, он и не думал никуда уезжать, а был спрятан в надежном убежище, где его действительно нелегко было найти.

Письмо ингерманландского генерал-губернатора Таубе шведскому королю от 20 января 1666 года открывает этот секрет:

«Поелику реченного писца, которому я запретил показываться, — писал генерал-губернатор, — видели и знают другие пребывающие здесь русские, то господин цехмейстер посоветовал мне велеть открыто схватить его и посадить в тюрьму, а потом выпустить, как будто он по оплошности сторожей бежал...»

Новгородский воевода князь Ромодановский дал себя обмануть, а Таубе поспешно заметал следы.

«...Чтоб не было никакого неудовольствия за то, что он здесь находится, — докладывал он в том же письме, — и не был, как того требовали, схвачен и выдан, посылаю его с курьером в Стокгольм, а воеводе написал, что по оплошности сторожей хитростью освободился, но что я приказал тщательно искать его и, если он будет пойман, выдать».

В приведенном письме имя подьячего Посольского приказа Григория Карповича Котошихина было упомянуто в последний раз. С этого момента он опять исчез. Судя по хранящимся в Стокгольмском архиве документам, перебежчик прибыл в шведскую столицу под именем Иоганна Александра Селецкого.

28 марта король Карл XI известил камер-коллегию о пожаловании поступившему на шведскую службу и обязавшемуся быть нашим верноподданным бывшему русскому писцу Иоганну Александровичу Селецкому 150 далеров серебром «на прокормление и содержание, а также на обзаведение в здешнем краю».

Осенью того же года последовал еще один королевский указ о назначении прибывшему сюда прошлой зимой из Нарвы русскому 300 далеров серебром в год жалованья, «поелику он нужен нам ради своих сведений о Русском государстве».

Щедрость короля вызвала у облагодетельствованного предателя слезы умиления. Новоиспеченный шведский чиновник обратился со вторым благодарственным письмом «к всемощнейшему и высокорожденному государю Карлусу».

Льстиво перечисляя все его титулы, он не забыл, конечно, назвать короля и «арцухом» — герцогом лифляндским, так как хорошо помнил, что отсутствие этого титула в царских грамотах всегда выводило из себя шведских вельмож. Письмо кончалось обещанием служить королевскому величеству «до смерти своей без измены» и было подписано инициалами «Г. К. К.» и, кроме того, полным именем, но латинскими буквами: «Иоганн Александр Селецкий».

Назначив Котошихину приличное жалованье, шведское правительство, однако, не торопилось загружать его работой. Это заставило его подать еще одну челобитную — уже в государственный совет, начинавшуюся обращением: «К добророжденным и высокопочтенным государям, господам государственным думным правителям и владетелям». «Живу четвертую неделю, — жаловался Котошихин, — а его королевского величества очей не видел, так и у ваших милостей не был и поклонения своего не отдал...» Напоминая, что он живет «в Стеколне без дела» и «даром испроедается», Котошихин настаивал, чтобы ему «какая служба была учинена», просил учить его

«свейскому» языку и пожаловать казенную квартиру и харчи — «где жить и чем сыту быть».

В своем стремлении поскорее заслужить доверие новых хозяев «униженный раб и слуга», — так подписал Котошихин свою челобитную, — зашел так далеко, что заранее соглашался на любое наказание в случае, если бы он не оправдал оказанного ему доверия: «А ежели у меня какое писмо по-русски или каким иным языком на Русь или к русским людем сыщетца советная грамота, достоин смертной казни безо всякие пощады».

Котошихин не подозревал, как скоро будет выполнена и эта его просьба. Это случилось, конечно, не потому, что он изменил шведам. Навсегда порвавший со своей родиной отщепенец навлек на себя гнев своих новых хозяев совсем по другой причине.

«Достойный Селецкий имел несчастие неумышленно убить собственного своего хозяина, бывшего русским толмачом в Стокгольме, Даниила Анастазиуса, по самому ничтожному, пустяковому поводу»,— с сожалением сообщал лично знавший Котошихина Боргхузен в биографическом очерке о нем. Упомянув вскользь, что убийца поссорился с Анастазиусом, приревновавшим его к своей жене, Боргхузен затем добавляет: «...и он должен был вскоре сложить голову под секирой палача за таможенной заставой южного предместья».

Обнаруженные профессором Иэрне новые документы о Котошихине подтвердили, что Иоганн Александр Селецкий после зачисления в штат чиновником архива поселился в южном предместье Стокгольма у служившего там же переводчиком с русского языка Даниила Анастазиуса. По предложению государственного канцлера графа Магнуса Гавриила де ла Гарди Котошихин здесь-то и сочинял свое «Описание Московского государства».

Шведское правительство осталось весьма довольно его работой. Это подтверждается, в частности, тем, что рукописные копии с труда Котошихина, кроме королевского замка в Стокгольме, были впоследствии обнаружены профессором Соловьевым также и в библиотеке крупнейших шведских сановников: графа де ла Гарди, графа Браге и барона Риддерстольпе. Изменник, вероятно, дождался бы новых щедрых милостей, если бы его рука не потянулась к кинжалу.

О совершенном Котошихиным новом, на этот раз уже чисто уголовном преступлении подробно рассказывают документы, найденные профессором Иэрне в архиве стокгольмской ратуши.

10 сентября 1667 года в суд низшей инстанции южного предместья Стокгольма прибежала взволнованная молодая женщина, назвавшаяся вдовой Марией де Фаллентина, и, плача, сообщила, что ее жилец, русский канцелярский служитель Иоанн Александр Зелецкий (так она произносила фамилию «Селецкий»), еще две недели назад, придя домой пьяным, без всякого повода бросился на ее мужа, королевского переводчика Даниила Анастазиуса, и причинил ему кинжалом несколько ран, от которых он теперь скончался. Когда случилось несчастье, ее самой не было дома. Муж как раз ложился спать, он стоял в нижнем белье и в ночных туфлях. Пьяный жилец вошел в спальню, схватил за плечи, ударил его ногой в живот и, повалив на сундук, нанес ему испанским кинжалом четыре удара.

«Так ты платишь за все сделанное для тебя добро», — успел только крикнуть раненый и стал звать на помощь. Прибежавшая на крик свояченица стала разнимать дерущихся, но Селецкий, отведя ее руку, ударил и ее кинжалом в грудь. «Неизвестно, останется ли она в живых», — всхлипнув, добавила вдова.

Совершив свое черное дело, убийца не пытался скрыться. Он только ходил взволнованно из угла в угол, пока прибежавшие стражники не увели его.

Допрошенный через переводчика Ганса Эстерина, Котошихин-Селецкий не отрицал совершенного им поступка, но не смог тут же объяснить его. Он просил разрешения представить свои показания в письменной форме через три дня.

Кроме показаний о совершенном Котошихиным убийстве, в архиве сохранилось еще одно прошение вдовы. Ссылаясь на свою бедность, она просила помочь ей получить с убийцы плату за стол, комнату и постельное белье, которыми он пользовался больше восьми месяцев, так как ей не на что похоронить мужа. «Все мои сбережения, — плакалась вдова, — ушли на содержание этого жильца, требовавшего, чтобы всего было вдоволь».

Суд южного предместья определил перенести дело в городской, где оно и слушалось 11 и 12 сентября 1667 года.

На первые заданные судьей вопросы — откуда прибыл обвиняемый, какого он звания и по какой причине умертвил своего хозяина и приятеля — Селецкий ответил, что прибыл он из России, звание его известно королю, а почему он убил своего хозяина, сказать не может, так как не доверяет переводчикам. Поскольку и убитый был толмачом, он не полагается на их беспристрастность. Котошихин снова просил разрешения представить свои показания в письменной форме.

Согласившись с доводами подсудимого, суд постановил приискать других переводчиков, которым он не мог бы дать отвода.

На следующий день подсудимого снова доставили в суд и спросили: успел ли он изложить свои показания в письменной форме или предпочитает с помощью хорошо знающих русский язык переводчиков Петра Гольцгузена и Олафа Боргхузена рассказать, как было дело?

Картина убийства в изложении самого Котошихина не вполне совпадала с показаниями жены Анастазиуса. Ссора между приятелями, по его словам, произошла именно из-за нее, и не один он, а оба были пьяны. С тех пор как в Стокгольм приехали русские купцы, у Анастазиуса, состоявшего при них переводчиком, завелись денежки, которые он часто пропивал. Жена была этим недовольна и из-за этого часто происходили семейные ссоры. В день убийства она ушла из дому, попросив Котошихина уговорить ее мужа бросить пить и помириться с ней. Это удалось. Анастазиус даже пошел вместе с ним покупать ей кольцо, но с полдороги вернулся. Селецкий отправился в гости к своему знакомому, капитану Свену Гэте, и у него подвыпил. Придя домой, он заметил, что и Анастазиус успел где-то напиться и собирался ложиться спать.

Увидев Селецкого, Анастазиус стал ругать его зазорными словами и прогонять из дому.

Селецкий сначала принял его слова за шутку, но когда Анастазиус объявил, что не думает шутить, Селецкий ударил его и между ними завязалась драка.

Стараясь освободиться от схватившего его за горло Анастазиуса, Селецкий нанес обидчику несколько ударов кинжалом.

Когда судья спросил, признает ли подсудимый, что убил Анастазиуса, Селецкий не стал этого отрицать и заявил, что хорошо знает, какая кара ждет его по шведским законам. Как бы велика ни была его вина, добавил подсудимый, она, однако, будет искуплена его смертью.

Посовещавшись, суд вынес приговор: «Поелику русский подьячий Иван Александр Селецкий, называющий себя также Григорием Карповичем Котошихиным, сознался в том, что он 25 августа в пьяном виде заколол несколькими ударами кинжала своего хозяина Даниила Анастазиуса (после того как получил от него пощечину), вследствие чего Анастазиус спустя две недели умер, суд не может его пощадить и на основании божеских и шведских законов присуждает его к смерти. Вместе с тем суд передает это свое решение на усмотрение высшего королевского придворного суда».

Несмотря на все приложенные профессором Иэрне усилия, ему не удалось найти в архиве решения этого суда по делу Котошихина. Выяснилось, что оно сгорело во время пожара.

Однако из протоколов заседания государственного совета от 21 октября 1667 года видно, что смертный приговор был утвержден.

Генерал-губернатор Стокгольма оберштатгальтер Аксель Спарре задал на этом заседании вопрос: когда будет казнен русский канцелярист? Ответ последовал: в среду.

Государственный канцлер граф де ла Гарди спросил: где будет анатомировано тело казненного, в Стокгольме или в Упсале? Аксель Спарре высказал мнение, что это должен сделать в Стокгольме только что прибывший туда из Упсалы знаменитый шведский хирург Олаф Рудбек. Против этого возразил член государственного совета Петр Браге, опасавшийся нежелательных откликов в России. Ему и так уже пришлось вести неприятные разговоры с только что прибывшим русским послом Иваном Леонтьевым, узнавшим наконец, где скрывается Котошихин, и настойчиво требовавшим его выдачи. Браге отклонил это требование под тем предлогом, что, поскольку Котошихин совершил последнее преступление в Швеции, он здесь же и должен быть наказан.

В связи с возникшими на заседании совета разногласиями по вопросу об анатомировании тела Котошихина не было принято никаких решений. На следующий день, однако, при вторичном обсуждении этого вопроса, Браге объявил, что, если русский посол пожелает, ему будет предоставлена возможность удостовериться в том, что приговор приведен в исполнение.

Последние известия о судьбе беглого подьячего Посольского приказа сохранились в приходо-расходной книге уже не этого приказа, а стокгольмской канцелярской коллегии за 1667 год. В ней отмечено, что в связи с казнью Селецкого причитающееся ему жалованье поступило в доход казны. Эта же канцелярская коллегия вынесла 8 ноября 1667 года решение о назначении вдове убитого толмача Анастазиуса ежегодного пособия.

ПЕРЕХВАЧЕННАЯ ГРАМОТА

ЦАРЬ и патриарх, каждый на свой лад, старались укрепить свою власть. Но, добившись успеха с помощью энергичных реформ, одобренных царем, патриарх Никон использовал укрепление церкви в своих интересах. Духовную власть он захотел поставить над светской. Убежденный в божественной сущности царской власти, Алексей Михайлович не мог с этим примириться.

В результате столкновения двух честолюбцев и стоявших за ними сил и возникло «дело Никона», много раз расследовавшееся специальными комиссиями и даже двумя церковными соборами.

Тайные тревоги и опасения, вызванные этим конфликтом, побуждали царя неусыпно следить за каждым шагом своенравного и опасного противника. Это подтверждается частым упоминанием в «Черной книге» имени патриарха, а после его низложения — просто «монаха Никона». Важнейшие секретные документы о деле Никона были найдены среди бумаг именно этого приказа в тех самых тридцати шести «коробьях», сундуках и мешках, которые долго оставались неразобранными после его упразднения и рассылки большей части архива по другим учреждениям.

Остатки архива с этими документами о Никоне, сложенные бывшим тайным дьяком Дементием Башмаковым в кладовых Печатного приказа, были впоследствии переданы в ближнюю походную канцелярию Петра I. А личные грамоты царя к патриарху Никону тот же Башмаков после смерти Алексея Михайловича взнес «наверх», во дворец, в одном из киндячных мешков с семейной перепиской умершего. Некоторые из них были написаны еще в ту пору, когда молодой царь называл Никона своим «собинным», то есть особенным, другом и, «прислоняся к земле», на коленях умолял его принять патриарший сан, даже сам настаивал на том, чтобы Никон наравне с ним именовался «великим государем».

Ценные документы о деле Никона оказались в архиве Приказа тайных дел не только потому, что он был для них наиболее надежным хранилищем. Из частично уцелевшей секретной переписки видно, что именно этот приказ вел слежку за Никоном.

После удаления Никона из Москвы к нему в монастырь не раз приезжал тайный дьяк Дементий Башмаков и другие царские посланцы с разными поручениями от Алексея Михайловича, упорно избегавшего личной встречи с бывшим патриархом. Они добивались у Никона ответа на поставленные царем вопросы, расследовали его жалобы и поступавшие на него доносы. Но независимо от этих посещений, носивших официальный характер, Приказ тайных дел бдительно наблюдал за частной жизнью бывшего патриарха и его усилиями наладить связь с внешним миром и со своими единомышленниками за пределами монастырских стен. Чьи бы то ни было попытки связаться с Никоном приказ пресекал всеми доступными ему средствами. Отказавшись после ссоры с царем выполнять обязанности патриарха, Никон в то же время не признавал за Алексеем Михайловичем права лишать его этого звания. Он не признавал и решений созванного царем церковного собора, принятых без

участия вселенских патриархов. Побудить же четырех восточных патриархов — иерусалимского, константинопольского, антиохийского и александрийского — приехать в Москву для участия в суде над Никоном было даже для царя нелегким делом. Их поездке в далекую Московию мешали многие причины: частые вспышки войн и междоусобиц в районах, через которые им бы пришлось проезжать, трудности пути, слабое здоровье и преклонный возраст старцев и, наконец, боязнь потерять свой высокий пост — длительная отлучка без разрешения султана, подданными которого они числились, могла привести к серьезным осложнениям. Кроме того, царь совсем не был уверен, что в его споре с Никоном чужеземные архиерархи обязательно встанут на его сторону. Нелегко было также найти подходящего человека для выполнения сложного поручения: тайно, не возбудив ничьих подозрений, пробраться сквозь все кордоны в далекие восточные страны, вручить патриархам приглашение и подарки царя и привезти их ответ.

Выбор Алексея Михайловича пал на одного смышленого грека, рекомендованного ему гостившим в Москве газским митрополитом Паисием Лигаридом. Черный иеродьякон Мелетий, по его словам, был ученейшим и достойнейшим мужем. По сведениям же, исходившим от бывшего патриарха Никона, он был коварным льстецом и пройдохой, умевшим «на все руки подписываться» и даже печати подделывать. Это предостережение, однако, не было принято во внимание царем. Ведь Никон мог так отзываться о Мелетии хотя бы уже потому, что покровителем грека был заклятый враг патриарха — Паисий Лигарид.

Несмотря на то что царский избранник, несомненно, обладал многими полезными качествами, и прежде всего пронырливостью, первая его поездка на Восток была не совсем удачной.

Благополучно добравшись до Константинополя с царскими письмами и дарами, иеродьякон Мелетий сумел вручить их только одному из адресатов — архиепископу константинопольскому, Нового Рима и вселенскому патриарху Дионисию. Правда, с его помощью ему удалось получить ответное послание за подписью всех остальных: папы и патриарха великого града Александрии Паисия, патриарха великого божия града Антиохии и всего Востока Макария и патриарха святого града Иерусалима и всей Палестины Нектария.

На обратном пути черному иеродьякону пришлось, однако, проезжать мимо казачьего города Черкасы, занятого полками изменившего царю запорожского гетмана Тетери. Мелетий слышал, что Тетеря поддерживал сношения с бывшим патриархом Никоном и получил от него указание выставить заставы и задержать царского посланца. Поэтому киевский воевода Иван Чаадаев попросил другого запорожского гетмана, еще хранившего в то время верность царю, Ивана Брюховецкого, принять меры «для бережения Мелетия» и проводить его за Днепр. Но как раз эти, присланные Брюховецким для охраны Мелетия, верные царю казаки и ограбили его. Они забрали у запасливого иеродьякона не только все приобретенные им на Востоке личные вещи, еле уместившиеся на шести больших возах, но даже и то, что принадлежало самому царю: подарки и письма восточных патриархов.

Пропажа этих писем очень встревожила Алексея Михайловича: а вдруг содержание их станет известно Никону?

Одному из самых расторопных подьячих Приказа тайных дел Порфирию Оловеникову было дано срочное предписание: выехать навстречу иеродьякону и разузнать, сколько пограблено у него в Черкасах патриарших подарков, писем и его личной «рухляди». Царь хотел потребовать от запорожского гетмана немедленных розысков и возвращения похищенного согласно представленной иеродьяконом подробной росписи. Эта роспись тоже нашлась впоследствии в архиве Приказа тайных дел при донесении Оловеникова.

Разыскать похищенное было нелегко, так как казачки успели поделиться своей добычей с самим гетманом, и он решил их не выдавать. Мелетию удалось получить обратно только одну золотую чернильницу, украшенную яхонтами и изумрудами, две бархатные подушки, несколько недорогих позолоченных кинжалов и четыре патриарших письма. Все остальные вещи, объявил гетман, были тоже найдены и отобраны у казаков и затем спрятаны в церкви. Но церковь эта, оправдывался гетман, да не прогневается государь, сгорела.

Алексей Михайлович был доволен уже тем, что ему удалось разыскать хоть часть похищенных грамот, в том числе два длинных пергаменных свитка, подписанных всеми четырьмя патриархами. Задобренные щедрыми подарками архипастыри давали в них недвусмысленный ответ на затрагивавший самолюбие царя спорный вопрос о границах власти царской и патриаршей. Царскую власть они объявляли беспредельной, а патриаршью — ограниченной.

Пространные послания восточных патриархов, подкрепленные многочисленными выдержками из священных книг, все же не вполне удовлетворили царя по двум причинам. Излагая свои доводы в письменной форме, патриархи явно уклонялись от поездки в Москву и от участия в церковном суде над Никоном. С этим можно было бы еще примириться, если бы это письменное свидетельство не вызвало сомнений в его подлинности.

Эти подозрения заронил прибывший в Москву и назвавшийся племянником одного из патриархов иконийский митрополит Афанасий. Он признал подлинной подпись только своего дяди, константинопольского архимандрита Дионисия. Обо всех же остальных сказал, что это «подписи не их рук». Мелетию было трудно это опровергнуть, так как он лично виделся только с Дионисием.

Алексей Михайлович решил снарядить к патриархам новое посольство, на этот раз при участии и под наблюдением успешно справившегося с предыдущим заданием подьячего Приказа тайных дел Порфирия Оловеникова. С ним должны были ехать еще два грека: все тот же иеродьякон Мелетий и также выдававший себя за племянника константинопольского патриарха, наперсник двуличного газского митрополита Паисия Лигарида Стефан Юрьев.

Царским посланцам были вручены новые грамоты к трем патриархам — константинопольскому, антиохийскому и иерусалимскому. О последнем имелись сведения, что он уже пробирается в Москву «тайным обычаем», скрывая цель своего путешествия от турецкого султана.

В маленькой деревушке Арнитохори, близ Тырнова, два царских посланца Порфирий Оловеников и Стефан Юрьев действительно нашли задержавшегося в пути иерусалимского патриарха Нектария. Осторожный старец назначил им свидание

в два часа ночи и поспешил им сообщить, что он сам уже пытался установить связь с царем через посредство отправившегося в Москву грека Дмитрия Кувиди, но этот грек в пути подвергся ограблению и вынужден был сжечь адресованные царю письма.

Остерегаясь ехать дальше через занятые польскими частями и татарами районы, Нектарий письменно подтвердил подлинность отосланных с иеродьяконом Мелетием свитков, а также свое обещание в самом скором времени прибыть в Москву. Едва лишь Оловеников тронулся с этим письмом в обратный путь, иерусалимский патриарх, вопреки своему уверению, что он «к великому государю в Москву пойдет, хотя бы случилось ему умереть», вернулся в Константинополь. Объяснение этому поступку нашлось в новых посланиях, отправленных им с торговым человеком греком Савелием Дмитриевым. В одном из них он советовал царю помириться с Никоном, в другом, обращенном к Никону, увещевал упрямца тоже пойти на уступки.

Письма эти, как и посланные с Мелетием, чуть было не попали в чужие руки. По дороге в Москву в Торговицах посланца патриарха задержали те же казачьи патрули изменника Тетери. Савелий Дмитриев оказался, однако, предусмотрительнее своих предшественников. Он успел закопать эти письма в землю и, как только казаки его отпустили, сообщил об этом киевскому воеводе. В Торговицы был послан преданный воеводе «черкашенин»[1], сумевший их разыскать.

Получив эти письма, Алексей Михайлович был удивлен и разочарован непостоянством Нектария и заподозрил Савелия Дмитриева в том, что он помог иерусалимскому патриарху установить связь с Никоном. Только что высвободившийся из рук казаков изменника Тетери греческий купец был снова взят под стражу—теперь уже царскими стрельцами.

Тем временем расставшиеся с Оловениковым в Молдавии греки Стефан Юрьев и иеродьякон Мелетий успели добраться до других патриархов. Константинопольский патриарх Дионисий, так же как и Нектарий, в душе сочувствовал Никону. Под благовидным предлогом и он уклонился от царского приглашения. Передавший ему это приглашение Стефан Юрьев вынужден был удовлетвориться подтверждением подлинности посланных ранее с Мелетием свитков. Кроме того, он привез царю еще две грамоты. В одной из них, «тайной из тайнейших», патриарх утверждал, что сеятель сомнений митрополит Афанасий сам лицо сомнительное и вовсе не является его племянником. В другой он назначал своим наместником в Москве «богоразумного и рассудительного» митрополита газского Паисия Лигарида. Но, как позже выяснилось, как раз эта грамота оказалась фальшивкой. Ее подделали, по-видимому, преданные друзья Лигарида—мастер на все руки черный иеродьякон Мелетий вместе со своим спутником Стефаном Юрьевым.

Но Мелетий еще раз показал свою изворотливость. Он доносил в Приказ тайных дел на имя царя, что он «поехал сам промыслять, как ты, великий государь, меня научил», и добился успеха. Польстившийся на его посулы александрийский патриарх Паисий поддался уговорам и согласился отправиться вместе с ним в нелегкое путешествие: через Триполи и Дамаск, кратчайшим, но не безопасным морским путем,— их корабль, в самом деле, чуть было не стал добычей пиратов,— в турецкие города

[1] Черкасы — украинские казаки (в отличие от донских). Не смешивать с горскими черкесами адыгейских племен Северного Кавказа.

Эрзерум и Карс и оттуда в иверские земли. В столице Грузии Тбилиси должна была начаться вторая, не менее трудная часть путешествия по Кавказским горам, волжским перекатам, среднерусским степям и лесам. В Грузию же под предлогом «сбора милостыни» еще раньше выехал антиохийский патриарх Макарий. Пронырливый Мелетий сумел его там разыскать и подготовить встречу обоих патриархов в столице дружественного московскому царю Шемаханского ханства — Шемахе. Туда терской воевода Иван Ржевский должен был прислать наспех сколоченные, но богато украшенные коврами суда — бусу и сандал — для доставки обоих патриархов в волжское устье.

Узнав, что оба патриарха находятся уже в Грузии, царь стал нервничать: не ухитрится ли Никон теперь связаться с ними и не повернут ли и они тогда вспять под каким-нибудь предлогом по примеру Нектария? Воеводам всех областей, через которые пролегал их путь, были посланы указания: немедленно доносить в Приказ тайных дел об их появлении. В то же время из Москвы навстречу патриархам один за другим мчались царские посланцы.

Еще в начале 1666 года в Астрахань прискакали подьячие Приказа тайных дел Еремей Полянский и Иов Ветошкин. «А для каких твоих, великого государя, дел они посланы,— спешил уведомить царя астраханский воевода боярин князь Одоевский,— и про те дела велено им мне, холопу твоему, объявить тайно».

Подьячие же эти при отъезде из Москвы получили такой наказ: выдавая себя за скупщиков растений и семян для дворцового сада, «одноконечно доведатца подлинно, идут ли патриархи к Москве...»

В астраханском краю было гораздо спокойнее, чем на Кавказе. Ведь в это время он входил уже в состав Московского государства. Зачем же понадобилось царским посланцам на своей земле маскироваться под скупщиков растений?

Наряду с заданием проведать, когда и где можно чаять прибытия приглашенных царем почетных гостей, именно этим разведчикам Приказа тайных дел было поручено разузнать, не успел ли уже патриарх Никон подослать к восточным архипастырям своих лазутчиков. Прикинувшись садоводами, царские разведчики могли бы их поймать.

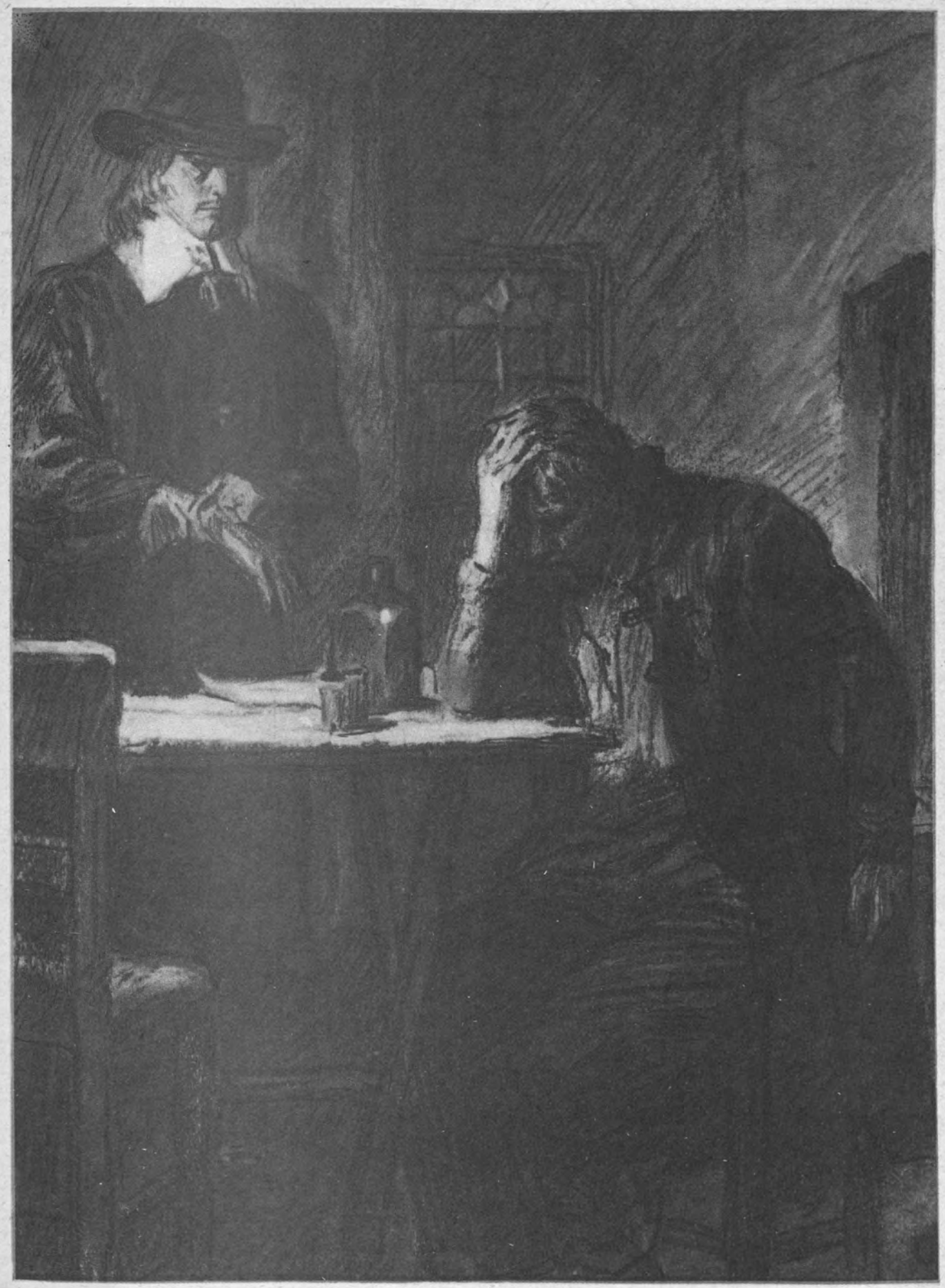
Во что бы то ни стало помешать патриархам связаться с Никоном — об этом теперь беспокоился царь не меньше, чем об их безопасности и благополучном прибытии в Москву. Эти же опасения царя Алексея Михайловича, как видно из многих сохранившихся документов, и определили выбор предложенного им маршрута.

Патриархи прибыли в Грузию в конце 1665 года, в зимнее время, когда нельзя было ехать дальше ни сухим путем, ни морем, и один из них, Паисий, действительно начал колебаться, не повернуть ли ему обратно.

«Аз с великим молением и со слезами упросил его...» — доносил в Приказ тайных дел «пресмиренный богомолец его царского пресветлого величества» иеродьякон Мелетий.

Уехавшие тайком от турецкого султана восточные патриархи стремились скорее попасть в Москву. Выполнив все, что от них требовалось, и получив щедрую награду за понесенные труды, они хотели в кратчайший срок вернуться обратно, пока турецкие власти не успели заметить их отсутствия.

Эта встреча окончательно определила дальнейший маршрут Котошихина.



Но Алексей Михайлович дал указание воеводам везти патриархов по Волге длиннейшим речным путем. Если Никон сумел послать им навстречу своих людей, рассуждал царь, они вряд ли смогут пробраться на плывущие по реке корабли.

В Астрахани к патриархам присоединился местный архиепископ Иосиф, получивший от самого царя строгий наказ: «во всем бы тебе быти опасну и бережну», да и сопровождающим его «духовного чину и мирским людям приказать накрепко, чтоб они с патриаршими людьми были опасны».

Плыть дальше по Волге на стругах пришлось против течения, а тут еще задули встречные ветры, и это сильно замедляло продвижение. Короткий отрезок пути от Астрахани до Черного Яра занял целых девятнадцать суток. Только когда начавшие терять терпение патриархи взмолились и послали из Черного Яра просьбу самому царю «для поспешения их приезда» позволить им следовать от Саратова сухим путем, такое разрешение было им наконец дано, но одновременно были усилены и меры предосторожности.

За сто верст до Саратова патриархов встретили присланные из Москвы в качестве «приставов» стрелецкие полуголовы Борис Пазухин и Лука Изъединов, а в самом Саратове к ним присоединилось особо доверенное лицо — все тот же проворный царский соглядатай, «нашего царского величества,— так был он представлен во врученной патриархам грамоте, — ближних тайных дел писарь Порфирий Оловеников».

Относительно же стрелецких полуголов царь сообщил патриархам через Мелетия, что «присланы люди добрые» и что они «для того к ним, патриархам, и посланы, что будут оберегать их здравия и во всем учнут их покоить во всем их пути».

На самом же деле, как видно из составленной в Тайном приказе и поправленной лично царем инструкции, «для того, чтоб они смотрели и берегли накрепко, чтоб к патриархам ни от кого, ни с какими письмами никто не подъезжал, так же бы и от них, патриархов, ни к кому никаких писем к посылке не было». Тайные инструкции от царя получил и сопровождавший обоих патриархов черный иеродьякон Мелетий. Милостиво похвалив его «за радение и многое терпение, что будучи в путном шествии нам, великому государю, работал и всякую нужду и утеснение терпел» и обнадежив корыстолюбивого грека не оставить его усилия без вознаграждения, царь уточняет в нескольких тайно переданных Мелетию грамотах, какие еще новые секретные услуги от него требуются. Оказывается, Алексею Михайловичу «ведомо учинилось», что «от бывшего патриарха Никона ко вселенским патриархам выехал навстречу грек или будет татарской породы или из русских людей с грамотою».

«... И тебе б, — пишет он снискавшему его доверие черному иеродьякону,— одноконечно того смотрить и беречь накрепко, чтоб того человека до вселенских патриархов не допустить и поймав ево с тою бывшего Никона патриарха грамотою прислать к нам, великому государю, к Москве, с кем пригоже, в Приказ наших тайных дел».

«Преблаженнейшие и всечестнейшие патриархи» сошли со стругов и стали грузиться на подводы не в Саратове, как сначала предполагалось, а в Симбирске. Но уже в Арзамасе их приветствовал на дороге еще один царский посланец—плывший им навстречу на струге, а потом также пересевший на коня стольник Петр Саввич

Хитрово. Официально ему было поручено передать архипастырям царскую милостыню — по двести золотых рублей на дорожные расходы и теплые рясы «для зимнего пути, чтоб не продрогли дорогой и никакой скудости не испытывали». Неофициально же царский стольник должен был выполнить еще одно весьма секретное и щекотливое поручение: связаться с все тем же готовым на любые услуги черным иеродьяконом Мелетием и с его помощью подкупить Павла Алеппского, сына антиохийского патриарха Макария, состоявшего в его свите в звании архидьякона. Сын должен был следить за своим отцом и проведывать накрепко, «чтоб к его отцу ни от кого, ни с каким письмом никто не подъезжал». Если же ему удастся узнать про какое-нибудь письмо, он должен был это письмо «до патриарха не допустить и взять к себе». На связанные с выполнением этого деликатного поручения расходы лично царем было отпущено сто червонцев. Из них тридцать молодой архидьякон должен был получить вперед, «будет от него впрямь в том чаять промыслу».

С помощью Мелетия стольнику Хитрово поручено было прощупать и еще одного архидьякона, родственника александрийского патриарха Паисия, также состоявшего в его свите, нельзя ли и его подкупить «тайным обычаем» и заставить следить за дядей.

В бумагах Приказа тайных дел не сохранилось никаких сведений, согласился ли хотя бы один из упомянутых в секретном наказе патриарших архидьяконов на это бесстыдное предложение. Но желание во что бы то ни стало поймать высланного Никоном навстречу патриархам «грека или человека русской, а, может быть, даже и татарской породы», видимо, не давало покоя царю.

Совсем недалеко от Москвы, во владимирском селе Судагде, патриархов приветствовал ближайший советник царя — полковник и «хилиарх» Артамон Сергеевич Матвеев. В переданной им патриархам грамоте он именовался «нашего царского величества верным человеком», посланным «ради вашего пречестного архиерейского достоинства надлежащий к нашему царствующему граду путь уготовить».

За пазухой же у полковника, так же как и у стольника Хитрово, был спрятан тайный наказ: «Да ему ж смотреть и беречь накрепко в городех и на станех, нет ли с ними, сверх тех людей, которые с ними отпущены из Астрахани и которых имена даны ему в росписи под наказом... И особенно «прибылых людей и подсылок от бывшего патриарха Никона...»

Артамон Матвеев обязан был также следить за тем, «чтоб хто к патриархам писем от них каких не поднес, остерегать того накрепко с большим опасением».

Даже если бы где-нибудь к патриархам подошли под благословенье «воеводы и приказные иных чинов знатные люди», и тех людей Артамон Матвеев должен был допускать к патриархам только в своем присутствии. «А без себя никому к патриархам ходить не велеть», — говорилось в тайном наказе.

Больше полугода добирались восточные патриархи из Грузии до Москвы, но благодаря принятым Приказом тайных дел чрезвычайным мерам в течение всего этого длинного пути они были ограждены от любых попыток со стороны их опального московского собрата изложить им свой взгляд на ссору с царем. Но предпринимал ли Никон такие попытки на самом деле? Не были ли все эти меры вызваны просто подозрительностью Алексея Михайловича? Какие основания были у него предпо-

лагать, что бывший глава православной церкви захочет установить связь с восточными патриархами с помощью иноверца, человека «татарской породы» (такое предположение было высказано царем в одной из его грамот к иеродиакону Мелетию)?

Среди архивных бумаг сохранилась памятка, выданная 4 марта того же 1664 года — еще до прибытия обоих патриархов в Грузию — сотнику московских стрельцов Василию Чадуеву.

«...Ехать ему от Москвы до Калуги и до Путивля и до черкасских первых городов и до Переславля для того: збежал без отпуску с Москвы черный дьякон Моисей, ростом невелик, татароват, борода невелика, черна, на речах голосом толст. И ему, Василью, про того дьякона проведовать тайно: давно ль и с какими людьми таков черный дьякон проехал?..»

Чадуев должен был «за тем дьяконом ехать наспех и где съедет и тут его и письма какие у него есть, взяв, ехать к Москве наспех, а дорогою везти его бережно, чтоб он не ушел и дурна какого над собой не учинил... а приехав в Москву, самому явиться и про дьякона сказать в Приказ великого государя тайных дел».

Беглец, которого сотнику Чадуеву действительно удалось поймать, оказался черным дьяконом Моисеем из московского Симонова монастыря. Как видно из показаний священника Никиты из того же монастыря, этот Моисей был знаком с греком, тоже черным дьяконом Агафангелом, служившим раньше у недоброжелателя Никона — газского митрополита Паисия. Сосланный по настоянию того же Паисия в далекий Соловецкий монастырь за разные неблаговидные дела, но потом прощенный Агафангел решил бежать в Грецию и подговорил своего приятеля, черного дьякона Моисея, отправиться вместе с ним.

Перед отъездом, показал поп Никита, они виделись с Никоном, снабдившим их деньгами и отпустившим их «от себя в Греки для своего дела». Отправка похожего на татарина гонца сорвалась, но, как видно из других уцелевших в архиве Приказа тайных дел документов, он был не единственным патриаршим посланцем.

Тот же самый лихой наездник, сотник Чадуев, в январе 1666 года был опять послан в погоню, когда в этот приказ поступили сведения, что бывший патриарх Никон воспользовался отъездом из Москвы являвшегося на поклон к царю запорожского гетмана Брюховецкого для отправки в составе его свиты нового гонца на Восток.

В ласковых, вкрадчивых выражениях составлена грамота царя, его «милостивое слово», посланное из Приказа тайных дел с этим сотником недавно оставившему Москву Брюховецкому.

«...Ведомо нам, великому государю, нашему царскому величеству учинилось, что бывший патриарх Никон подсылал к тебе, боярину нашему и гетману войска Запорожского, в то время как ты у нас, великого государя, у нашего царского величества, был в царствующем граде Москве, детину своего Федотка — а признаки у него: нос востр, лицо ямковато,—чтоб тому детине ехать с Москвы в малороссийские городы с тобою, боярином нашим и гетманом войска Запорожского, а из малороссийских городов отпустить бы ево к цареградскому патриарху».

Царь хвалил гетмана за то, что он, «памятуя нашу, великого государя, нашего царского величества, к себе милость», отказал патриарху Никону и «того детину с

Москвы в малороссийские города с собой не взял». Но, как видно из той же грамоты, предприимчивый Никон на этом не успокоился. «А после того, — сообщает верному своему слуге Алексей Михайлович, — он же, патриарх Никон, подослал того же детину к полковнику войска Запорожского, который на Москве был с тобою, а ему бы того детину провесть с Москвы с собою в малороссийские города тайно, а из малороссийских городов отпустить его к цареградскому патриарху с ево патриарховыми никоновыми письмами...» За эту услугу Никон якобы дал тому полковнику шестьсот рублей золотом.

Грамота кончается просьбой к гетману снова «службу свою и раденье показать»— «велеть того детину по признакам, которые описаны выше сего, и с патриарховыми писмами и полковника взять тотчас и прислать его к нам, великому государю, с тем, хто к тебе с сею нашею грамотою послан», то есть с сотником московских стрельцов Василием Чадуевым.

«А того полковника, у которого детина будет взят, — добавляет царь, — до нашего царского указу беречь накрепко».

Сотник Василий Чадуев уже скакал с этой грамотой к гетману, а сыщики из Приказа тайных дел все еще продолжали наводить в самой Москве справки о загадочном полковнике, увезшем присланного патриархом Никоном «детину». Им удалось установить его имя, и вслед за стрелецким сотником к гетману Брюховецкому помчался новый гонец — подьячий Иван Дорофеев.

«...И после того, Васильева, посылки, — писал царь во второй грамоте,— ведомо нам учинилось подлинно, что того детину Федотка патриарх Никон слал на Москве к черкашенину Кирилу Давыдовичу, василковцу. А тот де, Кирило, — торопился уточнить царь приметы беглецов, — леты стар, ростом невелик, а детина Федотка — ростом средней, тонковат, лицом беловат, в лице ж рябинки, ус пробивается, а назвал ево Кирило себе племянником, бутто он сыскал ево на Москве...»

Сообщая эти новые сведения гетману, царь повторял свои требования: тотчас же сыскать того черкашенина Кирилла и детину Федота и, допросив их обоих, «про все подлинно писать к нам, великому государю».

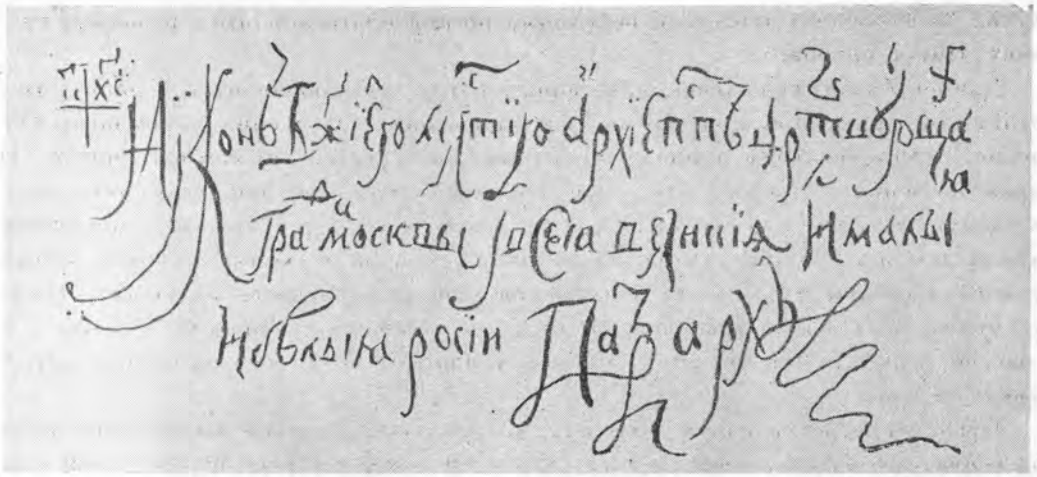
Алексея Михайловича особенно интересовали вопросы, у кого Кирилл «того детину на Москве взял, и что ему от проводу и от отпуску дано золотых, и хто давал, и в котором месте, и при ком, и хто про то ведал».

Вернувшийся 1 февраля 1666 года в Москву подьячий Иван Дорофеев доложил, что «съехал гетмана в городе Гадиче».

Чадуев же в своем донесении добавлял, что царскую грамоту он гетману подал и гетман ее вычел.

«...И в то число, — спешил обнадежить царя стрелецкий сотник, — говорил боярину и гетману писар ево Федор Михайлов, что он, писар, видел такого человека, о каком указ прислан, у черниговского посланца, у Кирила Давыдовича, и гетман послал для сыску казаков в Чернигов и Киев».

Об этом же поторопился доложить царю и сам гетман, подобострастно подписавшийся «Ивашка Брюховецкой, верный холоп и найнижний подножок пресветлого престола».



Подпись патриарха Никона.

В следующем донесении он, действительно, смог уже сообщить о поимке в городе Седневе Черниговского повету злочинца Кирилла и находившегося при нем юноши «со всеми через его от патриарха Никона писанными листами» и препровождении окованных «за сторожею» в Гадич.

Среди бумаг, относящихся к делу Никона, сохранился и краткий протокол допроса «детины», оказавшегося двоюродным племянником патриарха, Федотом Тимофеевичем Марисовым. Юноша этот показал, что родом он «курмышанин» и жил у Никона в Воскресенском монастыре «в детях боярских». Дня за четыре до отъезда из Москвы гетмана Брюховецкого патриарх Никон послал его со своим подьяком Иваном Шушерою на Иверское подворье. Там он встретился с черкашенином Кириллом Давыдовым. Шушера отдал черкашенину при Федотке две грамоты к цареградскому и иерусалимскому патриархам да еще два письма «в волошскую землю к гречанину Маноилу и в Киево-Печерский монастырь, к архимандриту Иннокентию», всего столбцов десять, да деньгами сто рублей, из них пятьдесят золотом на дорожные расходы, связанные с поездкой в черкасские города, а оттуда в Царьград. Кирилл назвал Федотку племянником и усадил в свои сани. Тронулись они в путь вместе с гетманом, но доехали только до Седнева, где жил Кирилл, и дожидались там греков, которые должны были подвезти Федота до волошской земли.

При осмотре найденных у беглецов грамот оказалось, что все они, кроме одной, адресованной архимандриту Иннокентию, написаны по-гречески. В грамотах к патриархам, выведенных золотыми буквами на дорогой александрийской бумаге, Никон подробно излагал историю своей ссоры с царем, начавшейся в тот день, когда царский любимец окольничий Богдан Матвеевич Хитрово публично ударил палкой по голове патриаршего стряпчего князя Дмитрия Мещерского. Царь тогда оставил без внимания жалобу патриарха. Не наказал он и боярина Семена Лукьяновича Стрешнева, преданного анафеме и отлученного Никоном от церкви за то, что он

научил свою собачку «сидети и передними ногами благословляти и называше ту собачку Никон-патриарх».

Длинен был список обид, нанесенных царем честолюбивому сопернику. Перечисляя эти обиды, Никон не стеснялся в выражениях. Одобренное царем новое «Уложение», ограничивавшее привилегии церкви, он окрестил «проклятой книгой». Называя поименно всех своих единомышленников, утесненных или заточенных царем, он сокрушался: «Кто за нас какое доброе слово речет, тех безвестно с томлением и муками предает». Царь, утверждал патриарх, попрал все божьи законы, созывая церковные соборы и по своему усмотрению смещая и назначая архиереев. Письмо заканчивалось предостережением: «И ныне, по царскому велению что писаша к вам о нас, не верьте, а как придете к Москве, увидите злобство их и вражду и лжу, что имеют на нас».

Прочитав перехваченную грамоту, разгневанный Алексей Михайлович приказал сейчас же начать новый розыск: кто посмел перевести ее на греческий язык? Толмач, услугами которого пользовался Никон, должен был быть немедленно найден.

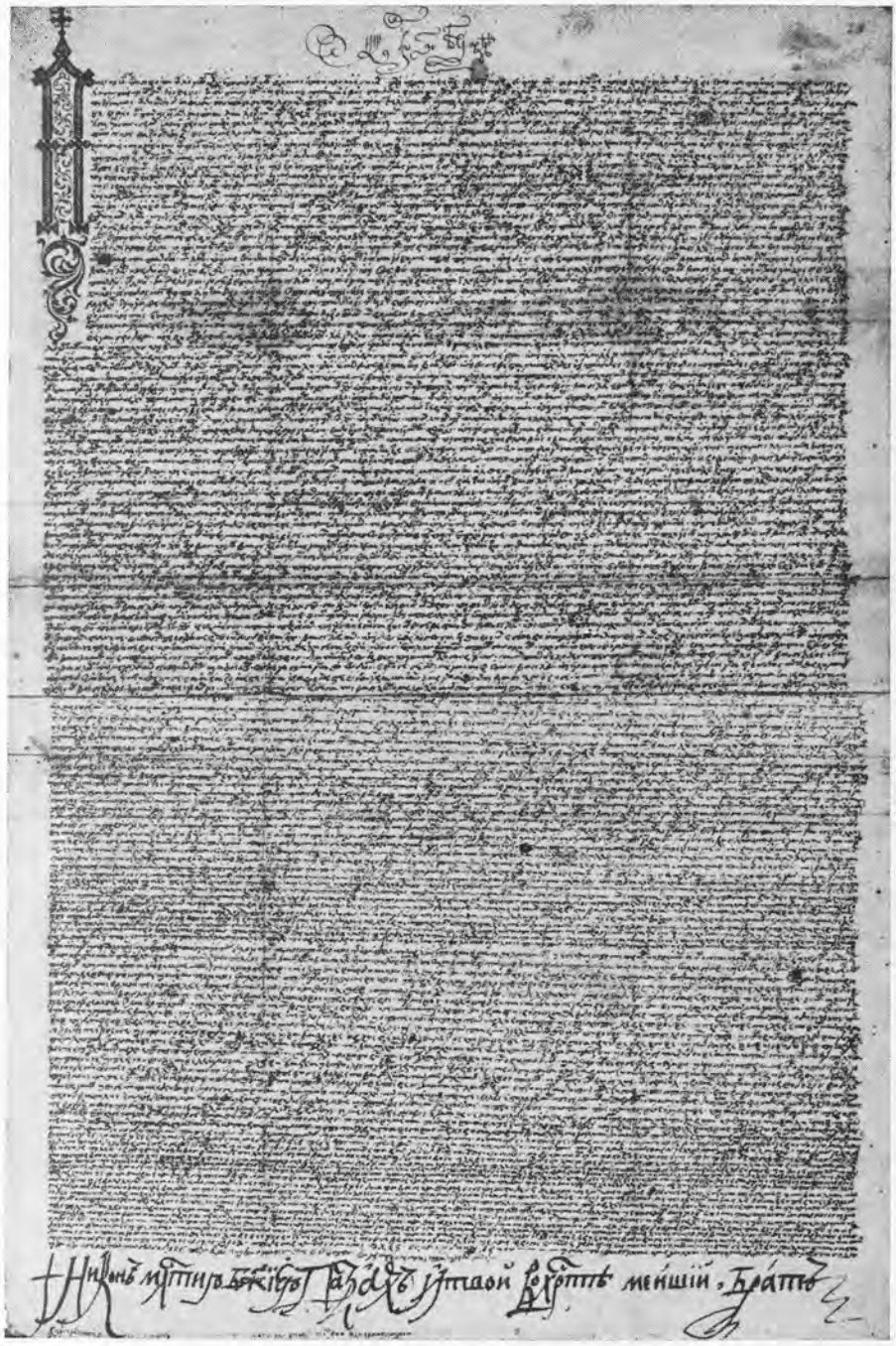
Сыщики из Приказа тайных дел сбились с ног, рыская по монастырям и подворьям, служившим приютом греческим монахам и купцам, часто приезжавшим в Москву за милостыней или для сбыта иноземных товаров. Усилия ищеек в конце концов увенчались успехом. В деле Никона хранится краткая запись допроса «гречанина», задержанного в том же иверском подворье, где останавливался патриарший племянник Федот Марисов. Он показал, что его зовут Дмитрейком Матвеевым и родом он из города Софии, в Москву приехал пять лет назад и жил «в наймах» у своего соотечественника Ивана Юрьева.

Два года назад, признавался задержанный, пришел он к Никону в Воскресенский монастырь и стал работать каменщиком за четыре рубля в год. В свободное же время он переводил черновики Никона на греческий язык.

Матвеев назвал имена всех зарубежных архипастырей, с которыми пытался связаться Никон. Это были увильнувшие под благовидными предлогами от поездки к царю патриархи Нектарий и Дионисий и предшественник последнего Парфиний. Копии с посланных им грамот предназначались также и выехавшим в Москву патриархам Паисию и Макарию.

Перепуганный грек просил поверить ему, что он не знает, с кем эти грамоты были отправлены. Но царь был очень доволен результатами допроса. Все его подозрения теперь полностью подтвердились.

Кроме сведений об адресатах патриарха, от переводчика удалось получить еще одно важное признание. Шесть дней назад, показал грек Матвеев, виделся он со своим соотечественником по имени Венет и получил от него привезенную им из Венеции грамоту. Она была прислана в Италию из России врагом Никона, газским митрополитом Паисием Лигаридом, и адресована одному из папских кардиналов. В грамоте этой Паисий просил у кардинала денег и упоминал о поражении, нанесенном под Чудновым поляками и литовцами русским войскам, потерявшим якобы сорок тысяч человек. Патриарх Никон, пояснил переводчик, хотел поднести эту грамоту царю в качестве доказательства, что его недоброжелатель, газский митрополит Паисий, поддерживает связь с еретиками и является их осведомителем.



Подлинник перехваченной грамоты — послания патриарха Никона к цареградскому патриарху Дионисию, переписанного золотописцем-греком. (Хранится в ЦГАДА.)

Вслед за переводчиком Дмитрием Матвеевым был разыскан и взят под стражу и «Венет», оказавшийся греческим купцом Венедиктом Ивановым. Он дополнил показания Дмитрия существенными подробностями. «Грамоту эту, — сказал он, — дал мне в Венеции гречанин же Бендарь Венарес и велел отвезти лично Никону, но я держал ее у себя три года, так как мне не случилось быть в России. Приехав, наконец, в Москву по торговым делам, я отдал ее Дмитрейке, как только узнал, что он живет у Никона».

Оба грека были сданы под охрану кремлевским стрельцам. Дмитрия Матвеева они держали сначала в Земском приказе. Когда же привели Венета, переводчика переместили в иконописную палату.

Протоколы допроса обоих греков, однако, не стали последними страницами объемистой тетради, которую можно было бы составить из уцелевших документов и назвать «Историей перехваченной грамоты», точнее, двух перехваченных посланий: Никона к патриарху Дионисию и его врага Паисия Лигарида к итальянскому кардиналу. К тетради этой пришлось бы подшить еще несколько новых страниц, заставляющих подозревать, что одному из двух греков, а именно переводчику Никона Дмитрию Матвееву, были известны еще какие-то тайны, скрытые им от царских следователей. Эти тайны были бы, вероятно, когда-нибудь открыты, если бы...

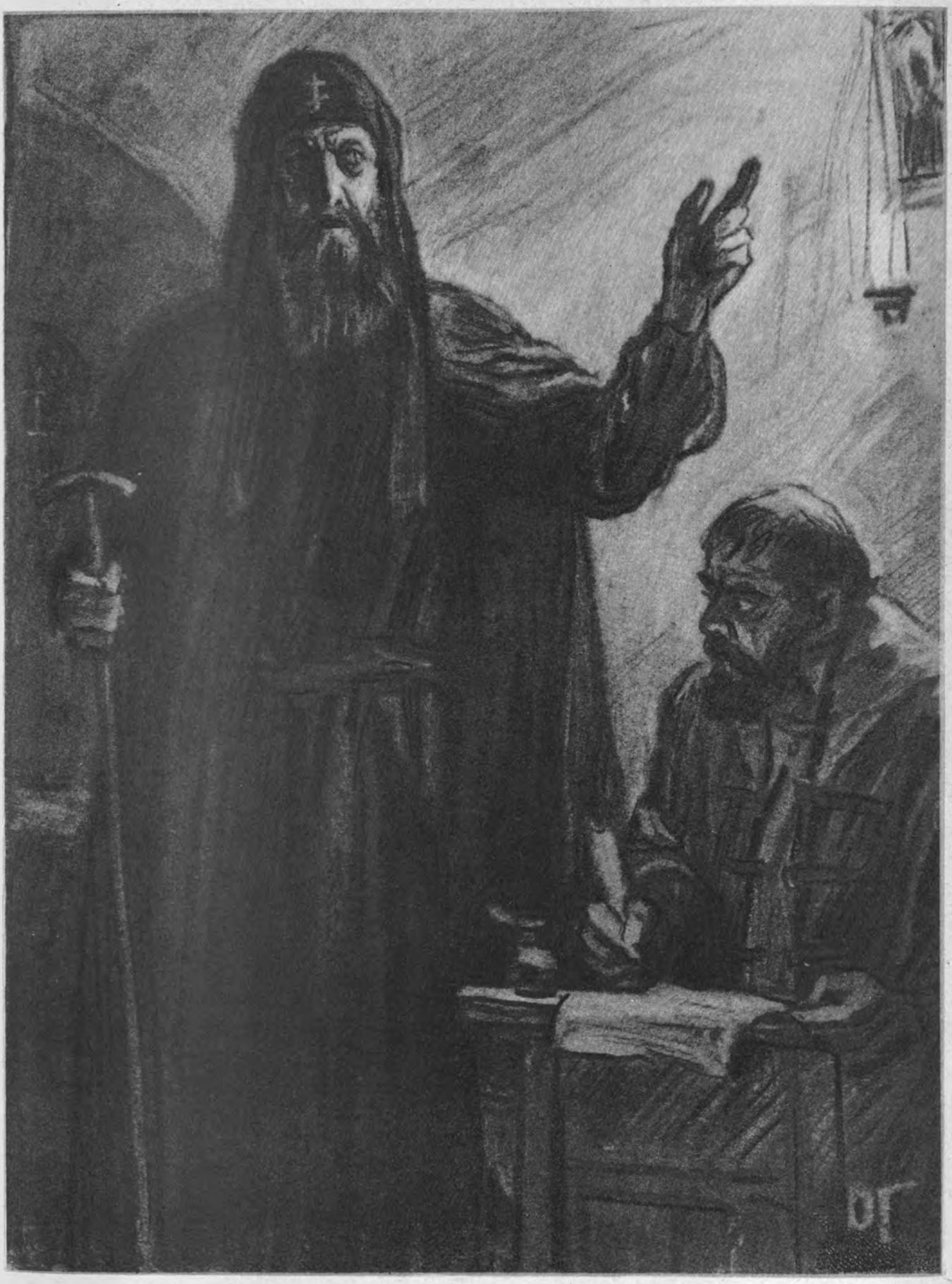
Но пусть о причинах, помешавших нам узнать об этом, расскажут те же выцветшие страницы стрелецких донесений.

В тот же день, когда грек Дмитрий Матвеев был переведен в иконописную палату, поздно ночью в Приказ тайных дел к дьяку Федору Михайлову была доставлена нацарапанная торопливой рукой записка — донесение от стрелецкого головы Григория Астафьева. Начальник стрелецкой охраны, которой было поручено «с великим бережением» стеречь обоих греков, доносил, что к нему в караулку прибежал сотник Алексей Сапогов и сообщил, что гречанин Дмитрейко Матвеев, переданный для бережения сотнику Никифору Ярцеву, зарезался и умер, «а какими мерами, того он, Григорий, не ведает».

Сообщение это вызвало в Приказе тайных дел большое смятение. Сотник Никифор Ярцев был немедленно вызван для допроса, но сумел оправдаться. Сославшись на приказание своего старшего начальника, стрелецкий голова Григорий Астафьев сам велел передать колодника Дмитрейку сотнику Сапогову. Ему же, Сапогову, и было приказано беречь грека «имянно»— так, как берегут колодников, числящихся за караулом в «государевых великих делах», и никого к нему «не пропущать», и самому с ним не говорить.

Выгораживая своего начальника, сотник Алексей Сапогов подтвердил, что правила охраны важных преступников были знакомы не только ему, но и всем рядовым стрельцам. Именно поэтому он, Алексей, как только в Земский приказ доставили второго грека, Венета, отвел Дмитрия Матвеева в иконописную палату, а для несения караула взял с собой стрельца Ивана Долгопола.

«В час ночи, — показал Алексей Сапогов, — тот колодник Дмитрейко зарезался по горлу ножом, а как де тот Дмитрейко резался, он, Алексей, того не усмотрел, потому, что стоял в то время у казеничной двери, а подле Дмитрейки стоял Ивашко Долгопол и только увидел, как Дмитрейко упал с лавки на пол и как он



ево, Дмитрейка, поднял и в тое пору тот Дмитрейко вздохнул дважды, а больше того дыхания и речей у него не было».

На вопрос тайного дьяка, откуда колодник взял нож, Сапогов не мог ответить и высказал лишь предположение, что его забыли мастеровые, работавшие днем в иконописной палате.

Единственный же свидетель самоубийства Дмитрия Матвеева, стрелец Иван Долгопол, при расспросе показал: «Подле ево, Дмитрейка, сидел он, Ивашко, только де он того, как учал Дмитрейко резатца, не усмотрел, а увидел де он, Ивашко, у Дмитрейка в руке нож в тое пору, как Дмитрейка упал на пол. А где тот нож он, Дмитрейко, взял, того он не усмотрел же, а у него де, Дмитрейка, своего ножа не было». Были допрошены также все мастеровые люди, работавшие до привода колодника в «иконописной палате», и один из них, станочного дела мастер Афон Тимофеев, «смотря ножа», повинился:

«Тот де нож его, Афонкин, и положен де был у него он, с платьишком ево вместе, в казенке, в которой посажен был гречанин Дмитрейко...» Последняя запись, сделанная в связи с расследованием самоубийства Дмитрия Матвеева, сохранившаяся в деле Никона, гласит: «...И того ж числа по указу великого государя сотник Алексей Сапогов и стрелец Ивашко Долгопол скованы и велено их беречь в Записном приказе... сотнику Петру Бестужеву, да пятидесятнику Антошке Нефедьеву, да рядовым трем человекам стрельцам, и нож отдан на караул им же».

Переведенную Дмитрием Матвеевым на греческий язык и после долгих розысков перехваченную царем грамоту Никона к цареградскому патриарху Дионисию можно и сейчас видеть в Центральном государственном архиве древних актов. Она лежит в картонной коробке в одном из стенных шкафов. Пергаменный лист грамоты хорошо сохранился, только выведенные искусной рукой золотописца заглавные буквы немного поблекли.

«ПО ТВОЕМУ ГОСУДАРЕВУ УКАЗУ...»

В ПЕРЕПИСНОЙ книге Приказа тайных дел упоминается о царской грамоте, посланной в Нижний Новгород стольнику и воеводе князю Василию Волконскому.

«А велено ему, — говорится в этой грамоте, — дьякона Офонасия, который извещал на благовещенского попа Мину и на жену его Прасковью и на жену троицкого попа Микиты, Анну, государево дело и иных людей, которые в том деле объявятся, расспрашивать и записывать самому и давать им очные ставки; а будет

хто в том деле дойдет и до пытки, и их велено пытать и огнем жечь, чтоб одноконечно про то «государево дело» доискатца подлинно. А что в том деле станетца делать и о том велено писать к Москве в Приказ тайных дел, с нарочным гонцом».

В грамоте этой ясно сказано, что, когда дело касается личности царя, воеводы должны сами руководить следствием и не останавливаться перед применением пыток.

«По твоему государеву указу, — писал царю ряжский воевода князь Петр Волконский, — велено мне, холопу твоему, тюремных сидельцев, которые сидят в больших твоих государевых делах и в твоем государевом слове, расспрашивать добром на одине всякими меры, а будет добром не скажет и мне, холопу твоему, велено их пытать всякими различными пытками накрепко, и мне, холопу твоему, сетовал воевода, в таких твоих государевых больших делах пытать их некем, мастера и снастей таких в Ряжском в твоей казне нет».

По мере того как количество дел по обвинению в непригожих или неистовых словах против государя увеличивалось, обвиняемые в таких проступках карались все строже.

К ссылке в Сибирь добавлялась еще более жестокая кара, обрекавшая виновников на вечное молчание.

«...Июля в 7 день, — гласила типичная в таких случаях запись, — послана государева грамота в Мурашкино к Давыду Племенникову с стадным конюхом с Ывашкою Ларионовым, а в ней написано: Указал великий государь и бояре приговорили мурашкинскому бобылю Илюшке Поршневу за то, что он говорил про него, великого государя, непригожие слова — вырезать язык и сослать з женой и тремя детьми в Сибирь и велено ту казнь учинить при многих людях».

Что же это были за «непригожие слова», за которые приходилось расплачиваться такой дорогой ценой?

Переписная книга об этом умалчивает.

Очевидно, даже подьячим Тайного приказа запрещалось вписывать в нее такие слова.

Но среди архивных документов сохранились сотни подлинных сыскных дел и пыточные речи обреченных впоследствии на вечное молчание или нещадно битых батогами царских оскорбителей.

Разматывая в течение семнадцати лет свиток за свитком, ветхие столбцы, хранившиеся в бывшем Московском архиве юстиции, сотрудники этого архива все же добились ответа на интересовавший многих историков вопрос: какого же рода высказывания считались в царствование Алексея Михайловича настолько опасными, что даже пользовавшиеся его доверием подьячие Тайного приказа боялись приводить их в своих переписных книгах?

Уже в день рождения царя Алексея Михайловича было заведено «государево дело» на корпевшего в тюрьме саратовского стрельца Федора Игнатьева, по прозвищу Недоростка, за то, что он разглагольствовал: «Бог де нам дал царевича Алексея Михайловича и для той де радости государь нас не пожаловал, из тюрьмы выпустить не велел», и предлагал своим товарищам по камере: «Станем де просить у бога, чтоб дал другого царевича, авось тогда царь велит нас выпустить». А другой

тюремный сиделец, Гаврилка, по прозвищу Шешура, на это ответил: «Ну де тех царевичей в воду!»

«Государь де молодой глуп, а глядит де все изо рта у бояр, у Бориса Ивановича Морозова, да у Ильи Даниловича Милославского. Они де всем владеют и сам он де, государь, то все ведает и знает, да молчит, черт де у него ум отнял», — говорил, например, 17 января 1649 года сметливый мужичок Савва Корепин об еще молодом Алексее Михайловиче.

«Худ государь, что не заставляет стрельцов с нами землю копать», — посмел упрекнуть царя крестьянин Данило Марков, копая ров на Щегловской засеке, в то время как стоявшие тут же торопецкие стрельцы били баклуши.

«Как я не вижу сына своего перед собою, так бы де государь не видел света сего», — сказала в сердцах прямодушная казачья женка Орина Лобода, винившая царя в том, что ее сын Ромашко не выкуплен из татарского плена.

«Есть де и на великого государя виселица», — такое дерзкое слово, — «чего и помыслить никак николи не годится», — сорвалось в кабаке с языка не дорожившего своей жизнью смоленского мещанина Михаила Ширшова.

Но если даже царское имя было задето случайно, во хмелю или просто так, — к слову пришлось, это все равно рассматривалось как тяжкое государственное преступление.

Еще при отце Алексея Михайловича был посажен в тюрьму дворовый человек Прохор Кондратьев, посмевший спьяну сравнить с царем своего помещика: «По царе де нам царь Гаврила Степанович Ивашкин!»

За такое же принижение царского всемогущества поплатился при Алексее Михайловиче дворовый человек боярина Щепотева Федор Андреев, хвастависшийся перед ливенским казаком Миной Киреевым: «Мой де государь — боярин, а на нем де весь свет положен!»

«У меня де нога лучше, чем у государя царя и великого князя всея Руси Алексея Михайловича», — пошутил, закинув ногу на стол, озорливый боярский сын Афанасий Шепелев в гостях у беломестного казака[1] Богдановой станицы Семена Поплутаева.

«Ты, Евстрат, лучше царя стал!» — похвалил своего соседа Евстрата Туленинова боярский сын Дмитрий Шмараев за то, что тот одолжил ему овса на семена. Испугавшись такой похвалы, Евстрат поспешил донести об этом воеводе, после чего Шмараеву оставалось только «сбежать безвестно», а малолетний сынишка его, Сенька, по приказу воеводы был отдан на крепкие поруки «до царского указу».

«Был бы здоров государь — царь и великий князь Алексей Михайлович, да я Евтюшка, другой», — налив полную чарку вина посмел пожелать себе здоровья, наравне с царем, на свадьбе у можайского посадского человека Семена Солодовника один из его гостей, вскоре брошенный за это в тюрьму, Евтифей Бохолдин.

---

[1] Беломестные казаки — служилые казаки, помещенные на землю и неплатящие тягла.

Такая же кара постигла и пушкаря Федора Романова, сказавшего в кабаке при расчете со своим собутыльником московским стрельцом Андреем Шапошником «дай де, господи, государь здоров был, я де, по государе, и сам государь».

Жертвой оговорки стал кабацкий голова[1] Иван Шилов, собиравший с кабаков взносы в царскую казну и ведавший, таким образом, «государево кабацкое дело». Его поволокли в съезжую избу за якобы сказанные им неподобные слова, что «государево дело — кабацкое».

Немало неприятностей пришлось пережить и алешинскому соборному попу Федору Борисову, отправившемуся однажды на литовский рубеж и чуть было не ограбленному ночью в дороге казаками. Спасая свою жизнь, находчивый поп набрался смелости и объявил, что он «родом царского колена» и сам патриарх ему ближний, свой.

Об этом стало известно царю, назначившему ему сравнительно легкое наказание: «бить шелепами[2], посадить на цепь на неделю и велеть сеять муку».

У стрелецкого головы Устина Замытцкого на обеде во время пьяной перебранки с пятидесятником Дмитрием Ключниковым вырвалось: «Боюсь я своего государя, а не твоего и не вашего!» Протрезвившись, он испугался, как бы эти безобидные слова не были кем-нибудь неправильно истолкованы и поспешил сам подать царю челобитную, что сказал их «не гораздо», «опившись пьян». «И в том перед тобою, государь, я, холоп твой, виновен, — каялся Устин, — а опричь тебя, — спешил он уверить царя, — я иного государя не знаю».

Осторожность Замытцкого, очевидно, имела веские основания, потому что с драгуном Богданом Вадищевым произошел такой случай: поругавшись со своими сержантом и капралом, он сказал им: «Страшен (страшусь) де я бога и государя, а вас не боюся!»

Случившийся при этом глуховатый покровский поп Андрей одернул его: «Ты де неподобные слова говоришь, что ты страшен богу и государю» и вместе с капралами Ходаковым и Протасовым донес на него воеводе.

«Черт тебя пожаловал, а не государь», — обругал драгунский капрал Евтихий Беломутцов своего однополчанина и однофамильца Парфена, получавшего вместе с ним лошадей, пожалованных царем Алексеем Михайловичем из своей конюшни. За это ему пришлось отвечать, как за оскорбление не Парфена, а государя всея Руси.

Другой капрал, Мартын Щеголев, во время ссоры с драгуном Игнатом Петровым, пригрозившим ему за его брань подать челобитную государю, «тое пору чхнул и плюнул на землю».

Это несвоевременное чихание и плевок послужили поводом для возбуждения против него дела об оскорблении государя.

Непригожее слово о царе могло быть вовсе и не произнесено. Как видно из сохранившихся в том же архиве донесений, при отце Алексея Михайловича, первом царе из династии Романовых, имел место такой случай: в подмосковном селе Чере-

---

[1] Кабацкий голова — должностное лицо, выбираемое из зажиточных посадских людей, ведавшее продажей казенного вина.

[2] Шелепы — род веревочных кнутов с короткой рукояткой.

мушки на вечеринке у крестьянина Кузьмы Злобина однажды поссорились между собой новосильцы, дети боярские[1] Семен Данилов и Василий Полянский. Семен Данилов пригрозил Полянскому, что пожалуется на него царю, а тот в ответ на это показал ему кукиш, означавший: «вот де тебе и с государем». Присутствовавший при этом поп Моисей поспешил сообщить об этом царскому окольничему князю Литвинову-Масальскому. Узнав об извете, боярский сын Василий Полянский сбежал из Новосили с женою и детьми «безвестно». Начался повальный допрос всех участников пирушки. Одни показывали просто, что он «против государева слова подал кукиш», другие, что при этом еще добавил: «вот де тебе и с государем!»

Извещенный о бегстве «государственного преступника», царь послал указ воеводе князю Шаховскому: «Как к тебе сия наша грамота придет, и ты б в Новосили, в городе и на посаде и во всем Новосильском уезде всяким людям заказ крепкий учинил: где Васька Полянский объявится, и они б его, поймав, привели в Новосиль тотчас: да и в украинные городы к воеводам отписал, что б они потому ж в городах и в уездах заказ крепкий учинили... А как Васька Полянский сыщется, и ты б его, Ваську Полянского, велел посадить в тюрьму, до нашего указу, и держал его с большим бережением».

Другой воевода, Федор Плещеев, получил сведения, что показавший кукиш боярский сын скрывается в своем поместье, в деревне Полянской. Он послал туда боярского же сына Ивана Сотникова со стрельцами и пушкарями, но они беглеца «дома не изъехали» и привели вместо него в съезжую избу жену его «Варьку», которая была немедленно посажена «за пристава». Все соседи Полянского по указу были взяты на поруки за то, что они «норовили беглецу» и не известили, где он скрывается.

Узнав об аресте жены, убежавший в Москву Полянский сам решил объявиться царю и был немедленно тут же в Кремле, в Разрядном приказе, нещадно бит батогами.

Среди уцелевших документов сохранилась и его последняя челобитная: «В нынешнем, государь, во 152 году били челом тебе, государь, на меня, холопа твоего, и извещали из Новосили поп Моисей да Семен Данилов в твоем государевом слове и я, холоп твой, в разряде сидел в казенке, и за то мне, холопу твоему, было поученье, а женишка, государь, моя в Новосили сидит в тюрьме, а дворишко мой, государь, запечатан. Милостивый государь, пожалуй меня, холопа твоего, вели государь, из тюрьмы женишку мою освободить и дворишко мой распечатать и вели, государь, мне дать свою грамоту. Царь, государь, смилуйся!»

Достаточно было не встать и не снять шапку при упоминании царского имени, когда священник, возглашая многолетие царю, поднимал заздравную чашу, или не пригубить меда из этой чаши, как уже заводилось «государево дело».

Такое дело было, например, заведено на монастырского оброчного крестьянина Григория Шелтякова за то, что он спал, прислонившись к стене, когда пришедший в гости к дворнику Ореху Седельнику успенский поп Иван по предложению стрель-

[1] Дети боярские — низший разряд провинциального дворянства.

ца Игоря Свищева возгласил многолетие царю. Сколько ни толкали Григория в бок и спину, он не шевельнулся, потому что, как потом оказалось, «был пьян безпамятно».

Но наказания он все же не избежал, так же как и казачий голова Марк Намедов, пытавшийся оправдать свое отсутствие в церкви во время молебна по случаю царской свадьбы тем, что «на гору скользко иттить».

Ефремовский пушкарь Степан Карпачев никогда не говорил о царе ничего зазорного. Но он однажды узнал от своей приемной дочери, молодицы Агапеицы, что ей во сне явился праведный старец Никита и посоветовал, «чтобы он, Стенька, переставил свою избу и пристроил к ней сени. А в тех де сенях сидеть ей, Агапеице, а ему б де, Стеньке, быть на царстве».

Простодушный пушкарь так и сделал. За то, что он, Степан, «тому бесовскому мечтанью поверил и избу свою переставливал», он был по указу царя нещадно бит батогами.

В «Черной книге» Приказа тайных дел в качестве царских оскорбителей упоминаются главным образом люди простых званий: крестьяне, посадские люди, чернецы и стрельцы, и особенно часто тюремные сидельцы.

«Если у нас государя не будет, кто де у нас тогда царем будет?» — полюбопытствовал заключенный Андрей Колесник. Эти слова были сообщены царю и расценены как пожелание ему смерти.

Быстрота и тщательность, с которыми рассматривалось любое дело, если оно касалось личности царя, побуждали иногда долго находившихся под следствием по другим делам тюремных сидельцев вдруг заявлять, что за ними есть и «государево дело», требующее немедленного расследования.

Самый закоренелый уголовный преступник, объявлявший вдруг, что ему известно «государево слово» или «дело» сразу становился на некоторое время своего рода священной особой, так же как и все те, на кого он указывал как на царских личных врагов и оскорбителей.

Их везли в Москву «с великим бережением». Воеводы были обязаны вне всякой очереди давать для них лошадей и охранников, отвечавших за них своей головой.

Но бывало и так, что привезенные в Москву или пытанные на месте тюремные сидельцы начинали каяться, что «своей дуростью взмололи на себя государево слово», затеяли де его «вне ума» или «избывая тяжкого тюремного сидения». В таких случаях они обычно отделывались телесным наказанием: «бить батогами нещадно, чтоб не повадно было иным воровать — наших дел затевать ложно», — гласил царский указ.

По-видимому, такие попытки делались очень часто, потому что в 1649 году в Уложение о наказаниях была включена специальная статья о наказании за ложный донос, гласившая: «А которые, всяких чинов люди, учнут за собою сказывати государево дело или слово, а после того они же учнут говорить, что за ними государева дела или слова нет, а сказывали они государево дело или слово избывая от кого побои или пьяным обычаем: и их за то бити кнутом и, бив кнутом, отдать тому, чей он человек».

Суровые кары за малейшее непригожее слово о царе приводили иногда в смущение даже не отличавшихся мягкосердечием воевод. Ведь именно они были обязаны немедленно доносить в Москву о каждом таком слове, кем бы оно ни было сказано.

Редкий случай, когда один воевода попытался смягчить утвержденное царем наказание, тоже послужил поводом для тщательного дознания. Документы об этом необычном деле потрясают своей обнаженной беспощадностью.

7 марта 1679 года, вскоре после смерти Алексея Михайловича, на имя молодого царя Федора пришла отписка из Мезени от местного воеводы генерал-поручика Афона Троурнихта. Воевода извещал царя о поступлении челобитной от подьячего съезжей избы Богдана Петрова, доносившего о неслыханном преступлении, совершенном другим мезенским воеводой Григорием Водорацким.

Царский приговор об урезывании языка у крестьянина Мезенского уезда Усть-Важской волости Клима Ерышева за оскорбление государя, этот воевода якобы не исполнил, и палач Иван Чуприк выпустил только немного крови из щеки преступника. Воевода же Григорий Водорацкий, утверждал подьячий, писал царю «ложно, а не истину».

Челобитчик просил царя, как о милости, пожаловать его, Богдашка, и велеть воеводе Троурнихту выяснить, по какому умыслу или по чьему повелению крестьянин Климка Ерышев сохранил дар речи.

Просьба эта была, разумеется, удовлетворена без малейшей проволочки. Воевода Троурнихт получил из Москвы несколько необычный указ: вздернуть на дыбу не какого-нибудь там загулявшего стрельца, дьячка или ярышку, осмелившегося «во пьяне» сболтнуть о царе поносное словцо, а расспросить «накрепко» самого палача, старательного исполнителя царских приговоров.

«И в расспросе, — доносил Троурнихт, — он, палач Ивашка, передо мной, холопом твоим, сказал: в прошлом де году он крестьянину Климку Ерышеву язык не урезал, потому что де ему не велел воевода Григорей Водорацкой, токо де велел из щоки немного крови выпустить... А не послушать его, воеводы, Григорья Водорацкого, он не посмел».

Получив такое сообщение, близкий родственник царя, боярин Иван Милославский, приказал отыскать и проверить в Новгородском приказе все донесения мезенского воеводы Григория Водорацкого.

Среди них нашлось одно, в котором он сообщал: «Тому крестьянину Климке перед съезжею избою при многих людях учинена казнь: ...урезан язык и бит кнутом нещадно, водя по торгу».

15 апреля того же 1679 года боярин Иван Милославский «с товарыщи», обсудив эту выписку, приказал немедленно допросить самого Водорацкого. Испугался ли этот воевода, что и его могут лишить языка за нарушение царского указа или у него после этого допроса стали трястись руки, но на обороте своей сказки расписался уже не он сам, а его сын Петр, вместо отца своего, Григория Семеновича, «по его веленью», руку приложил.

Если палач, оправдываясь перед царем, старался отвести от себя подозрение в милосердии к провинившемуся крестьянину ссылкой на приказ воеводы, какие до-

воды мог привести в свое оправдание сам царский наместник, давший палачу такой приказ? Бывший воевода и не стал оправдываться. Он просто с возмущением отвел предъявленное ему обвинение как поклеп и стал униженно просить царя, чтобы он «пожаловал» его, Григория, «велел про то разыскать подлинно и затем свой милостивый указ учинил», подтверждающий, что воевода не виновен в подобном мягкосердечии.

Смотреть за исполнением приговора, оправдывался Водорацкий, он приказал подьячему съезжей избы Федоту Рубцову, но и сам де он, Григорий, видел, как у того мужика кровь «из рота от языка текла». Воевода возмущался вероломством палача, поклепавшего его напрасно «по наученью вора и составщика челобитной Богдашки Петрова».

Из пометки на «сказке» бывшего воеводы Водорацкого видно, что 6 мая 1679 года дотошный боярин Иван Милославский снова занимался, очевидно, сильно тревожившим его вопросом, урезан ли у семейного крестьянина Клима Ярышева его зловредный язык, сболтнувший поносное словцо про молодого государя.

Слезливому прошению перепуганного воеводы он не поверил. «Милостивое решение», принятое от имени царя боярским советом, гласило: «Послать великого государя грамоту в Кевролу и на Мезень к воеводе и велеть у Климка Ярышева языка досмотрить: язык ли у него урезан ли? И буде по досмотру язык у него не урезан... поступить по указу». Одновременно предписывалось разыскать и подьячего Федота Рубцова для проверки ответа воеводы Водорацкого. Узнать у него, «был ли он у казни того Климка и по указу ли она была учинена и, если не по указу, то чьею поноровкою?»

Царь требовал также, чтобы Федоту Рубцову была дана очная ставка с палачом Иваном Чуприком. «Да ту очную ставку и подьячего Федоткову сказку, — настаивал составитель царской грамоты, — прислать к Москве, буде по досмотру у Климка язык был не урезан». Грамота эта была послана на Мезень за подписью дьяка Павла Симонова.

Судя по тому, что расспросных речей наблюдавшего за исполнением приговора подьячего съезжей избы Федота Рубцова и протокола его очной ставки с палачом Чуприком при деле не оказалось, казнь, видимо, все же была учинена «по указу», вероятно, задним числом, и верноподданный царский соглядатай Богдан Петров возвел поклеп на воеводу напрасно.

При «блаженной памяти» родителе царя Федора, великом государе Алексее Михайловиче, воеводы и дьяки умели лучше отчитываться в исполнении утвержденных царем приговоров. Когда, например, летом 7158 (1650) года патриарх и приспешник Федор Филиппов за непригожее слово о царе был подвергнут такой же каре, какая позже постигла Клима Ярышева, в Разрядный приказ, к думным дьякам Ивану Гавреневу и Семену Заборовскому, поступила такая отписка: «4 июня в 18 день из Земского приказу тот Федька казнен, бив кнутом, язык урезан, и послан к вам в Разряд».

Подпись «Дьяк Максим Лихачев».

ПОСЛЕДСТВИЯ ОДНОГО ПОЖАРА

НАРЯДУ с разбойниками и ворами упоминается в «Черной переписной книге» Приказа тайных дел и донской казак Степан Разин, народный герой, поднявший в жестокую пору крепостнического гнета широкое крестьянское восстание против притеснений и бесправия.

Так как движение это началось на Волге, Приказ тайных дел следил за ним главным образом по отпискам воевод приволжских городов, а затем по донесениям военачальников, посланных подавлять восстание. Царя особенно тревожили «прелестные письма» самого Разина, которыми он «прельщал» и подымал трудовой люд на борьбу «за чернь», против «мирских кровопивцев и изменников»— бояр.

Отписки и донесения от воевод и «разных чинов людей» о действиях Разина поступали в большом количестве и в Приказ Казанского дворца, находившийся в Кремле и ведавший делами всех приволжских областей. В этом приказе главным образом и сосредоточились материалы огромной ценности о крестьянском движении XVII века, поднятом Степаном Разиным и продолжавшемся и после его казни. Но все это погибло в 1701 году во время грандиозного кремлевского пожара, начавшегося, как и многие другие, от церковной свечки*. Из подлинных документов о восстании Степана Разина уцелело лишь несколько ветхих столбцов, пересланных еще до пожара в разные учреждения.

Собирателям сведений об этом восстании пришлось проделать очень сложную и кропотливую работу — искать документы о нем в архивах многих городов. Но как раз в тех районах, где оно бушевало, их было труднее всего найти. Так же как московская городская беднота во время так называемого «медного бунта», разинцы в справедливом гневе жгли архивы, хранилища ненавистных им приказных книг с разверсткой налогов и кабальными записями. Вместе с ними погибли и некоторые интересные документы о причинах восстания.

О содержании многих утраченных документов можно догадываться по переписной книге Приказа тайных дел, в которой имя «изменника» и «вора» Стеньки Разина встречается не один раз. Приказ тайных дел, по-видимому, вел общее наблюдение за деятельностью Разина и развитием событий, достигших такого размаха и получивших такую широкую огласку, что борьбу с восстанием уже нельзя было отнести к «тайным делам». Однако в решающие минуты царь иногда вмешивался в руководство карательными операциями именно через этот приказ.

Еще весной 1669 года из Приказа тайных дел в Посольский, ведавший сношениями с донским казачеством, был переслан для сведения список с грамоты донскому атаману Самаренину, предлагавший казаков «от воровства унимать» и на Волгу не пускать. Тот же Посольский приказ ведал и дипломатическими сношениями с Персией, чуть было не разорванными из-за смелых налетов разинской вольницы на персидские города и корабли.

К бывшему тайному дьяку Дементию Башмакову и двум его помощникам— дьякам Федору Грибоедову и Василию Семенову — поступали донесения, на осно-

вании которых они в Разрядном приказе подготовляли царские указы и инструкции воеводам разных городов о мерах к подавлению восстания.

Приказ тайных дел, так же как и Разрядный, воеводы засыпали жалобами на слабость обороны и «малолюдство». Воеводы дрожали: как бы в случае появления восставших «не учинилось какое дурно или поруха», как бы казаки не побили и не забрали в плен и оставшихся немногих «государевых людей» и кое-кому не влетело бы за это от царя. «И мне бы, холопу твоему, в том от тебя в опале не быть» — этой слезливой фразой кончались многие донесения царю.

Получив от тамбовского воеводы Якова Хитрово сообщение, что Степан Разин собирается идти к Москве «мимо Танбова», специалисты по тайным делам составили царскую грамоту с предписанием: «Разведав в Танбове тайным делом, поставить меж Танбова и Царицына в самых крепких в трех или в четырех или в кольких местях мочно... танбовцев служилых людей, которым мочно верить и кого б с такое дело стало по три или по четыре человеки на месте или поскольку человек пригож».

Тут же объяснялась и цель создания этих тайных станов или секретов: «Для скорые гоньбы и для проведывания про всякие вести и про воровских казаков про Стеньку Разина с товарыщи». На собирание секретных сведений для расправы с народным мстителем царь не жалел денег: «А для тое посылки дати нашего государева жалования тем танбовцам тайно ж и по твоему ж разсмотрению сто или двести рублев».

А как только будут получены какие-нибудь сведения, указывает грамота, воевода должен, не медля ни минуты, сообщать их царю «наскоро, с нарочными гонцы по часту на заводных подводах[1], чтоб нам, великому государю, про те вести всегда было ведомо».

Через дьяка Дементия Башмакова и двух его помощников царь стал засыпать воевод вопросами:

«Вор Стенька где ныне и много ль с ним воровских людей и конных и пеших и из городов из Дону к нему в станицу в прибавку не идут ли? Буде идут, ис которых городов и какие люди? Куды пошел изменник Стенька Разин, учинил ли какие дурно, что пограбил?»

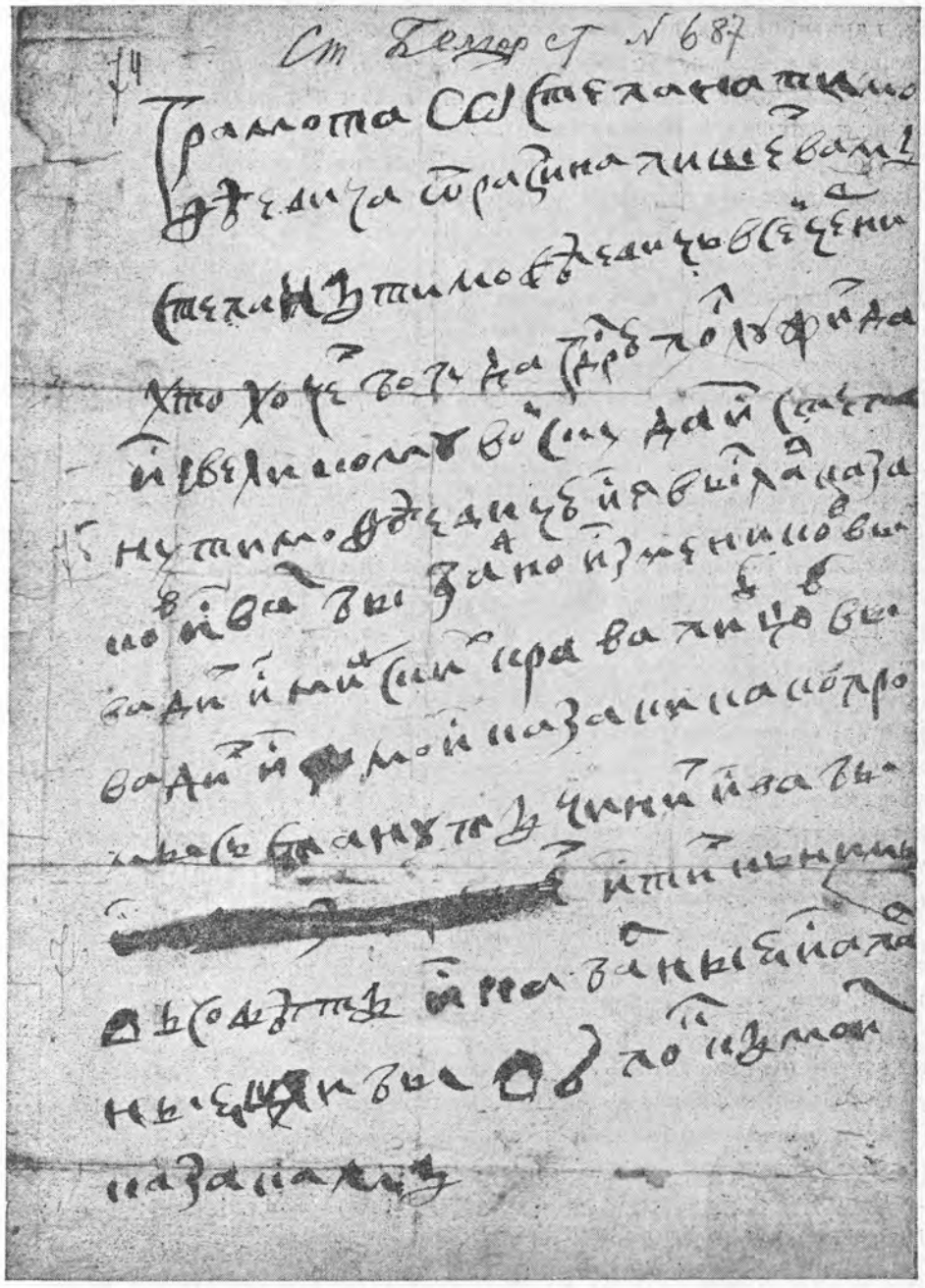
Вести приходили неутешительные. То козловский воевода Степан Хрущев со слов ездивших на Дон торговых людей сообщал, будто казаки говорят, «что де тот Стенька побил на Волге твоих, великого государя, людей», то стольник и товарищ воеводы белгородского полка Петр Скуратов доносил, что высланные из Москвы в Царицын стрельцы в количестве тысячи человек с двух сторон окружены разинцами.

Когда размах восстания наконец выяснился, тот же Дементий Башмаков разослал всем городским воеводам строжайший указ о прекращении «накрепко, под смертной казнью» всяких сношений с Доном и устройстве крепких застав на дорогах для задержания всех людей, направляющихся на Дон и на Волгу, чтобы «к донскому казаку, к вору и к изменнику к Стеньке Разину нихто не приставал».

Одним из первых нарушил этот указ коротоякский воевода Федот Вындомский. За взятки он пропускал на Дон купцов с товарами. Узнав об этом из одного тайного

---

[1] Заводные подводы — запасные подводы.



„Прелестная грамота“ Степана Разина.
„Грамота от Степана Тимофеевича от Разина. Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни. Кто хочет богу да государю послужить, да великому войску, да и Степану Тимофеевичу, и я выслал казаков, и вам бы заодно изменников выводить и мирских кровопивцев выводить. И мои казаки како станут чинить и вам бы итить к ним в совет и кабальные и апальные шли бы в полк к моим казакам“.

доноса, царь приказал другому воеводе, Михаилу Ознобишину, нарядить сыск и, «буде сыщетца допряма, что он, Федот, так делал, ему, Федоту, за ту ево вину учинить наказание — на козле бить кнутом нещадно и ево разжаловать в стрельцы».

Из поступивших в Приказ тайных дел донесений сохранились полностью тексты трех отписок стрелецкого полуголовы Василия Лаговчина, посланного в июне 1670 года в Царицын с заданием по дороге пересмотреть по спискам всех казанских, самарских, саратовских и астраханских ратных людей и стрельцов, участвующих в походе против Разина, спрашивать их о здоровье и похвалить за службу, а затем «с подлинными вестями» ехать обратно в Москву. Как видно из его донесений, добывание сведений о положении в районе восстания было главной целью его поездки.

В первой отписке в Приказ тайных дел Лаговчин сообщает подробности боя между высланными из Астрахани ратными людьми и выступившей им навстречу на стругах[1] и берегом разинской вольницы.

От бежавшего из-под Камышина московского стрельца Ивана Недозора Лаговчин разузнал, что камышинский воевода Ефим Панов, «отворя городовые ворота, воровских казаков пустил в город, а бой с ними не учинил». Забрав казну и пушки, разинцы сожгли Камышин и двинулись вниз по Волге. Тот же Иван Недозор, со слов разинских казаков, рассказал Лаговчину, как Разин взял Черный Яр и тамошнего воеводу Ивана Сергеевского засунул в мешок с песком и камнями и бросил в Волгу. «Стенька Разин,— сообщал царский посланец,— стоит теперь под Астраханью и всякое дурно над Астраханью хочет учинить». Чтобы доподлинно дознаться об его намерениях, «верный государев холоп» Василий Лаговчин послал саратовского стрелецкого сотника Гурия Ломакина в осажденную Астрахань к воеводе князю Прозоровскому. Сотник должен был взять у князя отписку и тут же вернуться назад. Одновременно Лаговчин отправил «тайным обычаем» вниз по Волге еще одного лазутчика. Саратовский стрелец Дмитрий Ширев получил наказ пробираться к Царицыну для выяснения особенно тревоживших царя вопросов: сколько у Разина «собрано воровских казаков и черкас» и «не учинилось ли какого дурна над Астраханью»? Лаговчин заканчивал письмо обещанием немедленно, как только лазутчики вернутся, отписать царю, «что они мне, холопу твоему, про Астрахань и про вора Стеньку Разина скажут».

Во второй отписке тот же Лаговчин сообщал царю важные сведения о неудачном выступлении против Разина двадцати тысяч калмыков, предводительствуемых местными князьками Аюкай-тайшой, Батырь-тайшой и Даша-тайшой. Калмыки пошли к Астрахани по луговой стороне, но, встретившись с другими прибывшими из Крыма калмыцкими племенами, передрались между собой. Один из князьков, Даша-тайша, был при этом убит, и отряд его понес большие потери.

Последняя отписка была самой тревожной. Посланный Лаговчиным в Астрахань лазутчик, стрелецкий сотник Гурий Ломакин, не смог туда пробраться. Астрахань была уже взята Степаном Разиным, а царский воевода князь Прозоровский сброшен вниз головой с раската[2]. Сообщая царю астраханские новости — кто из князей и бояр убит, а кто пощажен Степаном Разиным,— стрелецкий полуголова кончает

[1] Струг — речное плоскодонное гребное судно.

[2] Раскат — насыпь или помост для установки пушек у крепостного вала или стены.

свое донесение малоутешительным сообщением, что, если «твои, великого государя, ратные люди до воровского приходу богоотступного вора и изменника Стеньки Разина к Саратову не поспешат, Саратов за малолюдством служивых людей держать будет некому».

Как только в Москве стало известно, что взявшийся подавить восстание воевода князь Урусов проявляет бездеятельность, царь послал в Муром из Приказа тайных дел со стольником Петром Потемкиным указ о назначении главным воеводой всех действующих против Разина войск энергичного и жестокого князя Юрия Долгорукого, того самого, который еще в 1665 году повесил старшего брата Степана Разина, Ивана, за самовольный уход на Дон отряда казаков под его начальством.

Утраченные навсегда после пожара в Кремле и не обнаруженные и среди бумаг Приказа тайных дел материалы о восстании Степана Разина частично восполняются сведениями, содержащимися в записях московского стола Разрядного приказа. Эти важные сведения неожиданно нашлись в столбцах о воеводстве князя Юрия Долгорукого и состояли главным образом из отписок и донесений самого Долгорукого и других воевод о боях с восставшими, начиная с осады Симбирска. При всей пристрастности составителей этих донесений они содержали много ценных данных и о действиях разинской вольницы.

Из четырех столбцов один был сильно поврежден. Не хватало 310 листов важнейших документов, составлявших приблизительно половину столбца. К счастью, и они потом нашлись в частной коллекции известного любителя древностей Карабанова, оказавшегося обладателем 49 отписок воевод, 12 царских грамот, 10 челобитных и 17 расспросных речей из этого столбца. Выкраденные кем-то из архива и проданные Карабанову документы соединились с остальными уже после Октябрьской революции, когда архив Разрядного приказа и частный фонд Карабанова очутились в одном месте — Центральном государственном архиве древних актов.

Нет необходимости пересказывать здесь содержание уцелевших документов, широко использованных в исторических работах о крестьянской войне под предводительством Степана Разина. Напомним только об одном из них, имеющем прямое отношение к затронутой нами теме — выяснению судьбы утраченных рукописей, представляющих интерес для исследователей этой эпохи. Документ этот — запись расспросных речей подьячего Наума Колесникова, современника Степана Разина.

В сентябре 1670 года, в самый разгар восстания, к коротоякскому воеводе Михайлу Ознобишину привели бородатого оборванца в казачьем кафтане с чужого плеча, назвавшегося этим именем.

Допрошенный самим воеводой оборванец показал, что он и есть уехавший из Москвы в 1669 году подьячий Поместного приказа Наум Колесников, отправленный царем в Кизилбашскую землю — так тогда называли Персию — для сопровождения состоявшего на русской службе голландского купца Томаса Брейна. Купец этот имел поручение от царя подготовить договор с Персией о торговле шелком и отвезти шаху царскую грамоту о совместных действиях против Степана Разина. Не доехав пяти верст до Исфагани, сообщил Наум Колесников, Томас Брейн умер, и царские письма вместе с его имуществом взял его спутник, Томас Рыцарев. Но и того тоже не стало.

Приданный Томасу Брейну «для государевых дел письма» подьячий упросил шаха отпустить его назад домой с персидским послом Юсуф-беком, который как раз собирался в Москву. Но ехать надо было через Астрахань, вскоре захваченную Разиным.

«И Разин,— рассказывал оборванец воеводе,— того посла Юзбаши всего ограбил, великого государя письма и шахова величества письма все взял, подрал и людей ево многих порубил. И меня, Наумка,— плакался оборванец,— он, вор Стенька, всего ограбил и которые у меня были письма для очисти на Москве все подрал и меня трижды выводил на майдан[1] казнить».

Вывезенный нагим на площадь к тому же раскату, с которого был сброшен астраханский воевода князь Прозоровский, царский подьячий уцелел только потому, что за него вступились «полоняники», разинские казаки, отпущенные шахом из плена по просьбе Колесникова.

Показаниями Наума Колесникова устанавливается безвозвратная утрата важных исторических документов переписки царя Алексея Михайловича с персидским шахом Сулейманом о совместных действиях против Степана Разина. Письма эти не сгорели во время кремлевского пожара. Они стали недоступными для исторического исследования потому, что их «передрал», то есть изорвал, сам Степан Разин.

В том же 1671 году, когда было подавлено восстание Степана Разина, во Франции появилась печатная брошюра под названием «Сообщение о подробностях бунта, недавно поднятого в Московии Стенькою Разиным, о его зарождении, развитии и окончании, с объяснением, как был пойман этот бунтовщик, какой ему был вынесен приговор и каким способом он был казнен». Это был перевод с английского. Автор брошюры — англичанин — посетил Россию на корабле «Царица Эсфирь», совершавшем рейсы между Лондоном и Архангельском; по-видимому, в 1670 году он побывал в Москве и других русских городах.

Сочинение было отпечатано в Лондоне и очень быстро там разошлось. Но еще раньше этого оно было переведено прямо с рукописи во Франции, а также на немецкий и на голландский языки. Именно из Франции брошюра английского моряка о восстании Степана Разина попала в Россию и в течение долгого времени, пока не появились первые работы русских историков на эту тему, была чуть ли не единственным источником сведений об этом восстании.

«На это место было страшно взглянуть. Оно походило на преддверие ада,— восклицал англичанин, описывая расправу над восставшими, устроенную главным воеводой всех действовавших против Разина войск князем Юрием Долгоруким в Арзамасе. ...Повсюду стояли виселицы. На каждой из них висело по сорок-пятьдесят человек. В других местах валялось множество обезглавленных тел, плававших в крови. В разных местах находились посаженные на колья. Некоторые из них жили до трех дней и даже говорили...»

По подсчету автора брошюры, в течение трех месяцев было казнено 11 тысяч человек. Жестокость расправы подтверждается и официальными русскими источниками. Князь Долгорукий и другие воеводы вершили суд на месте в ускоренном

[1] М а й д а н — площадное место, базар.

порядке, почти не утруждая себя допросами обвиняемых. Не поэтому ли сохранилось так мало текстов расспросных и пыточных речей? Впрочем, краткие записи расспросных речей некоторых участников восстания все же удалось найти в архивах волжских городов. Утрачены безвозвратно в огне кремлевского пожара только расспросные и пыточные речи самого Степана Разина, его брата Фрола и других его ближайших помощников.

Это дало повод некоторым историкам поспешить с выводами, что Степан Разин на следствии был нем как рыба, отказался отвечать на задаваемые ему судьями вопросы и все время молчал.

Молчание Разина на допросах истолковывалось как доказательство его мужества. Но мужество Степана заключалось совсем не в этом, а в том, что, несмотря на жестокие истязания и пытки, которым он подвергался, Разин смело говорил правду в глаза царским следователям. Это подтверждается свидетельством современника Разина, автора изданной в Англии брошюры. Там прямо сказано, что Степан Разин во время пытки сообщил, что одной из причин, побудивших его поднять восстание, была свирепая расправа, учиненная над его старшим братом Иваном.

Позже среди архивных документов, не имеющих никакого отношения к восстанию Степана Разина, были случайно обнаружены записи еще двух его показаний, данных им во время следствия и несомненно содержавшихся в сгоревшем следственном деле.

Известный археограф П. М. Строев, изучая старинные тексты в патриаршей библиотеке, заглянул однажды в сундук с полуистлевшими и разрозненными свитками и бумагами, которыми ризничий этой библиотеки собирался топить печь. Строев упросил его отдать ему этот сундук, как ненужный. В том-то сундуке, среди действительно пришедших в негодность и сгнивших старых дел, он нашел двенадцать свернутых трубкой столбцов разных размеров и одну тетрадь — подлинное дело о суде над современником Степана Разина, знаменитым реформатором церкви патриархом Никоном. Опальный патриарх обвинялся между прочим и в сношениях с Разиным, распространявшим слух, что Никон плывет вместе с ним по Волге к Москве. В подтверждение этого он даже приказал обить один из стругов своей флотилии черным бархатом.

Один из найденных Строевым столбцов был заверен подлинными подписями всех вселенских патриархов и архиереев, присутствовавших на церковном суде над Никоном.

Первоначально хранившееся в Приказе тайных дел судное дело Никона было разделено на две части еще при царе Алексее Михайловиче. Двенадцать свитков и одна тетрадь были переданы в Посольский приказ и затем перенесены в патриаршую Крестовую палату[1], откуда они, очевидно, и попали в патриаршую библиотеку. Другие же вместе с остатками дел Тайного приказа были при Петре I перевезены в Петербург и сданы в сенатский архив.

Пересмотрев найденные им в сундуке столбцы, Строев обнаружил среди них, между прочим, и копию наказа, данного ярым противником Никона, патриархом

---

[1] Крестовая палата — моленная.

Иоакимом, своему подчиненному, архимандриту Павлу. В наказе говорилось о переводе постриженного в монахи Никона из первоначально назначенного ему места ссылки — Ферапонтова монастыря — в более строгий Кирилло-Белозерский монастырь. Там же в качестве одной из причин этого перевода приводилось обвинение, будто бы Никон совещался «с ворами и изменниками Московского государства, с единомысленники Стеньки Разина». Они якобы звали Никона принять участие в захвате Кириллова монастыря, а потом вместе с ними отправиться на Волгу.

«А вор и изменник Стенька Разин с товарыщи,— утверждал наказ,— и сами с пыток говорили, что от тебя к ним в воровское их войско в Синбирск на такой их злой совет и чернец был послан...»

Обвинение это было основано на доносе князя Самойла Шайсупова, приставленного к бывшему патриарху Никону для наблюдения. О попытках Степана Разина привлечь Никона на свою сторону последний сам однажды откровенно рассказал Шайсупову. Тот поспешил донести об этом самому царю, и в монастырь немедленно прибыл из Приказа тайных дел для расследования голова московских стрельцов Ларион Лопухин.

В наказе упоминается о том, что в Приказе тайных дел на основании доноса Шайсупова была составлена памятка для Лариона Лопухина. В этой, очевидно впоследствии утраченной, памятке было, между прочим, сказано: «...Никон монах говорил князю Самойлу Шайсупову, что при Степане Наумове к нему, в Ферапонтов монастырь, приходили трое казаков, Федька да Евтюшка, а третьему имя припамятовал, а звали де его, Никона, с собою, чтоб с ними шел к Кириллову монастырю. А их де пришло до него двести человек; а есть де готово и пятьсот человек. И чтоб Степана Наумова убить до смерти и Кириллов монастырь разорить и с той большой казною и с пушки и с запасы итти на Волгу».

В наказе Никону ставилось в вину, что «если бы он хотел добра», то не умолчал бы о таком преступном предложении подосланных Степаном Разиным казаков, а велел бы их задержать той самой страже, которая стерегла его, Никона, и отвести в Москву, к государю. А он, уже после того, как восстание было подавлено, рассказал об этих казаках князю Самойлу Шайсупову, да и то «закрытым делом». «А какие люди были собраны для приведения в исполнение этого плана, и где двести человек донских казаков стояло, и каких чинов пятьсот человек приготовлено, и в которых местах, и кто заводчик, то не сказал». И в этом именно и состоял и его злой умысел и «недоброхотство».

«Да на то же ево зломыслие,— утверждал наказ,— и в деле явилось: как Стенька Разин привезен к Москве и в то время в расспросе у пытки и со многих пыток и с огня сказал: приезжал к Синбирску старец от него, Никона, и говорил ему итти вверх Волгою, а он, Никон, в свою сторону пойдет для того, что ему тошно от бояр!.. И тот же старец из-под Синбирска ушел. А сказывал де ему тот старец, что у Никона есть готовых людей с пять тысяч человек, а де люди у него готовы на Бело-озере. И тот старец на бою был; исколол своими руками сына боярского при нем, Стеньке. А товарищ ево, Стенькин, Лазорка, в расспросе же и с пыток и с огня сказал, что старец от Никона к Стеньке приходил на Царицын и был под Синбирском, а для чего приходил, того не ведает. А от Стеньки слышали всем войском, что старец от Нико-

на был с теми словами, что писано выше сего. Да и брат Стеньки, Фролко, с пыток говорил те же речи».

Выслушав приказ царя и патриарха Иоакима о переводе его в отдаленный Кирилло-Белозерский монастырь, бывший патриарх Никон подтвердил, что у него были посланцы от Степана Разина, но они якобы были приведены к нему под конвоем стрельцов. Имен же тех стрельцов Никон не мог вспомнить. И эти казаки, добавил Никон, действительно говорили ему, что у них есть отряд, человек двести или больше в Белозерском уезде, а что это за люди и где стоит этот отряд, они ему не сказали. «А к Разину де, к Синбирску,— закончил монах Никон свое признание,— старца никакого он не посылывал и про пять тысяч людей не приказывал и вверх Волгою Разина звать не веливал».

Третье показание Степана Разина, также несомненно содержавшееся в сгоревших протоколах его допроса, было обнаружено сравнительно недавно, уже в конце XIX столетия, при еще более неожиданных обстоятельствах.

В 1876 году пензенская помещица Евдокия Корниловна Рудольф пожертвовала в местную публичную библиотеку города Керенска несколько старинных рукописей в столбцах. Одна из них раньше принадлежала прежнему владельцу ее имения Александру Вешнякову и была особенно длинной. Когда свиток развернули и смерили, оказалось, что в нем тринадцать аршин и что он скреплен в 27 местах. Рукописью, пролежавшей двести лет в чулане, заинтересовалась редакция «Пензенских губернских ведомостей». Один из ее сотрудников разобрал выцветший текст и обнаружил, что пожертвованный помещицей свиток является грамотой несовершеннолетних царей Ивана и Петра Алексеевичей, посланной в конце XVII столетия керенскому воеводе Чубарову по довольно обыденному вопросу—о земельной тяжбе между местным помешиком Вешняковым и сыном прежнего владельца имения, выкрестом из татар Карачуриным.

Грамота напоминала о челобитной головы московских стрельцов Гермогена Вешнякова покойному царю Алексею Михайловичу. Челобитчик писал, что он ходил со своим полком на польского короля, состоял на многих службах в польских, немецких и черкасских городах и был дважды ранен (один раз из мушкета в правую ногу — пуля так и осталась в ней, второй раз из пищали в левый бок — пуля вышла навылет) и за все свои многие службы, за кровь и за раны ничем не был пожалован. Царь велел отписать на его имя земельные угодья, принадлежавшие раньше кадомскому татарину Асайю Байбулатову Карачурину. Во время восстания Степана Разина этот татарин служил в полку боярина и воеводы князя Юрия Барятинского, но перебежал на сторону восставших и с тех пор бесследно исчез.

Унаследовавший эту землю сын стрелецкого головы Матвей Вешняков взял к себе на воспитание малолетнего сына Карачурина, Онашку, и насильно окрестил его в православную веру. Но, достигнув совершеннолетия и поступив на военную службу, Онашка тоже подал царю челобитную. Он стал требовать назад землю своего отца, ссылаясь на то, что тот служил на государевой службе и сгинул во время военных действий против Степана Разина. Внук же стрелецкого головы Александр Вешняков старался удержать эту землю, опираясь на пыточные

речи Степана Разина, якобы подтвердившего, что отец Онашки был его сообщником.

«В прошлом де во 179 (1671) году вор изменник Стенька Разин, как привезен был к Москве, —сообщалось в грамоте,— и в то число говорил с пытки в измене и в воровстве на кадомского татарина на Асайку Карачурина, а в какой измене говорил и что ево, Асайкина, измена и то писано в деле вора Стеньки Разина, а те ево расспросные речи в приказе Казанского дворца и по тем де ево расспросным речам, Асайку, по указу отца нашего, блаженной памяти великого государя, велено сыскать».

В грамоте также говорилось, что для розыска Асайя Карачурина был послан с Москвы в Кадом, и в Керенск, и в иные низовые города из Приказа Казанского дворца сыщик — стрелецкий полуголова Алексей Лужин. Тут же, в подкрепление выставленных Александром Вешняковым доводов, приводились и выдержки из розыскного дела Асайи Карачурина, являвшиеся одновременно выписками из сгоревшего потом следственного дела Степана Разина.

«В расспросе и с пытки вор изменник Стенька Разин сказал,— гласил текст одной выписки,— приходил де к нему под Синбирском татарин, пожиточный человек, Асайком зовут, и говорил ему, чтоб им иттить под Казань, а в Казани де сидеть не будут, а которого города тот татарин, того он не ведает, а ростом де он не мал, борода черна, щека перерублена». Степан Разин также показал, что именно Асай Карачурин переводил разинское письмо к казанским татарам, в котором Степан звал их «быть заодно» и предостерегал: «а буде заодно не будете и вам бы не пенять». И Карачурин сам подтверждал в этом письме: «Я, Асай Айбулатов, состою при Степане Тимофеевиче».

Разыскивая чернобородого татарина с перерубленной щекой, сыщик Алексей Лужин побывал в девяти городах: Алатыре, Арзамасе, Кадоме, Касимове, Керенске, Саранске, Свияжске, Симбирске и Темникове и, не найдя его, отправил в Москву под конвоем одиннадцать других татар и даже одного русского священника — отца Алексея. На расспросе и с пытки они показали, что Асай Карачурин имел связь со своим племянником Уразкою, а куда он сам девался, этого они не ведают. Отпирался во всем и несколько раз пытанный Уразка, и в конце концов всех задержанных пришлось отпустить. Сыну же Карачурина, Онашке, в восстановлении его прав на землю было отказано.

Такими необычными путями удалось приблизительно установить содержание некоторых расспросных и пыточных речей Степана Разина по трем, пусть не самым главным, вопросам, заданным ему во время следствия.

Среди бумаг Приказа тайных дел, оставшихся после рассылки по другим приказам, найдена коротенькая памятная записка, написанная собственноручно царем Алексеем Михайловичем для бояр, руководивших следствием по делу Разина. Этот документ объясняет, по каким интересовавшим лично царя вопросам должен был быть допрошен Степан Разин. Таких вопросов было десять.

Первый из них гласил:

„О князе Иване Прозоровском и о дьяках, за што побил и какая шюба?“

Боярин князь Иван Семенович Прозоровский был назначен воеводой в Астрахань в июле 1667 года после того, как в Москву стали поступать тревожные известия

о занятии Гурьева восставшими казаками под предводительством Разина и о намерении их идти на Астрахань. Но вместо этого разинская вольница поплыла на стругах в Персию, опустошая ее берега своими набегами.

Когда изнуренные этим походом казаки возвращались назад, князь Прозоровский послал им навстречу своего подручного воеводу князя Львова. Не сумев разбить восставших, Львов договорился с Разиным, что он с казаками вернется на Дон. За это князь Прозоровский получил от Разина богатые подарки.

Сохранилось предание, что, приехав как-то на струге в гости к Разину, жадный воевода увидел у него роскошную соболью шубу, покрытую дорогой персидской парчой, и стал вымогать ее у Разина, угрожая посчитаться с ним, если он ее не отдаст. Разин отдал шубу со словами: «Бери, лишь бы не наделала она шуму».

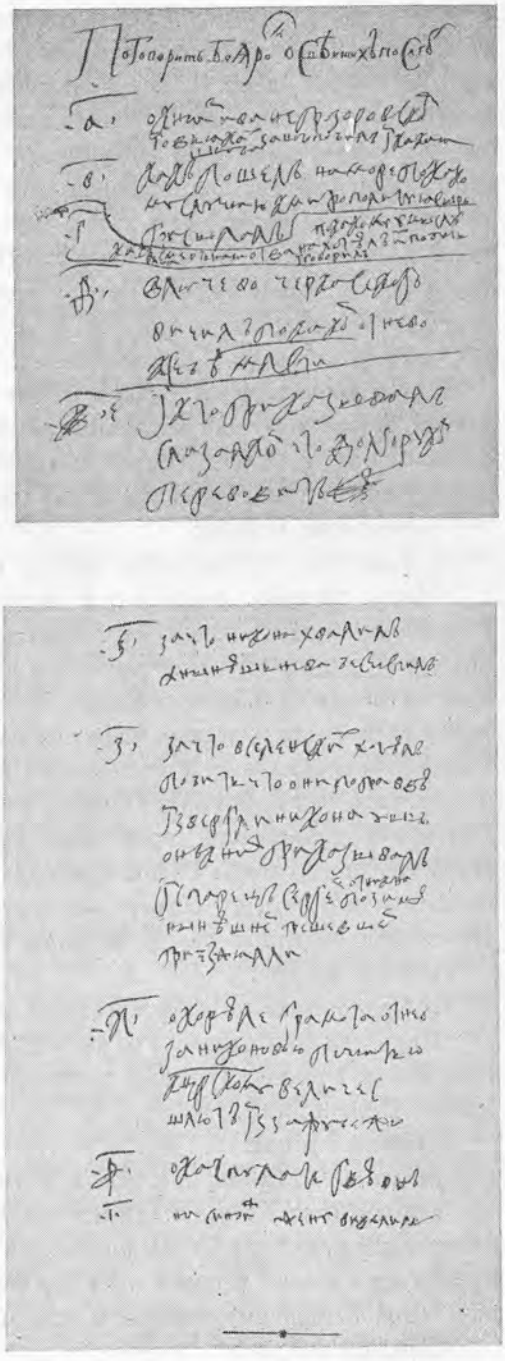
Но «шуму наделала» не шуба, а сам Разин, когда он через год снова подступил к Астрахани и сбросил корыстного воеводу с высокого раската. Тогда же он рассчитался и с ближайшими помощниками воеводы — приказными, ненавистными народу. Некоторые из них были зарублены, а подьячий астраханской приказной палаты Алексей Алексеев повешен за ребро.

Царь, очевидно, хотел своим вопросом уточнить мотивы суровой расправы разинцев с князем Прозоровским и другими начальными и служилыми людьми и узнать от самого Разина подробности вымогательства князем дорогой шубы, о чем царю могло быть известно по слухам и через Приказ тайных дел.

Второй вопрос был такой:

„Как пошел на море, по какому случаю к митрополиту Ясырь присылал?“

Царя очень интересовал вопрос о взаимоотношениях Разина с представителями



Памятная записка царя Алексея Михайловича боярам, о чем допрашивать Степана Разина. Последние вопросы написаны собственноручно царем. (Хранится в ЦГАДА.)

власти не только светской, но и духовной. Из челобитной астраханского митрополита Иосифа он знал, что Разин, возвращаясь со своими казаками из персидского похода, нагрянул на принадлежавший митрополиту учуг — большое рыболовецкое хозяйство в устье Волги — и захватил там все имевшиеся запасы икры, рыбы, хлеба и жира, в которых он, видимо, нуждался, а также все имущество рыболовецкого стана: струги, лодки, неводы, багры. Но, увезя все это с собой, Разин все же оставил в этом стане часть своей добычи, состоявшей из всякого имущества, в том числе и церковного, и захваченных в Персии пленников (ясырь). Царь, по-видимому, хотел знать, что побудило Разина вознаградить митрополита за взятые им запасы.

Третий вопрос:

„По какому умыслу, как вина смертная отдана, хотел их побить?“

Царь добивался от Разина ответа: что заставило его поднять всенародное восстание, после того как астраханские воеводы, князь Прозоровский и его помощник князь Львов, отдали ему царскую «милостивую грамоту», избавлявшую его от смертной казни, которой он подлежал за самовольный поход в Персию?

Четвертый вопрос:

„Для чего Черкасского вичил, по какой от него к себе милости?“

Царь, видимо, располагал сведениями, что некоторые воеводы, побаиваясь Разина, относились к нему снисходительно и делали разные поблажки. Из показаний оказавшегося в Астрахани во время восстания и находившегося три недели при Разине курского священника Ивана Колесникова и, возможно, также из других источников царю было известно, что в той же речи перед казачьим кругом, в которой Степан Разин перечислял имена неугодных казакам воевод, бояр и дьяков, он положительно отозвался о двух боярах. Один из них был бывший астраханский воевода князь Григорий Сунчалеевич Черкасский, уроженец Кавказа, умевший ладить с казаками. Царь требовал, чтобы Разин признался, почему он говорил с уважением о Черкасском, «вичил» его, то есть называл его по имени-отчеству «Григорий Сунчелеевич. Не сделал ли князь тайно от царя Разину какую-нибудь поблажку?

Пятый вопрос:

„И кто приказ к вам сказал кому, что Долгорукий переведен?“

Царь любопытствовал, от кого Разину удалось узнать, что на место медлительного князя Урусова главным воеводой действовавших против него сил был назначен князь Долгорукий.

Шестой вопрос:

„За что Никона хвалил, а нынешнего бесчестил?“

Вопрос этот касался отношения Разина к бывшему патриарху Никону. Царь допытывался, почему Разин распускал слухи, что Никон поддерживает его движение и даже едет вместе с ним на обитом черным бархатом струге, и чем объясняется отрицательное отношение Разина к новому, избранному на место Никона патриарху.

Седьмой вопрос:

„За что вселенских хотел побить, что они по правде извергли Никона, и што он к ним приказывал, и старец Сергий от Никона по зиме нынешней, прешедшей, приезжали ли?“

Царь, очевидно, подозревал Разина в намерении расправиться с восточными

патриархами Паисием и Макарием, участвовавшими в церковном суде над Никоном, и допытывался, не приказывал ли Разин напасть на них на обратном пути, когда они возвращались на Восток. Он хотел также выведать у Разина, приезжал ли к нему от Никона для тайной встречи тот самый чернец, старец Сергий, посылку которого к Разину Никон отрицал.

Восьмой вопрос:

„О Кореле, грамота от него за Никоновою печатью к царскому Величеству шлют из-за рубежа".

Этот вопрос особенно тревожил царя. Вместе с боярами он слушал доклад вернувшегося из поездки в Швецию чужеземца полковника Николая фон Стадена о его беседах с шведскими министрами, генералом Врангелем и Тотте.

Генерал Врангель сообщил Стадену тревожную новость: будто бы донской казак Степан Разин прислал карельским и ижорским крестьянам листы за подписью и печатью бывшего патриарха Никона. Царь просил после этого шведского короля, чтобы он «к его царскому величеству показал дружбу и любовь и те листы за рукою и печатью бышего Никона-патриарха и тех, с которыми те листы присланы, к великому государю прислал».

Недоволен был царь также и тем, что подданные шведского короля «печатные дворы держат» и на них «куранты», то есть придворно-дипломатические ведомости печатают с ложными известиями о патриархе Никоне и Степане Разине и этим «между обоими государями чинят ссоры и нелюбовь».

В шведских курантах, в частности, сообщалось, будто бывший московский патриарх, собрав большое войско, хочет идти войной на царя за то, что царь, обесчестив его, «от патриаршего чина без всякие вины отставил». Патриарх Никон расхваливался в этих курантах как «премудрый и ученый человек и во всем лучше самого царя».

Но, по-видимому, особенно возмутило царя известие тех же курантов, что он якобы ищет случая «с Стенькою Разиным миритца, к чему и Разин склонен, токмо таким намереньем первое: чтоб царское величество ево царем казанским и астраханским почитал. Второе: чтоб он, великий государь, ему, на ево войско, из своей царской казны дать указал двадцать бочек золота. Третье: желает он же, Стенька, чтоб великий государь ему выдать изволил осми человек ближних его бояр, которых он за прегрешения их казнити умыслил. Четвертое: последнее ж желает, чтоб прежний патриарх, который ныне у него пребывает, паки в свой чин возвратити изволил».

Царь требовал, чтобы шведский король жестоко наказал своих подданных за распространение таких ложных известий и указал под угрозой смертной казни, чтобы «отнюдь впредь таких ложных курантов не печатали».

29 декабря 1672 года шведский посол Адольф Эбершельд был вызван в Посольский приказ к боярину Дмитрию Долгорукому и думному дворянину Артамону Матвееву, поставившим ему на вид, что шведский король до сих пор «сыскать не указал и прислать не изволил» не дававшие спать царю разинские «прелестные письма» с Никоновой печатью.

Посол поспешил заверить бояр, что «королевское величество в Корелскую и в Ижорскую земли сыскивать посылал напрасно. Но, такого де листа в тех Корел-

ской и Ижорской землях и в иных королевского величества городах отнюдь нет и не бывало. А если б де тот воровской лист сыскался, то королевское б величество тот лист к царскому величеству прислал бы с ним, послом».

Расспрашивая Разина о его листах с Никоновой печатью, царь пытался получить из первоисточника исчерпывающий ответ на тот же, интересовавший его вопрос, который ему не удалось выяснить окольным путем. Очевидно, он имел в виду использовать ответ Разина против бывшего патриарха Никона, не переставшего смущать умы и после низложения его церковным собором.

Девятый вопрос:

„О Каспулате, где он?“ —касался еще одного князя Черкасского, Каспулата Муцаловича, родного племянника бывшего астраханского воеводы Григория Сунчалеевича Черкасского.

Этого кабардинского князя, служившего в Терском городе, Разин хорошо знал. Еще в 1651 году они вместе договаривались с калмыцкими тайшами о выступлении против крымского хана. Донские казаки Разина должны были чинить поиск вместе с конными черкесами кабардинского мурзы. Но потом их пути разошлись. Когда Разин поднял восстание, царские воеводы натравили на него тех же конных черкесов. Это не помешало Разину в 7176 году (1668) забросить князю с моря грамотку, чтоб он прислал ему разного запасу, не только продовольствия и вина для прокорма подтянувшей животы вольницы, но и пороху и свинца для угощения государевых стрельцов.

Неизвестно, что ответил кабардинский мурза Каспулат Разину, и вообще ответил ли он ему. Но уже самый факт посылки Разиным такой грамоты князю Черкасскому заслуживает внимания. Возможно, что у царя были какие-нибудь основания сомневаться в верности Каспулата, если он нашел нужным не кого-нибудь другого, а именно Разина спрашивать: «Где Каспулат?» Возможно, что Разин рассеял эти сомнения. Каспулат остался верен царю. Именно он вскоре после поимки Разина подоспел на помощь к осадившему Астрахань воеводе Милославскому.

Косвенный ответ на вопрос: «Где Каспулат?» дает запись в разрядной книге, сделанная в июне 1675 года, через год после казни Разина. 3 июня князь Каспулат Муцалович Черкасский в сопровождении полусотни горских черкесских узденей прибыл в Москву и сразу же был вызван в царский шатер на Воробьевых горах, где в это время находился Алексей Михайлович. Не кто иной, как самый близкий к царю боярин Артамон Сергеевич Матвеев, объявил царю о его приезде и ставил кабардинского мурзу «к царской руке». Думный же дьяк Посольского приказа Григорий Богданов в это время «чел вслух его многую службу, как он великому государю служил и Терек и Астрахань очистил, и воров и изменников и богоотступников Степана Разина и с братом его, Фролком, побил наголову и совсем их разорил...» После этого тот же боярин Матвеев объявил Каспулату одну за другой царские милости. Царь велел «об здоровье его спрошать» и сесть напротив себя «опряченно бояр» на особой скамье, покрытой золотым ковром, на которой обычно садились только царевичи.

«Да его ж великий государь жаловал за его службу медом красным,— продолжает разрядная книга,— а как он ковш меду выпил, да ему ж государь жалованье

дали за его ж службу: кубок да шубу золотную[1] на соболях в двести рублей, да шапку горлатную, да сорок пар соболей, да сто рублей деньгами, да и едой и питьем с царского стола».

Погостив в Москве несколько дней, кабардинский мурза перед отъездом вновь представлялся царю и был пожалован второй шубой золотной на соболях, ценой в триста рублей, да двумя отрезами разноцветного сукна. А когда он уже отъехал, вслед за ним был послан сокольник передать еще один царский подарок — живых кречетов для птичьей потехи.

Десятый вопрос:

«*На Синбир жену видел ли?*» — то есть успел ли Разин в Симбирске повидать жену — вряд ли был поставлен ему под пыткой. Этот вопрос, очевидно, был задан царем из простого любопытства.

Вместе с сыскным делом о Степане Разине сгорел и подлинник приговора по этому делу. Между тем полный текст этого приговора представлял большой интерес для историков: ведь он мог в какой-то мере возместить утраченное следственное дело.

В приговоре, хотя и в общих чертах, и, конечно, в одностороннем пристрастном освещении, были обрисованы все этапы восстания, перечислены все установленные следствием действия восставших, названы имена помощников и единомышленников Разина, обоснованы все предъявленные ему царским правительством обвинения. Одним словом, этот документ содержал богатейший материал о восстании.

В свое время приговор по делу Степана Разина существовал, конечно, не в одном экземпляре, но среди уцелевших документов удалось найти только одну-единственную, притом сильно поврежденную и поэтому неполноценную копию. Она была случайно обнаружена в «Донских делах» Московского главного архива министерства иностранных дел. Больше половины текста в копии недоставало, и, к немалой досаде исследователей, была оторвана как раз вся первая его половина. Это было бы невозместимой утратой, если бы содержание этой части приговора не удалось узнать другим путем. Полный его текст был опубликован почти триста лет назад в Париже в качестве приложения к французскому изданию первого печатного сообщения о восстании Степана Разина, написанного английским моряком с корабля «Царица Эсфирь».

При сличении французского текста приговора с сохранившейся на русском языке второй его половиной было установлено полное совпадение их содержания. Из этого был сделан вывод, что автор брошюры во время своего пребывания в России, очевидно, имел возможность снять копию с русского оригинала.

Французским изданием приговора, являвшимся в свою очередь только переводом с английского, долгое время вынуждены были пользоваться русские историки, до тех пор пока в конце прошлого столетия в России не была найдена еще одна копия, впрочем тоже поврежденная. Эта копия оказалась вшитой в старинный рукописный сборник, приобретенный у частного лица «Обществом любителей истории и древностей российских», и отличалась от первой тем, что была снята вскоре после суда

---

[1] З о л о т н а я — сделанная из материи, затканной золотыми нитями.

над Разиным. Но на этот раз недоставало не половины, а только одной четверти текста. Кроме того, почти одновременно в Германии и в Голландии был также опубликован еще один перевод приговора по делу Степана Разина, сделанный, однако, не с приложения к сочинению английского моряка, а с какого-то другого, никому не известного русского оригинала. Текст его был опубликован впервые еще в 1738 году в книге немецкого путешественника Вебера «Преображенная Россия».

Так как немецкий перевод отличался наибольшей точностью, он и был использован для восстановления полного текста приговора. Но неизбежных разночтений при этом все же не удалось устранить. Таким образом, в течение двух с половиной столетий подлинный русский текст приговора по делу Степана Разина не был полностью известен в самой России.

Только после Октябрьской революции, когда в розыске и исследовании документов о восстании Разина произошел большой сдвиг, было открыто много новых, не использованных раньше источников для изучения этого восстания. В тех же «Донских делах» бывшего Московского главного архива министерства иностранных дел, где был найден первый неполноценный текст приговора по делу Разина, среди других, еще никем не исследованных рукописей научным сотрудником архива А. А. Покровским был наконец обнаружен и опубликован в 1930 году полный его текст, списанный со сгоревшего подлинника и озаглавленный: «Список с скаски, какова сказана у казни вору богоотступнику и изменнику Стеньке Разину».

«Вор и богоотступник и изменник донской казак Стенька Разин!» — так начиналась эта «скаска», над составлением которой несколько суток потели бояре. Приговор был написан в форме обличительной речи, обращенной лично к обвиняемому. «...В прошлом во 175-м году, забыв ты страх божий и великого государя... крестное целование и его государскую милость ему, великому государю, изменил и собрався, пошел з дому для воровства на Волгу и на Волге многие пакости починил...»

«Скаска» подробно перечисляла, какие именно: захват купеческих, монастырских и патриарших барж и кораблей, разрыв переговоров с царскими воеводами и расправа над ними, нападение на персидские корабли и города, «и тем у великого государя с шаховым величеством ссору учинил многую». После помилования Разина царем (на это обстоятельство особенно напирал приговор) «Ты ж, вор, забыв великого государя милостивую пощаду», он снова «пошел на Волгу для своего воровства...»

Слово «вор», употреблявшееся в те времена в смысле «законоотступник», склоняется в приговоре на все лады. Старательно перечисляются имена всех утопленных Разиным в Волге царских воевод:

«Ты ж вор, Стенька, пришед под Царицын... воеводу Тимофея Тургенева и царицынских жителей, которые к твоему воровству не пристали, побил и посажал в воду...

...Ты ж вор, сложась в Астрахани с ворами ж, боярина и воеводу князя Семена Ивановича Прозоровского, взяв из соборной церкви, с роскату бросил... А иных в воду пометал...»

Ненавистью к смертельному врагу и злорадством проникнута каждая строка «скаски», сочиненной уцелевшими от народного возмездия воеводами и боярами:

«А как ты, вор, пришел на Саратов и ты государеву денежную казну, и хлеб, и золотые, что были на Саратове, и дворцового промыслу все пограбил, и воеводу Кузму Лутохина и детей боярских побил...

А с Саратова пошел ты, вор, к Самаре; и самарские жители город тебе здали... и ты государеву казну пограбил же и воеводу Ивана Алфимова и самарцов, которые к твоему воровству не пристали, побил же.

А от Самары ты, вор и богоотступник, с товарыщи под Синбирской пришел, а, пришед под Синбирской, з государевыми ратными людьми бился...

А ты, вор Фролко,— эти слова относились уже к брату Разина,— пристав к воровству брата своего и соединясь с такими ж ворами, ходил, собрався, к украинным городам[1] и в иные места и многое разоренье чинил и людей побивал...

...И за такие ваши злые и мерзкие пред господом богом дела, и к великому государю за измену и ко всему Московскому государству за разорение,— подытоживает заключительная часть «скаски»,— по указу великого государя бояре приговорили казнить злою смертью, четвертовать, а тебе, Фролку, голову отсечь».

Приговор этот был оглашен и приведен в исполнение публично на Красной площади. Степан Разин выслушал его спокойно и не проронил ни слова, только перекрестился.

Но откуда это стало известно? Какие документы о последних минутах жизни народного мстителя уцелели и сохранились до наших дней?

Несмотря на то что Разин был казнен публично при огромном скоплении народа, основным источником, из которого историки долгое время черпали сведения о подробностях казни и последних минутах его жизни, были только рассказы присутствовавших на этой казни иностранцев.

Лишь через двести лет после казни — в 1867 году — в «Вологодских епархиальных ведомостях» было впервые опубликовано найденное, вероятно, в монастырском архиве свидетельство одного москвича, видевшего Разина накануне казни.

В письме к вологодскому архиепископу Симону проживавший в июне 1671 года в Москве стряпчий Акинфий Горяинов писал:

«А ныне, государь, привезли к Москве донские казаки вора Степана Разина и с братом и бояре ныне беспрестанно за тем сидят. С двора съеждяют на первом часу дня, а разъезждяются часу в тринадцатом дни. По два дни пытали. На Красной площади изготовлены ямы и колы вострены.

По оба дни сказано ему вершение: по се число не вершен. А в город он веден: сделана ларь на четырех колесах, а по краям поставлены два столба, да поперешное бревно, да над головою ево другое поперешное бревно; то он был на ларь поставлен, чтобы всякому было видно, а к бревнам и к столбам был прикован. А брат его был прикован к ларе на чепях, а шел пеш, а ноги скованы».

Те же самые сведения сообщал Акинфий Горяинов и в письме к своему брату настоятелю Толгского монастыря близ Ярославля, но оба письма касались только приготовлений к казни Разина.

Описание самой казни лишь в воспоминаниях иностранцев отчасти объясняют

---

[1] Украинные города — города на окраинах Русского государства.

записки Якова Рейтенфельса, племянника главного врача царя. В поднесенном им впоследствии светлейшему тосканскому герцогу Козьме III «Сказании о Московии» Рейтенфельс писал: «Площадь, на которой преступник понес свое наказание, была по приказанию царя окружена тройным рядом преданнейших солдат, и только иностранцы допускались в середину огороженного места, а на перекрестках по всему городу стояли отряды войск». Но эта запись не опровергает и другого факта: что Разин был казнен при огромном стечении народа.

Подтверждая сведения, сообщенные Акинфием Горяиновым в письме к архиепископу, Рейтенфельс дальше пишет:

«Этого изменника ввезли в город прикованным цепями к виселице, на возвышении, точно в триумфальной колеснице, так, чтобы все его видели. За колесницей следовали беспорядочной толпой солдаты и пленники, улицы все были заполнены невероятным количеством зрителей, которых отовсюду привлекло из домов, одних — необыкновенное зрелище или негодование, а многих даже и сожаление. В темнице его били кнутом, жгли огнем, капали ледяную воду на голову и подвергали еще многим другим утонченным пыткам. Тело его было уже все изъязвлено так, что удары кнута падали на обнаженные кости, а он все-таки так пренебрегал ими, что не только не кричал, но даже не стонал и упрекал брата, разделявшего с ним страдания, в малодушии и изнеженности».

Дальше Рейтенфельс приводит подробности и самой казни, не описанной в письме Горяинова:

«А Стенька, выслушав сперва длинный перечень своих преступлений и смертный приговор, во всеуслышанье объявленный судьею, перекрестился, лег на смертную плаху и последовательно был лишен правой и левой рук и ног и, наконец, головы...»

Стойкость Разина в момент исполнения приговора отметили и все другие иностранные наблюдатели, отнюдь не сочувствовавшие ему.

«Он казался вовсе не смущенным и не произнес ни одного слова, а только низко поклонился,— сообщает автор английского «Известия о бунте Стеньки Разина», также, видимо, присутствовавший при казни,— когда же палач намеревался приступить к исполнению своей обязанности, то он перекрестился несколько раз...

Затем он поклонился трижды на три стороны собравшейся вокруг толпе, говоря «прости». Немедленно его положили меж двух бревен и отрубили правую руку по локоть и левую ногу по колено; после того ему отсекли топором голову. Все это было сделано с большой поспешностью в весьма короткое время, и Стенька не испустил ни малейшего вздоха и не обнаружил ничем, что он чувствовал».

Большую твердость Степана Разина в момент казни подчеркнул в своих записках и секретарь нидерландского посольства Балтазар Койэт, ездивший после сытного обеда смотреть растыканные по кольям «голову и четвертованные останки трупа Стеньки Разина».

Всем иностранцам, присутствовавшим при казни Степана Разина и обратившим внимание на его мужество, бросился в глаза и другой факт: потеря самообладания его братом, очевидно, сломленным многодневными пытками и с большим страхом ожидавшим смерти. Стремление любой ценой продлить свою жизнь заставило его в момент исполнения приговора над Степаном истошно выкрикнуть «государево слово».

Так поступали в то время обычно доносчики, извещающие, что им известна какая-нибудь государственная тайна, которую они могут сообщить только одному царю.

«Молчи, собака!» — еще успел предостеречь брата Степан. Но исполнение приговора над Фролом Разиным было приостановлено. Его отвезли обратно в тюрьму, и допрос возобновился.

Данные им показания, очевидно, не были приобщены к уже законченному следственному делу. Копия записи его расспросных речей сохранилась.

Свой внезапный выкрик на площади в момент казни брата Фрол Разин на допросе объяснял тем, что «как де ево пытали во всяких ево воровствах, и в то де время он в оторопях и от многой пытки в память не пришел, а ныне де он опамятовался и скажет про все, что у него в памяти есть. Как де брат ево, Стенька, Астрахань взял и в то де время взял с Бухарского двора девять тайз дорогами[1], шолком, с сафьяны и с киндяки и отдал на збереженье астраханскому митрополиту, и ныне у него. А про письма сказал, которые де воровские письма у брата ево были к нему присланы откуда ни есть, и всякие что у него ни были, то все брат ево, Стенька, ухоронил в землю для того, как де он, Стенька, хотел итить вверх к Царицыну, а в дому де у него никого нет. И он де все свои письма, собрав, и поклал в кувшин в денежной и, засмоля, закопал в землю на острову реки Дону на урочище[2] на Прорве, под вербою, а та де верба крива посередке, а около ее густые вербы, а того де острову вкруг версты две или три».

«А сказывал де ему про то про все брат его, Стенька, — добавил Фрол Разин, — в то время как он, Фролко, хотел ехать на Царицын для Стенькины рухляди».

Тут же было дано указание о розыске таинственного кувшина, зарытого Степаном Разиным. Поиски производились очень тщательно.

В записной книге московского стола Разрядного приказа № 7 сохранилось краткое сообщение об этом в отчете о поездке на Дон с особым поручением царского стольника и полковника Григория Косогова и дьяка Андрея Богданова. Они отправились туда вместе с возвращавшимся из Москвы «крестным отцом» Разина, донским атаманом Корнилом Яковлевым, предавшим царю своего крестника и привезшим его скованным на казнь.

В благодарность за поимку Разина царские посланцы везли отощавшим казакам денежное жалованье, хлеб и даже пушечные запасы. Раздав привезенное и приняв «по чиновной книге» присягу в верности от пытавшихся все же уклониться от нее казаков, они поехали на урочище Прорву, названное так по прорвавшемуся из прежнего русла протоку, «для сыску воровских писем, про которые сказал вор Фролка Разин».

В сделанном ими по возвращении в Москву докладе говорится, что они «тех писем искали накрепко с выборными донскими казаки и под многими вербами копали и щупали, но не сыскали».

---

[1] Дороги — восточная шелковая ткань типа тафты.
[2] Урочище — памятное место, обычно населенное.

Денежный кувшин с перепиской Степана Разина, находка которого могла бы дать историкам очень ценные сведения, быть может, и до сих пор таится под корнями давно срубленной или сгнившей вербы на одном из донских островов.

Несмотря на неудачу предпринятых царскими посланцами поисков, исполнение приговора над Фролом Разиным было отсрочено на целых пять лет. Его продолжали допрашивать и пытать и по другим вопросам, ускользнувшим от внимания бояр во время следствия. Но с жизнью ему все же пришлось расстаться.

О его казни упоминает в своих записях все тот же любознательный секретарь нидерландского посольства Балтазар Койэт.

26 мая 1676 года он с несколькими чинами посольства ездил кататься за Москву-реку и видел по дороге, «как вели на смерть брата великого мятежника Степана Разина».

* * *

В тридцатых годах был выпущен первый советский сборник документов о восстании Разина, в котором были впервые опубликованы полный текст вынесенного ему приговора и тексты немногих дошедших до наших дней «прелестных грамот».

Центральным государственным архивом древних актов совместно с Институтом истории Академии наук СССР издано два новых тома документов о крестьянской войне под предводительством Степана Разина, извлеченных главным образом из архивных фондов. Предстоит выпуск еще одного тома, составленного старшим научным сотрудником ЦГАДА Е. А. Швецовой под редакцией доктора исторических наук профессора А. А. Новосельского. Наряду с документами, выявленными еще дворянскими историками, теперь опубликованы и такие, которыми эти историки мало интересовались. Исследуя главным образом обстоятельства разгрома восстания, они не стремились выяснять, какие глубокие следы оно оставило в сознании народных масс. А между тем как раз об этом говорят уцелевшие дела.

Подготовляя к печати очередной сборник о крестьянской войне под предводительством Разина, Е. А. Швецова обнаружила новый документ о его казни, очевидно, исходящий из правительственных кругов. В нем говорится о том, что Разин «месть принял на Москве на Красной площади с братом своим Фролком». Там же сообщается, что головы казненных, их руки и ноги были вздеты на высокие деревья за Москвой-рекой и торчали там «до исчезнутия». Этот документ объясняет противоречивые показания источников о месте казни Разина. По одной версии, он был казнен на Красной площади, по другой — на Болоте, за Москвой-рекой. Из найденного Е. А. Швецовой документа видно, что казнь состоялась на Красной площади, а потом останки казненного были перевезены в Замоскворечье. Однако и в этом документе есть неточности, заставляющие относиться к нему критически, тем более что он не датирован. Сообщая новые ценные сведения об обстоятельствах казни Степана Разина, составитель его явно ошибается, утверждая, что Фрол Разин был казнен одновременно со своим братом. Это известие противоречит другим сведениям, из которых вытекает, что Фрол Разин был казнен на несколько лет позже Степана. Еще одна загадка для историков-источниковедов!

О ЧЕМ МОЛЧАЛ КОЛОКОЛ

ПОСЛЕ смерти царя Алексея Михайловича боярин Родион Матвеевич Стрешнев выдал бывшему тайному дьяку Дементию Башмакову расписку о принятии от него целого мешка тайных азбук. Из этого следует, что в Приказе тайных дел они имелись в разных вариантах. Никто из подьячих не должен был знать все образцы, чтобы секретную грамоту, написанную одним из них, не мог прочесть другой.

Тайнописью* обычно писались и «памяти», то есть инструкции подьячим Тайного приказа, ездившим за границу с разнообразными, иногда очень ответственными поручениями, а не только для слежки за послами, как утверждал Котошихин.

Дипломатическая переписка с первыми русскими послами за рубежом, в том числе и написанная тайнописью, поступала обычно в Посольский приказ и частично сохранилась в его архиве.

Но, как видно из любопытных документов, найденных среди бумаг Приказа тайных дел, изобретением способов тайнописи занимался и сам руководитель этого приказа — «всеа великия и малыя и белыя Росии самодержец».

Состоявший когда-то в ведении Приказа тайных дел древнейший подмосковный Саввино-Сторожевский монастырь* и теперь усердно посещается, правда, уже не богомольцами, а экскурсантами: в этом монастыре находится и местный музей.

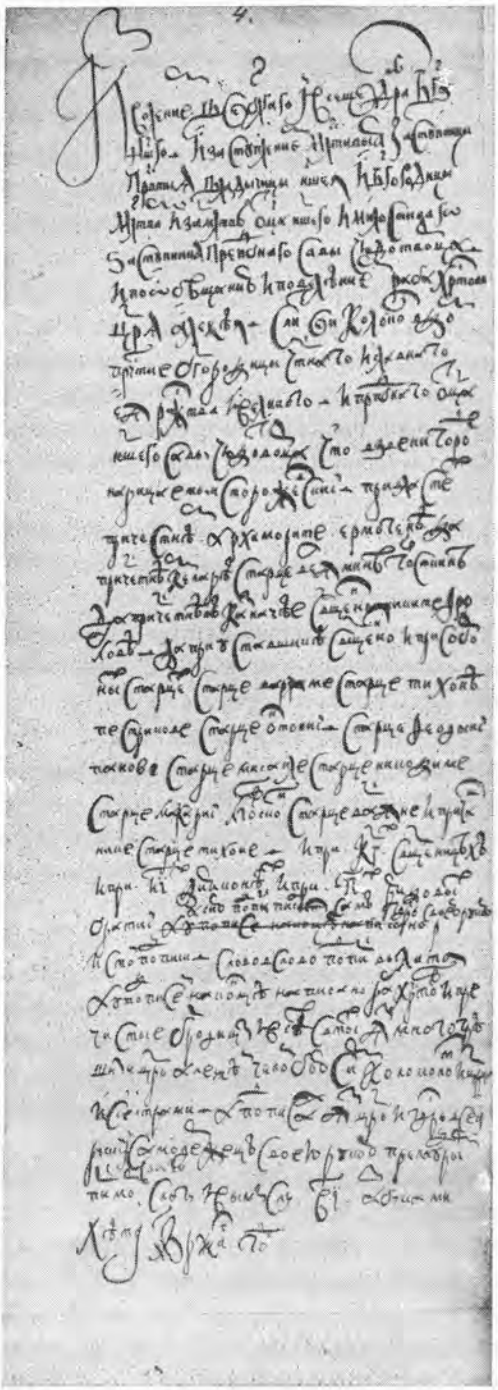
Еще сравнительно недавно, накануне Великой Отечественной войны, на звоннице этого монастыря можно было видеть огромный колокол, звук которого отличался особенно глубоким, густым тембром и удивительной гармоничностью.

Экскурсанты обычно удовлетворялись сообщением, что он весит больше двух тысяч пудов. Никто не интересовался начертанными на этом колоколе таинственными письменами, так как снизу их трудно было разглядеть, да и путеводитель о них умалчивал.

О древности колокола и о большом количестве истраченного на его литье ценного металла в последний раз вспомнили при приближении к Звенигороду гитлеровских захватчиков. Решено было увезти колокол в глубь страны. Но работы по снятию его с колокольни велись, очевидно, в большой спешке, без необходимых мер предосторожности. При спуске колокола на землю он сорвался с большой высоты и разбился вдребезги.

Тем, кто заинтересовался бы теперь его тайной, не пришлось бы, однако, собирать эти осколки — они все равно давно сданы на лом. Историю колокола и секрет изображенных на нем замысловатых письмен можно узнать лишь из документов Приказа тайных дел, хранящихся в Центральном государственном архиве древних актов.

Еще в начале прошлого столетия таинственной надписью на этом колоколе заинтересовался глубокий знаток русской старины Константин Федорович Калайдович, занимавшийся главным образом исследованием памятников древней письменности, но изучавший также и надписи на сосудах, иконах, старинных вышитых рушниках и даже на колоколах.



Полный текст надписи на колоколе Саввино-Сторожевского монастыря.

Несмотря на слабое здоровье, пытливый палеограф часто взбирался по крутым лестницам на древние колокольни. Именно так он поступил в августе 1809 года, когда вместе с двумя другими учеными—профессорами московского университета Петром Дружининым и Готгольфом Фишером—обследовал в окрестностях Звенигорода древний Саввино-Сторожевский монастырь.

Добравшись до центрального пролета четырехъярусной монастырской колокольни, Калайдович попытался разобрать надпись на самом большом колоколе. Но ему удалось прочесть только шесть верхних, написанных старинным русским письмом строк. В них говорилось о том, что этот колокол был отлит 25 сентября 1667 года по повелению царя Алексея Михайловича в присутствии всей его семьи и вселенских патриархов в этом же Саввином монастыре и весит 2125 пудов и 30 гривенок. Нижние же обегавшие вокруг широкой части колокола строки состояли из каких-то таинственных знаков, не похожих ни на один известный Калайдовичу шрифт. Заинтригованный этой странной надписью, Калайдович выяснил, что ее пытались прочесть в конце XVIII века два любознательных немца—академик Миллер и библиотекарь Академии наук Бакмейстер. Они даже скопировали ее, а Бакмейстер снял с нее отпечаток и сделал несколько оттисков для других ученых, которые пожелали бы ее расшифровать. Но загадочные строки так и остались непрочтенными.

Калайдович пришел к выводу, что таинственные письмена похожи на изуродованные греческие и латинские буквы, но некоторые знаки похожи и на буквы из других языков, в том числе и на египетские иероглифы, а одна часть последней строки сильно напоминает слегка видоизмененные славянские буквы.

В конце этой последней строки было написано по-русски: «Лил мастер Александр Григорьев».

Калайдович вспомнил, что он уже встречал эту фамилию и даже видел еще один колокол работы этого же мастера в московском Симоновом монастыре. Съездив туда, он установил по надписи на этом колоколе, что он отлит на два года раньше саввинского. На нем не было никаких таинственных письмен, но в этой надписи Александр Григорьев был назван «государевым мастером». Это говорило о том, решил Калайдович, что таинственные письмена на отлитом тем же мастером колоколе Саввинского монастыря не могли быть выполнены без ведома царя.

Саввинский монастырь с давних пор пользовался особым расположением часто бывавшего в нем «подвижного к богу» царя Алексея Михайловича. Рядом с монастырским собором он даже построил два дворца для себя и царицы: один из них был с крытым переходом, позволявшим царской чете незаметно для посторонних глаз проходить в собор. Записи в монастырской вкладной книге напоминают о щедрых царских пожертвованиях, достигших огромной по тому времени суммы — тридцати шести тысяч рублей. О тесной связи Саввинского монастыря с царским домом говорил и изданный Алексеем Михайловичем указ, чтобы этот монастырь «во всяких делах ведом был в Приказе тайных дел». Обо всем, что происходило в этом монастыре, должны были докладывать лично царю. Отсюда напрашивался вывод, что ему была известна и тайна этой надписи.

Свои догадки о происхождении загадочных знаков Калайдович вскоре высказал в печати, надеясь таким путем заинтересовать любителей подобных ребусов и, быть может, воспользоваться их советами. В том же журнале «Русский вестник», где были опубликованы эти догадки Калайдовича, появилась и другая статья — за подписью опытного палеографа С. Саларева. Он сообщал, что видел в Симоновом монастыре еще один колокол, отлитый уже после смерти Алексея Михайловича по велению его сына Федора. В надписи на этом колоколе было высказано пожелание, чтобы он голосом своим созывал людей на богомолье.

«Не было ли нечто подобное написано и на загадочном колоколе Саввинского монастыря? — спрашивал Саларев, но тут же возражал самому себе: — Многие литеры схожи с египетскими руническими и другими, но большая часть таких, которые ни на какие не походят, и можно утвердительно сказать, что сия надпись не принадлежит ни к какому языку». Саларев доказывал, что она и тайнописью быть не может. Если бы надпись была составлена из особых знаков, применяемых в тайнописи вместо букв, то такие знаки самого различного вида должны были бы встречаться на каждой строчке. Но в каждой строке надписи был всего один или два знака, многократно повторенных, остальные же были все разные. Кроме того, знаки, встречавшиеся в одной строке, уже не попадались на следующей, и вместе с тем на каждой строке имелся свой особый знак, повторяющийся несколько раз и больше не встречающийся нигде. Споря с Калайдовичем, Саларев отрицал также иероглифический характер надписи, ссылаясь на то, что в каждой строке раз восемь повторяется один и тот же знак. «Да, к тому же,— спрашивал он,— какие таинства могут быть на колоколе?» Сея одни только сомнения, эта статья не давала никакого ответа на поставленный Калайдовичем вопрос: что же написано на колоколе?

Нашествие французов в 1812 году и занятие ими Москвы, во время пожара которой между прочим сгорели и сделанные Бакмейстером оттиски с загадочной надписи, естественно, прекратили начавшийся спор. В Саввино-Сторожевском монастыре и его окрестностях расположился брошенный на борьбу с русскими партизанами двадцатитысячный вражеский корпус короля Италии Евгения Богарнэ; но монастырским постройкам, в том числе и звоннице, на которой висел большой колокол, французы не причинили ущерба.

Не прошло и десяти лет после изгнания из Звенигорода этого корпуса, разгромленного вместе со всей наполеоновской армией, как таинственная надпись, составленная из 425 не поддающихся прочтению знаков, снова привлекла к себе внимание пытливых исследователей. Ни одному из них не удалось разгадать ее целиком, но общими усилиями секрет все же был раскрыт.

Оказалось, что каждая строка в отдельности была зашифрована по особому способу «замены букв частью одинаковыми знаками, употребляемыми в разном значении, частью совсем иными».

Первым пришел к этому выводу любитель и собиратель древностей князь Петр Лопухин, обладавший достаточным досугом и терпением для подобных изысканий. Он сумел расшифровать по этому способу только одну последнюю самую трудную строку, составленную из 83 знаков, совершенно несходных с расположенными в предыдущих строках. Независимо от него, пользуясь тем же приемом, разгадал содержание четырех средних строк отставной штаб-ротмистр Скуридин и, наконец, хранитель рукописей Петербургской публичной библиотеки и страстный собиратель древних русских монет Ермолаев ухитрился прочесть оставшуюся дольше всех других нерасшифрованной первую строку.

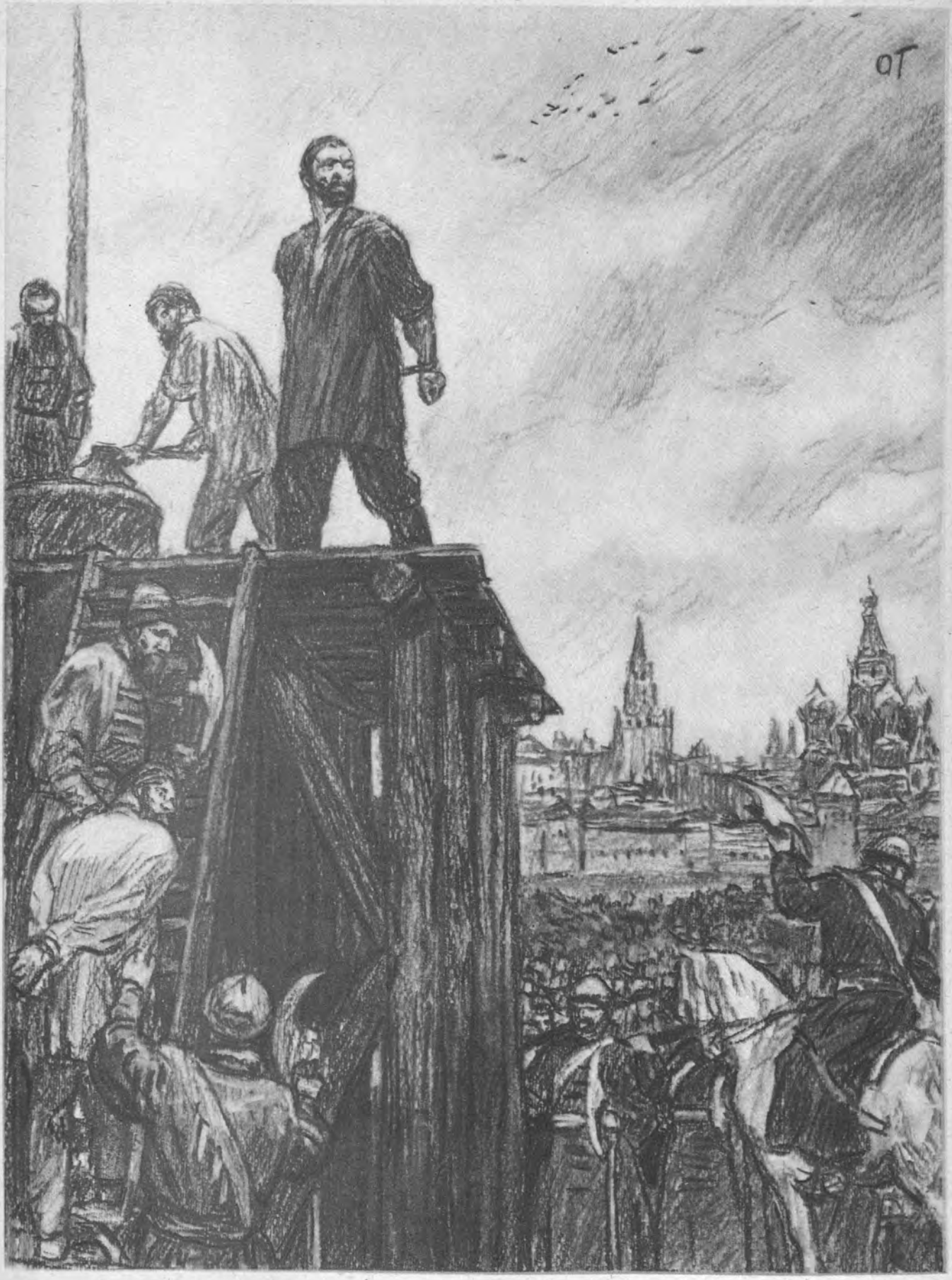
Энтузиасты, приложившие столько усилий для раскрытия тайны, были несколько разочарованы, когда убедились, что так долго не поддававшийся расшифровке текст не содержал в себе ничего особенно таинственного. Нижняя надпись повторяла в сущности то же, что было написано в верхней части колокола обычными буквами, а именно: что он отлит специально для этого собора «от любви своея душевные и от сердечного желания» по обещанию и по повелению царя Алексея Михайловича, скромно называвшего себя просто «рабом божиим». Секрет появления этой надписи на колоколе в таком виде был раскрыт, однако, значительно позже, после того как среди архивных бумаг Приказа тайных дел были найдены ее первоначальный текст и некоторые другие документы, касающиеся Саввино-Сторожевского монастыря.

Первоначальный текст надписи для колокола, составленный еще в 1653 году, был значительно более длинным, чем тот, который оказался на нем четырнадцатью годами позже. В этой надписи упоминалось не только о том, что колокол отлит при царе и членах его семьи, но и при всех монастырских властях[1] . Начиная с архимандрита, все монастырские управители были названы в надписи по имени, даже занимавшие второстепенные должности «соборные старцы». Остальные были упомянуты скопом: 23 священника, 18 дьяконов и 80 рядовых монахов. Надпись заканчивалась извещением, что она составлена самим царем.

---

[1] В л а с т и — высшие должности в монастырском управлении.

Стойкость Разина в момент казни отметили даже иностранные наблюдатели.

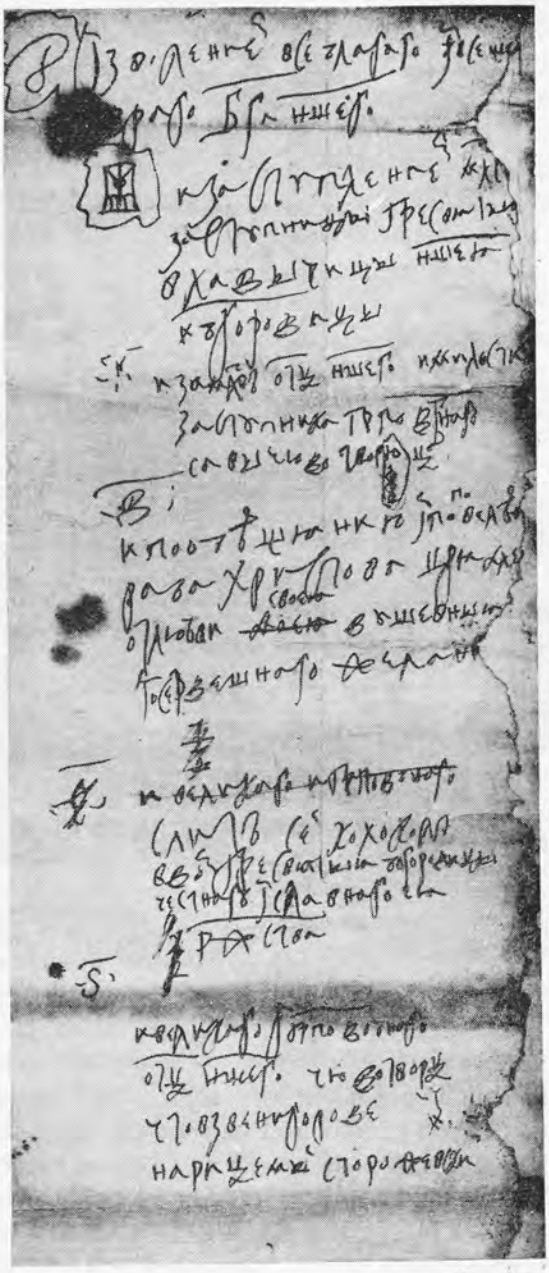


По примеру монастырских писцов, трудившихся над переписью летописей, в конце которых они обычно проставляли свое имя, замаскированное «хитрым письмом», царь, любивший прибегать к тайнописи, сообщал, что эту надпись и способ ее зашифровки сочинил он сам: «А подписал яз, царь и государь, всеа Русии самодержец, своею рукою, премудрым письмом, своего слогу и вымыслу, двенадцатью азбуками».

Итак, придирчивый оппонент Калайдовича оказался кое в чем прав. Загадочная надпись не содержала никаких тайн, но после того как был обнаружен составленный лично царем первоначальный текст, у исследователей, естественно, могли возникнуть новые вопросы.

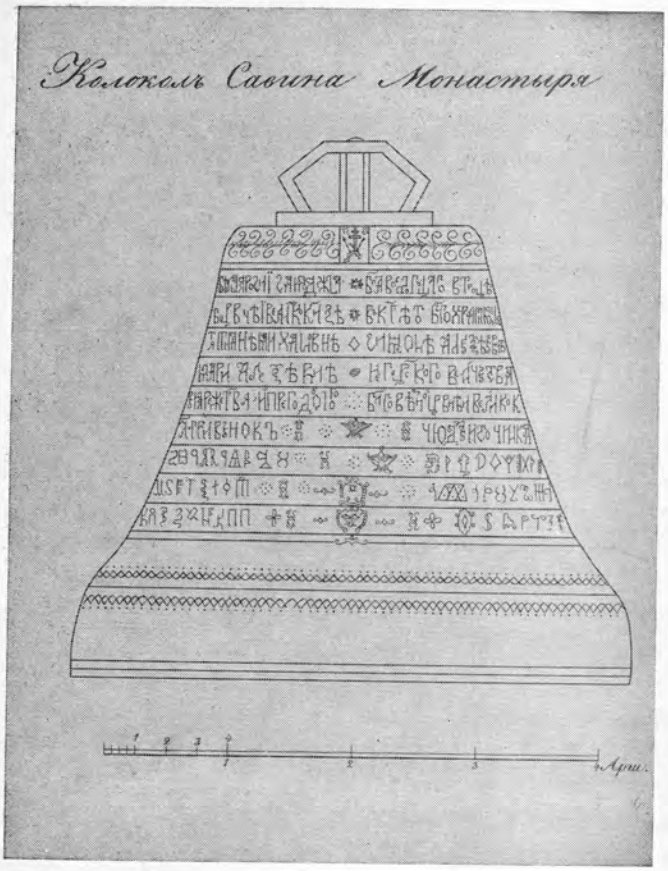
Почему надпись не была целиком помещена на колоколе в том виде, как ее придумал царь? Чем объясняется, что она была вылита лишь четырнадцать лет спустя и при этом из нее были выброшены все имена монастырских архипастырей и старцев?

Хотя сама надпись на колоколе и не раскрывала никаких тайн, но в архиве Приказа тайных дел были найдены документы, свидетельствующие о том, что как раз в этом, находившемся в его ведении монастыре творились явно и тайно дела, сильно беспокоившие царя.



Набросок надписи для колокола Саввино-Сторожевского монастыря, составленный царем Алексеем Михайловичем, с рисунком колокола в верхнем углу. (Хранится в ЦГАДА.)

Казначей этого монастыря Никита Фролов пил и бражничал и, приехав в село Михайловское, избил тамошних крестьян. Он же выгнал и избил оставленных при монастыре на конном дворе «для государева дела» стрельцов*. Соборный староста Феодосий ушиб «большого хлебенного старца» Гермогена в голову кирпичом*. Жившие в том же монастыре поп Алексей и «поваренный старец» Васьян «пили табак». «Чаю,



Расположение надписей на колоколе Саввино-Сторожевского монастыря, нижние строки написаны тайнописью.

что, видимо, сам сатана правит теперь монастырем», — пометил Алексей Михайлович на присланном ему донесении. Один из настоятелей монастыря, бывший духовник царя, архимандрит Никанор, удалившись на покой в Соловки — «жития ради безмолвного»,— возглавил мятеж соловецких раскольников.

Дружины, посылавшиеся под начальством стряпчего Игнатия Волохова и головы московских стрельцов Клементия Иевлева для подавления мятежа, не добились успеха.

Старообрядцы сопротивлялись стойко. У них было девяносто пушек и девятьсот пудов пороха, а хлебных и харчевых запасов в монастырских закромах хватило бы еще надолго. Многолетнее сопротивление раскольников удалось сломить только, когда царь отрядил в Соловки тысячу стрельцов под командой воеводы Ивана Мещеринова с наказом «искоренить мятеж вскоре» и пригрозил этому воеводе: «а буде ты, Иван, с Соловецкого острова без нашего, великого государя, указу впредь сойдешь, и за то тебе учинена будет смертная казнь».

В переписной книге Приказа тайных дел встречается имя этого воеводы, взявшего монастырь хитростью, с помощью перебежчиков, и впоследствии все же наказанного. Он, будучи еще стрелецким головой, был нечист на руку — брал взятки со стрельцов. Обыскивая монастырские кельи, Мещеринов нагрузил целую ладью награбленной им церковной утварью и отсидел потом за это четыре года в тюрьме. Из его донесений и расспросных речей перебежчиков видно, что именно бывший настоятель Саввино-Сторожевского монастыря и духовник царя, удалившийся в Соловки «жития ради безмолвного», смиренный молчальник старец Никанор, рассматривался «как самый пущий вор и к бунту и к воровству заводчик».

«А в Соловецком монастыре,— поведал один из перебежчиков, ускользнувший через бойницу Никольской башни черный поп Митрофан, — мятеж учинился о новоисправленных печатных книгах от черного священника Герватия, да от бывшего Саввина монастыря архимандрита Никанора, да от келаря, да от служки Федюшки Бородина с товарыщи...» От него же, Никанора архимандрита, да от его служки Федюшки, по словам Митрофана, началась и стрельба.

«И он де, Никанор, — уверял перебежчик,— по башнях ходит беспрестанно и пушки кадит и водою кропит и им говорит: «Матушки де мои, галаночки[1] , надежа де у нас на вас, вы де нас обороните». И велит по воеводе, по Иване Алексеевиче Мещеринове, и по ратным людям стрелять беспрестанно и на башнях и по стенам приказывает караульщикам смотреть из трубок его, воевод: как де усмотрите и вы де по нем стреляйте, как де поразим пастыря и ратные люди разыдутся яко овцы».

Другой перебежчик, тоже черный священник, Павел, показал о Никаноре, «что он святых тайн не причащается лет с пять и что он же составил на монастыре собор и на нем определил не молиться за государя во время служб церковных».

Выходцы из осажденного монастыря в один голос утверждали, что при саввинском архимандрите Никаноре «про царя начали говорить такие речи, что не только написать, но и слышать страшно».

Подстрекаемые Никанором и другими «ворами» — так Мещеринов в своих донесениях называл зачинщиков мятежа — монахи до того осмелели, что по ночам отваживались даже выходить за монастырские стены для захвата «языков» из царских стрельцов.

Мещеринов доносил, что он «бился с ворами не щадя головы своей на многих вылазках, подошел под город в самое ближнее место, подкопы многие под монастырскую стену подвел и пороху множество туда закатил, но монахи не сдаются». На приступ монастыря он решился лишь после того, как перебежчик, чернец Феоктист, тайно ушедший ночью от мятежников, подал ему толковый совет: «Что де мочно над соловецкими ворами промысл учинить от ануфриевской церкви изо рву и ратных людей ввести в соловецкий город окном, которое под сушилом, у белой башни, за час до свету или в отдачу ночных часов[2], потому что де воры в это время с караулу и с башен и со стен сходят в кельи, а остается де на башне и по стенам только по одному человеку...»

---

[1] Голландки — род пушек.
[2] При смене караула.

План этот удалось осуществить не сразу — этому помешали тихие и прозрачные северные ночи. Наконец 22 января началась метель. Передовой отряд стрельцов бесшумно подкрался к указанному перебежчиком проходу и, проникнув в монастырь, сбил изнутри замок на главных воротах. Прибежавшие на шум раскольники были тут же искрошены бердышами[1]. Уцелевших сковали в кельях. Но бывший царский духовник Никанор и тогда не смирился: «Что ты величаешься и высишься,— бросил он в лицо допрашивавшему его воеводе,— я не боюсь тебя, ибо и самодержца душу в руце своей имею».

Казненный одним из первых, как главный вдохновитель соловецкого мятежа, бывший настоятель Саввинского монастыря архимандрит Никанор был не единственным служителем этой «избранной» обители, принимавшим участие в соловецком возмущении.

Судя по челобитной, посланной царю Алексею Михайловичу еще в августе 1666 года соловецким келарем Савватием и другими верноподданными чернецами, в Соловках были еще несколько ссыльных саввинских старцев, которых велено было держать под крепким началом, за монастырь не пускать... «И от тех опальных людей чинятся здесь в монастыре мятежи многие, потому что их умножало,— жаловались челобитчики,— а один из них, чернец Никита, учинил побег, посылали за ним погоню на Онегу и на Двину и сыскать его погонщики не смогли...»

Не эти ли чрезвычайные происшествия, вероятно, тоже причисленные царем к проискам сатаны, заставили Алексея Михайловича выбросить из составленной им для саввинского колокола надписи всякое упоминание об управлявших этим монастырем «властях» и «соборных старцах», а также и о том, что эта надпись была сочинена им самим «премудрым письмом, своего слогу и вымыслу, двенадцатью азбуками»?

---

[1] Бердыш — топор с длинным искривленным лезвием, насаженным на древко.

Часть четвертая

Возрождение из пепла

КНИГИ ВМЕСТО ДРОВ

СОЧИНЕНИЕ Котошихина было не единственной древней рукописью, найденной в Швеции русскими исследователями. Частый посетитель и знаток иностранных архивов Александр Иванович Тургенев в 1840 году обнаружил в Главном архиве министерства иностранных дел Швеции подлинное письмо императрицы Екатерины II к ее двоюродному брату, шведскому королю Густаву III, помеченное 24 августа 1783 года. В письме упоминалось о какой-то хранящейся в Швеции ценной древнерусской рукописи. А написано было это письмо при следующих обстоятельствах.

В начале 1783 года Екатерина II встретилась с Густавом III в Фридрихсгаме, небольшом пограничном городке на берегу Финского залива. Закончив обсуждение

интересовавших обе стороны щекотливых политических вопросов, король, между прочим, рассказал своей собеседнице о хранящейся в Шведской государственной библиотеке в Упсале ценной древнерусской рукописи. Все документы такого характера, по его словам, были сожжены в России, и только одна эта рукопись уцелела. Густав III любезно предложил императрице направить кого-нибудь в Упсалу для снятия с нее копии. Вскоре после этого свидания он прислал в подарок своей кузине коллекцию шведских книг в роскошных переплетах. К письму была приложена лично им составленная записка, вкратце объясняющая их содержание.

В найденном Тургеневым письме Екатерина II благодарила Густава III за этот подарок и сообщала, что она уже «повелела послать канцелярского служителя для переписки слова от слова сочинения российского летописца».

Уехал ли переписчик и какую древнерусскую рукопись он потом списал в Швеции, так и осталось невыясненным. В рукописном наследии императрицы об этом не осталось никаких сведений. Любезная переписка Екатерины II с Густавом III оборвалась, так как вскоре вероломный кузен затеял войну против России.

Поэтому, узнав в 1840 году о найденной профессором Соловьевым в одном из шведских архивов рукописи Котошихина, Александр Тургенев вспомнил и об упомянутом письме Екатерины II. Он советовал петербургскому ученому, академику Гроту, запросить Соловьева, нет ли в Упсале другой какой-либо русской хроники, кроме котошихинской.

Профессор Соловьев действительно нашел в Швеции наряду с котошихинской рукописью много других интересных древнерусских документов, попавших туда разными путями. В частности, в Стокгольмском государственном архиве ему удалось напасть на след целого сундука с подлинными русскими грамотами, тайно вывезенными в начале XVII века из России захватчиком Новгорода шведским полководцем де ля Гарди.

«Это собрание,— писал профессор Соловьев в петербургскую археографическую комиссию,— найдено, наконец, в тайных сводах государственного архива в Стокгольме и состоит из множества разных документов, частью в столбцах, свернутых в огромные свитки, частью же в отдельных книгообразных толстых связках в четвертую долю листа большого и малого формата, ввязанных в разные кожаные обертки».

В собрании были подлинные царские грамоты и писцовые книги, когда-то захваченные шведами в северных русских городах, дипломатические и юридические акты, а также донесения иностранных резидентов и «самовидцев» о народных возмущениях в Пскове и Новгороде, о стрелецком восстании в Москве и многое другое.

Тщательно обследовав рукописные сокровища в крупнейшей из шведских библиотек — Упсальской, Соловьев обнаружил там и ту самую рукопись, которую Густав III в письме к императрице Екатерине II отнес к числу сожженных в России. Это была родословная книга, составленная, очевидно, по разрядным записям. В нее было вклеено письмо долго жившего в России шведского горного мастера Шенстрема, сообщавшего, что один знатный россиянин раздобыл ее для него, списав с подлинника в Соликамске. Кроме этого письма, в рукописи были еще две важные приписки на шведском языке. Одна из них гласила: «Эта книга была прежде запрещена в России. Царь Федор Алексеевич повелел сжечь множество ее экземпляров». Другая

Кичливый военачальник не торопился выручать менее знатного воеводу.

подтверждала, что именно с этой книги по повелению Екатерины в октябре 1783 года была снята копия советником русской миссии в Стокгольме Саннаковым.

Что же это были за крамольные книги, подлежавшие сожжению? Почему они служили источником распрей и раздоров? И были ли они все действительно уничтожены по повелению царя Федора?

Болезненный старший сын Алексея Михайловича, Федор Алексеевич,* сделавшийся царем в четырнадцатилетнем возрасте и вскоре умерший, оставил не очень много документов о своей кратковременной государственной деятельности. При нем быстро возвысились ставленники его властной старшей сестры, царевны Софьи: своевольный, но зоркий в государственных делах князь Василий Голицын, прошедший выучку в Тайном приказе изворотливый дьяк Федор Шакловитый и другие временщики.

К концу своего короткого царствования хилый юноша по настоянию Голицына, однако, предпринял один отважный шаг, на который не решился никто из его предшественников: он запретил местничество.

«Ведомо ему, великому государю, учинилось,— повествует об этом событии один из немногих дошедших до нас документов,— что в мимошедших воинских бранях... неприятели показали новые в ратных делах вымыслы». Для преодоления этих «нововымышленных неприятельских хитростей» понадобилось «прежде бывшее воинское устроение, показавшееся в боях неприбыльным, переменить на лучшее».

Назначение на командные должности не должно было больше зависеть от одного только знатного происхождения и заслуг предков, так как споры, возникавшие из-за мест между воеводами, часто приводили к проигрышу сражений и тяжелым воинским потерям. Большой ущерб приносили местнические раздоры и во всех отраслях государственного управления. На созванном царем Федором земском соборе было предложено искоренить местничество совсем, «чтобы впредь от тех случаев в его государевых ратных и всяких делах помешки не было».

Предложение это было единодушно поддержано патриархом и всеми членами собора. У многих еще были свежи в памяти недавние особенно возмутительные местнические случаи.

Когда переговоры о перемирии с польскими войсками были прерваны, воевода князь Юрий Долгорукий выступил против польских гетманов Винцентия Корвина-Гонсевского и Павла Сапеги. Гонсевского ему удалось разбить, а Сапегу он упустил из-за того, что кичливые военачальники князь Федор Барятинский и Алексей и Федор Плещеевы считали для себя зазорным оказать ему помощь. Во время сражения под Конотопом по той же причине погибли сами и погубили свои войска два князя — Львов и Пожарский. Пожарский уже преследовал польского гетмана Выговского, но считавший себя знатнее князь Львов отказался ему помочь. Во время боя под Чудновым другой князь, Юрий Барятинский, не захотел подчиниться приказу воеводы Василия Шереметева, высокомерно ответив, что он повинуется только указам самого царя, а Шереметевых в Москве много. Было проиграно и это сражение.

Опираясь на единодушное решение земского собора 1682 года, царь приказал управляющему Разрядным приказом боярину князя Михаилу Долгорукому и его помощнику дьяку Василию Семенову «принести все разрядные книги, в которых

вписаны бывшие случаи с месты», происходившие при прежних царях, а также при его правлении. «Для совершенного искоренения и вечного забвения», чтобы впредь «соблазна и претыкания никто никакого не имел», Федор повелел «те все прошения о случаях и о местах записки» предать огню.

Принесенные князем Долгоруким и дьяком Семеновым разрядные книги с записанными в них местническими случаями, а также местнические дела были в тот же день при них торжественно сожжены в узорной изразцовой печи в передних сенях перед царской палатой. Наблюдавшие по велению патриарха за исполнением царского указа митрополиты и епископы не отходили от печи, пока эти книги не превратились в пепел.

Как ни отраден был сам по себе этот решительный поступок, но уже через пятьдесят лет первые русские историки вспоминали о нем с глубоким сожалением.

Собирая материал для своих исследований, они постоянно с горечью убеждались, как много ценных источников погибло в огне во время вражеских нашествий и смут. И то, что уцелело, не следовало бросать, по их мнению, в кремлевскую печь. Екатерина II тоже мнила себя историком. Поэтому она и заинтересовалась уцелевшей от сожжения рукописью.

Записи Разрядного приказа рассказывали не только о раздорах между князьями и боярами. Они упоминали и о важных исторических событиях, во время которых происходили эти распри. Местническая грызня говорила о дальнейшем измельчании и ослаблении недавних удельных князьков, потерявших почву под ногами после возвышения Москвы. По записанным в разрядных книгах приговорам можно было проследить, как крепло стоявшее выше этих споров Московское государство, набирая силы для решающей борьбы со своими внешними врагами.

Какую уродливую и порой смешную форму принимали попытки честолюбивых бояр и других царских приближенных цепляться за свое родовое первенство, очень наглядно было показано в сочинении перебежчика Котошихина, ставшего известным историкам лишь во второй половине прошлого столетия.

В сочинениях Котошихина местническим распрям было, однако, уделено всего несколько страниц. Находка профессором Соловьевым целой рукописной книги, служившей источником подобных споров, про которую шведский король утверждал, что она одна избежала сожжения, должна была, казалось бы, восполнить этот пробел. Но Густав III ошибался. Поразившая его воображение и списанная по повелению Екатерины II рукопись не была даже копией одной из сожженных.

Найденная в Упсале родословная, как потом выяснилось, была составлена вовсе не для определения, кто кому «больше» или «меньше» или ровен «глаз в глаз». В утешение бывшим спорщикам она только перечисляла, «от кого которые роды сначала пошли и поколениями разошлись и прозваниями слыть начали».

Отдавая приказ о сожжении в Кремле дворцовых разрядных книг, царь Федор Алексеевич понимал половинчатость этой меры. Он знал, что, кроме официальных дворцовых книг, куда записывались все решения по местническим спорам, было еще много других, списанных с них полностью или частично и находившихся в частных руках. Предвидя, что владельцы этих книг не захотят с ними расстаться, царь предложил земскому собору записать в своем решении:

«А что еще есть... у кого такие же книги и записки и те присылали бы в разряд, а мы, великий князь, потому ж те книги повелим предать огню. И будет кто ныне и впредь оному делу воспрекословит каким-нибудь образом,— предостерегало решение,— и имеющие в домах своих книги... в разряд по сему царскому повелению не принесут и будут держать у себя в дому или где инде, каким ни весть образом, и те опасались бы тяжкого церковного запрещения и государского гнева, яко преобидники царского повеления».

Под этим решением подписались все члены собора, в первую очередь знатнейшие бояре и дворяне.

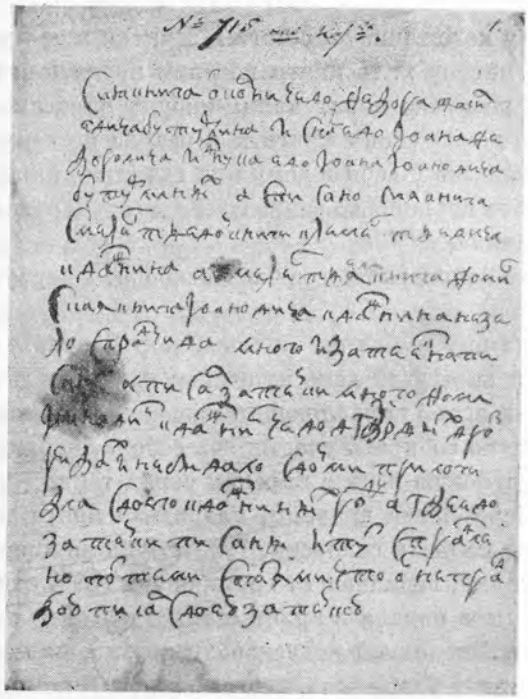
Но только один из них — боярин князь Федор Григорьевич Ромодановский — действительно прислал на другой день во дворец хранившуюся у него на дому разрядную книгу. Из-за нее одной управляющий Разрядным приказом князь Долгорукий не стал, однако, вторично собирать участников собора, наблюдавших за сожжением книг. В этот день изразцовую печь в царских сенях топили уже не рукописями, а, как обычно, сухими березовыми дровами. Разрядная книга князя Ромодановского, таким образом, вообще не была сожжена. Кто-нибудь из дворцовых подьячих засунул ее, вероятно, на полку, подальше от посторонних глаз, откуда она после упразднения Разрядного приказа попала в архив старых дел. Там она и была обнаружена через много лет. За этой находкой последовали другие, не менее ценные.

Содержавшиеся в этих разрядных книгах сведения помогли восполнить многие пробелы, вызванные утратой некоторых упоминаемых в «Черной книге» Тайного приказа «великих государевых дел».

УХИЩРЕНИЯ УПРЯМЦЕВ

ПРЕОБИДНИКИ» соборного решения, хранившие у себя дома выписки из разрядных книг и даже успевшие списать их целиком, сунув щедрую мзду подьячему, продолжали и после сожжения в Кремле местнических документов прятать эти выписки и передавать их своим сыновьям и внукам. Лишь когда их прямые наследники умирали бездетными, эти книги попадали к собирателям древностей, поступали в архивы и библиотеки.

В середине прошлого столетия одному из таких собирателей члену археологической комиссии Ивану Никитичу Царскому удалось случайно приобрести сшитую из нескольких тетрадей разрядную книгу, состоявшую более чем из пятисот хорошо сохранившихся листов. Она была написана крупной скорописью и начиналась, как



Запись, сделанная на первом листе разрядной книги ее владельцем — окольничим царя Алексея Михайловича И. Ф. Бутурлиным.

многие такие книги, выдержками из древних летописей. Дальше шли разрядные записи, доходившие до конца XVI века. На первом листе рукой одного из ее владельцев была сделана надпись, что эта книга принадлежала окольничему Федору Васильевичу Бутурлину, его сыну Ивану Федоровичу и внуку Ивану Ивановичу и «списана с Мелентьевой книги Клементьевича Квашнина». Нетрудно было догадаться, что с предками этого Квашнина, одного из потомков боярина Ивана Квашни, предводительствовавшего костромским полком в Куликовской битве, у Бутурлиных были давнишние местнические счеты... потому что на первом же листе новый владелец спешил предостеречь: книга, мол, эта «не зело справчива, много и затеек написано. Писал затейки много Фома Иванович Квашнин, чего в государевых разрядах и не бывало, своими прилоги, для своего Квашниных роду; а где его затейки писаны и тут справлено под теми статьями, что он неправдою писал, своею затейкою».

На полях книги действительно встречаются поправки и заметки и даже пространные поучения, сочиненные ее предпоследним обладателем, окольничим Алексея Михайловича Иваном Федоровичем Бутурлиным.

«А прочитать сию книгу самому государю, у кого в дому сия книга будет (подразумевается, конечно, не царь, а будущий обладатель этой разрядной), с разумом великим, а чего сам в сей книге не разумеет, ино умеющего разумного человека спросить не стыдно, о разуме сия книги, что в ней написано». Дальше Иван Федорович

Бутурлин сообщает, что он дал переписывать эту разрядную книгу своему двоюродному брату Петру Ивановичу и требует от него: «А сию книгу разрядную, никоему ее не отдавать и не показывать, потому что в сей книге писано про все многие роды, потому никому не кази, ведай сам себе».

Поучение заканчивается советом брату, как завести собственную разрядную: «А которые статьи надобно про себя, и ты себе тетрадку сделай особую и выписывай себе именно, которого году и кто с кем бывал безсловно». «Безсловно» следует здесь понимать, как «беспрекословно», то есть не пререкаясь из-за мест. А для таких пререканий у Бутурлиных, очевидно, имелись веские основания, так как они считали своим родоначальником «мужа честна» по имени Ратша, выходца из «седмиградской земли», прибывшего в Новгород в конце XII века*.

В годы смут и безвластья многие Бутурлины помогали очищать Москву от чужеземцев и при первых трех царях из династии Романовых, особенно при Алексее Михайловиче, около двадцати отпрысков этого ветвистого семейства выдвинулись в воеводы, окольничие и бояре*. К концу XVII века двадцать девять Бутурлиных владели крупными поместьями, пожалованными им или их предкам за усердную службу.

Заметный след в русской истории оставил ближний боярин, дворецкий и воевода Василий Васильевич Бутурлин, начавший свою карьеру рындой на кремлевских приемах*.

Именно Василий Васильевич Бутурлин был послан к Богдану Хмельницкому во главе многочисленной русской делегации для переговоров о соединении Украины с Россией «навечно, неотступно». Бессменный советник царя в течение всего польского похода, Василий Бутурлин начальствовал над московскими войсками, действовавшими против поляков под Белой Церковью. Вместе с Богданом Хмельницким он разбил у Гродно и захватил в плен коронного польского гетмана Потоцкого.

Владелец утаенной от сожжения частной разрядной книги, Федор Васильевич Бутурлин, был современником и родственником этого искусного дипломата и воеводы. В 1617 году, еще юношей, он тоже участвовал в одном из польских походов и был послан в Москву с донесением о победе. За это Федор Бутурлин получил свою первую награду: серебряный ковш, сорок соболей и отрез кармазинского сукна на кафтан. Через десять лет он уже сам одерживал победы. Сидя воеводой в Ливнах, Федор Бутурлин отогнал от Москвы крымских татар. После этого он воеводствовал в семи городах, в том числе в Торопце, Крапивне, Мценске, Казани, Путивле. Уезжая куда-нибудь, царь несколько раз оставлял его третьим воеводой «ведать Москву». Вместе с боярином Борисом Шереметевым и тем же Богданом Хмельницким Федор Бутурлин успешно отбивал атаки соединенных польских и татарских сил и был дважды награжден дорогими шубами, собольей и атласной, кубками и денежными придачами. После смерти ближнего боярина Василия Бутурлина Алексей Михайлович и Федора посылал к Хмельницкому с важным заданием: уладить возникшие во время войны с Польшей разногласия. Бутурлин нашел гетмана в Чигирине уже умирающим, но поручение успел выполнить.

Сын его, Иван Федорович, который, между прочим, пробовал на полях разрядной книги свое перо и исписал ее замечаниями и поучениями, воеводствовал вместе с отцом в Путивле, потом один, в Нижнем Новгороде. Он был назначен в товарищи

к астраханскому воеводе князю Хилкову как раз накануне первого восстания Степана Разина*.

У этого Ивана Федоровича был только один сын, тоже Иван, умерший бездетным, поэтому родовая разрядная книга и попала в чужие руки. О дальнейшей судьбе остальных ветвей этого рода она умалчивала.

Уже из другого источника удалось узнать, что двоюродный племянник Ивана Федоровича, Александр Борисович Бутурлин, получил графский титул не бог весть за какие заслуги. Окончив основанную Петром I морскую академию, он не смог приобретенные там знания применить на деле, так как царь взял его к себе в денщики. Чистя сапоги Петру и состоя у него на побегушках, выполняя, впрочем, иногда и весьма секретные поручения, сообразительный юноша втихомолку любезничал с царской дочерью. Став императрицей, Елизавета сделала своего фаворита графом, генерал-фельдмаршалом, сенатором и сверх того генерал-губернатором Москвы, что, впрочем, не мешало ему постоянно жить в Петербурге, а также владельцем восьмидесяти тысяч десятин отличной черноземной земли в Воронежской губернии*.

У предпоследнего владельца хранящейся сейчас в Историческом музее частной разрядной книги Ивана Федоровича Бутурлина, кроме графа и генерал-фельдмаршала, был еще один знаменитый двоюродный племянник, тезка его сына Ивана Ивановича, также сделавший головокружительную карьеру.

Ивашка-меньшой Бутурлин начал ее спальником, а потом стольником юного Петра. В 1687 году он был уже «премьер-майором» учрежденного Петром потешного Преображенского полка и с этим полком участвовал в обоих азовских походах, а в начале Северной войны был произведен в генералы.

После неудачной Нарвской битвы Иван Иванович Бутурлин вместе с другими русскими военачальниками был послан в шведский лагерь для обсуждения условий капитуляции, но вероломный шведский король Карл XII не отпустил его назад.

...Лишь спустя десять лет, сразу же после Полтавской победы, Петру I удалось выменять его на пленного шведского генерала Мейерфельда. Участник многих походов и морских сражений, в том числе славной битвы при Гангуте, закончившейся разгромом шведского флота, Иван Иванович Бутурлин после заключения Нейштадского мира был произведен в генерал-аншефы*.

Потомство генерал-аншефа Бутурлина по мужской линии угасло в середине XVIII столетия. Таким образом, вслед за родовой разрядной книгой и родословная книга Бутурлиных очутилась в руках исследователей. Это был длинный пергаменный свиток, писанный полууставом, с замысловатыми заставками, выведенными киноварью и золотом, обрамленный красным, украшенным золотым же тиснением, сафьяном.

Он покоился в массивном круглом футляре с медными застежками, выложенном внутри пунцовым бархатом, а снаружи обтянутом черной кожей и перевязанном нарядными шелковыми шнурками с пушистыми красными кисточками.

При сличении текста этой роскошной родословной с другими источниками обнаружились существенные расхождения, заставляющие предполагать, что заинтересованными лицами в нее были внесены такие же «прилоги» и «затейки» для своего рода, какие Иван Федорович Бутурлин с негодованием обнаружил в списанной его отцом у Квашнина разрядной книге.

В хранившейся в имении петровского вельможи Крутцах родословной прапрадед генерал-аншефа, убитый при Иване Грозном под Казанью воевода Матвей Бутурлин, показан бездетным, род же выведен от его брата Андрея Бутурлина, имевшего якобы трех сыновей, из которых один, Федор, погиб под Дерптом. Благодаря этому отец нашего «преобидника» Ивана Федоровича оказывается сыном Василия Федоровича Бутурлина по прозвищу Клепика, детей которого их более знатные родственники пренебрежительно называли «клепичатами».

Разобраться в этой путанице теперь вряд ли кто-нибудь сможет, да и надобности в этом нет никакой.

Справедливости ради следует отметить, что Бутурлины были не единственными нарушителями решения земского собора об обязательном уничтожении всех местнических дел и родовых разрядных книг.

Под этим решением стояла, между прочим, и подпись боярина Григория Никифоровича Собакина, потомка тверского боярина Данилы Собаки, перешедшего на службу к московским великим князьям*. Эта подпись не помешала брату Григория Собакина Василию и сыновьям последнего утаить две семейные книги с разрядными записями о полученных их предками наградах и повышениях, постоянно вдохновлявшие всю их родню на местнические споры. Никто из Собакиных не решился бросить в кремлевскую печь эти книги*.

Под этим решением не было подписи Никиты Алексеевича Зюзина, близкого друга патриарха Никона, состоявшего при нем в боярах и попавшего в опалу за самовольную попытку помирить его с царем. Может быть, именно потому, что после отмены вынесенного Зюзину смертного приговора он был сослан в Казань и не дожил до земского собора, не попала в дворцовую печь и увесистая разрядная книга, списанная с принадлежавшего ему и его брату, Григорию, подлинника.

Не попала в кремлевскую печь и частная разрядная книга, принадлежавшая князьям Василию и Михаилу Васильевичам Кропоткиным. Они берегли ее не только для справок, а главным образом как дубинку, с помощью которой можно было отбиваться от своих захудалых родственников.

В архиве московского стола Разрядного приказа сохранилась челобитная еще одного князя Кропоткина, Петра Матвеевича, жаловавшегося на своих знатных родичей, что они его род «за его бедностью и скудостью в своих поколенных росписях не написали».

Можно было бы назвать еще немало имен весьма именитых нарушителей соборного решения, утаивших подлежавшие уничтожению документы.

Копии с некоторых, вероятно, в самом деле сожженных или утраченных разрядных книг уцелели благодаря тому, что были отправлены за границу, как попавшая в Упсалу родословная, служившая предметом переписки между шведским королем Густавом III и Екатериной II.

В Германии, в маленьком приморском городке Альтоне, близ Гамбурга, у книгопродавца Иоганна Петера Коля неожиданно нашлась неизвестно кем завезенная очень ценная древнерусская рукопись — целых 650 листов разрядных записей с 1613 по 1645 год. Она была куплена через посредника известным собирателем древностей графом Н. П. Румянцевым и благодаря этому вернулась в Москву.

Здание Разрядного приказа в Московском Кремле дважды сгорало дотла, его архивными бумагами растапливали костры хозяйничавшие в Кремле в начале XVII века поляки, а в 1812 году французы.

Большое количество разрядных книг и местнических дел было, как мы знаем, брошено в огонь раньше по решению земского собора, и все же они снова возродились, вышли из пепла почти невредимыми.

Соединенными усилиями историков и архивных работников удалось восстановить разрядные записи почти за два столетия; выявить около трехсот списков разрядных книг, из них более ста частного происхождения. Советский историк В. И. Буганов проделал кропотливую работу по исследованию разрядных книг в разных архивах и пришел к выводу, что они сохранились в трех редакциях — «пространной», «краткой» и «сокращенной». Собраны сведения и об огромном количестве местнических дел, начиная с середины XV века. За один только XVII век этих дел набралось более пятисот.

Эти сведения имелись не только в копиях со сгоревших книг, заблаговременно снятых заядлыми спорщиками, вроде Бутурлиных. Они были разбросаны в самых различных документах, начиная с древних летописей.

В процессе собирания этих сведений специально занимавшиеся этим вопросом историки столкнулись с любопытным фактом.

Заклейменное в решении земского собора «враждотворное, братоненавистное и любовь отгоняющее местничество» продолжалось сравнительно долго и после его официальной отмены.

Сведения об этом сохранились, конечно, не в тех разрядных книгах, которые продолжали вести и после 12 января 1682 года в Разрядном приказе, потому что после этой даты местнические случаи туда уже больше не записывались, но они стали причиной издания ряда специальных указов уже после смерти царя Федора. Из этих указов видно, что попытки возродить местничество делались часто людьми, поставившими свою подпись под соборным решением, или их близкими родственниками*.

Из Бутурлиных решение земского собора подписали двое: сыновья к этому времени уже умершего боярина и дворецкого Василия Васильевича Бутурлина, боярин Иван и окольничий Борис Васильевич. Один из них, именно Иван Васильевич Бутурлин по прозвищу Кривой, упоминается первым в изданном младшими братьями царя Федора указе о наказании домашним арестом семи бояр и окольничих за участие в особенно оголтелой форме местничества — «небытии их в крестном ходу по наряду за государем».

Еще при Федоре Алексеевиче в 1679 году на Постельном крыльце было оглашено специальное решение царя и патриарха «о полном безместии в крестных ходах». Бояре, окольничии и «разных чинов люди» предупреждались, что во всех церковных процессиях они должны следовать за иконами «для почести и охранения, не считаясь меж себя в отечестве и впредь в укоризну никому не ставить, кто за кем шел... А буде кто где учнет вчинать места и друг на друга бить челом, — предостерегал указ,— у таких челобитчиков за их упрямство и непослушание отнята будет честь, да им же быть в вечном разорении»...

22 октября 1684 года из Кремля вышла торжественная процессия с иконами и хоругвями. Хилый и еще более болезненный, чем его недавно умерший старший брат, царь Иоанн Алексеевич «изволил от себя с верху итить за образы» к придворным церквям, «что у них, великих государей, на сенях», а оттуда, вместе с встретившим его против угла Грановитой палаты патриархом, в Успенский собор. Патриаршие певчие пропели здесь многолетие обоим царям, и вся процессия двинулась на лобное место, а оттуда дальше в Китай-город.

«А за великим государем были бояре и окольничие, и думские, и ближние люди, и стольники, и стряпчие, и дворяне в объяренных[1] кафтанах»,— говорится в разрядной записи. Но два боярина, Бутурлин и Салтыков, четыре окольничих и один стольник — князь Федор Долгорукий—отсутствовали, гласил изданный на другой день гневный указ. «К ним на дворы посыланы из разряда подьячие многажды и они в том ходу за великим государем и по городу за иконы не были». Это был недвусмысленный выпад против всякого уравнения, не только перед царем, но и перед богом.

Не явившийся вместе с Бутурлиным к крестному ходу стольник князь Борис Федорович Долгорукий был родным племянником и внуком подписавших соборное решение бояр — управляющего Разрядным приказом князя Михаила Юрьевича Долгорукого, собственноручно бросавшего в печь запрещенные книги, и его отца князя Юрия Долгорукого, матерого спорщика в местнических делах. Еще при первом царе из династии Романовых, когда начинавший свою придворную карьеру Василий Васильевич Бутурлин однажды «схоронился», не захотел «смотреть в кривой стол» и царь указал «в Васильево место сказывать в кривой стол князь Юрью княж Алексееву сыну Долгорукому — Чертенку» (так его тогда величали потому, что его отец за сварливый характер заслужил прозвище Черт). Последний поспешил огрызнуться, что он «Бутурлину не перемена». Спеси у обоих бояр Долгоруких с тех пор не убавилось. Судя по показаниям «самовидцев», именно за эту свою заносчивость в разговоре со стрельцами они и были потом убиты во время первого стрелецкого восстания.

Через два года после отказа молодого князя Федора Долгорукого участвовать вместе с «разных чинов людьми» в церемонии крестного хода он снова угодил в указ за откровенно местническую выходку.

В феврале 1686 года в Москве ожидался приезд великих и полномочных послов польского короля — познанского воеводы Криштофа Гримолтовского и канцлера великого княжества литовского Марцьяна Александра. Оба несовершеннолетних царя, Иоанн и Петр, и их старшая сестра, соправительница Софья, назначили «на приезде тех послов быть в рындах стольникам комнатным князю Петру да князю Ивану княж Алексеевым детям Голицыным и стольникам же князю Юрью да князю Василью княж Володимера детям Долгоруким» — двоюродным братьям управлявшего Разрядным приказом боярина Михаила Юрьевича Долгорукого. Об этом в тот же день было сообщено Голицыным, а Долгоруких не оказалось дома.

За день до торжественного приема 10 февраля 1686 года разрядный подьячий

---

[1] Объярь — шелковая материя сатиновой или репсовой выделки (в рубчик). Иногда сплошь пробиралась тончайшими полосками золота или серебра.

Дей Прокофьев еще раз сам съездил к Долгоруким и, застав их всех дома, предупредил обоих братьев лично, чтобы они обязательно были в рындах «по прежнему их великих государей указу», и они вслед за отцом подтвердили, что они «про то ведают и будут готовы».

В самый день приема послов подьячие Разрядного приказа в третий раз приехали к Долгоруким напомнить, «чтоб они в город для того дела ехали». Но этих подьячих принял старик Долгорукий и объявил им, что сыновья его, Юрий и Василий, и даже не упоминавшийся в приказе третий сын Михайло больны и он де отпустил их всех для моленья о своем выздоровлении в Николо-Угрешский монастырь.

Подьячие, конечно, догадались, что Долгорукие «отбаливаются» из-за местнических счетов с Голицыными, и доложили об этом царям. По их указу в тот же день к старику Долгорукому приехал служивший раньше в Тайном приказе разрядный дьяк Еремей Полянский и потребовал, чтобы он немедленно ехал с детьми во дворец. Но тот все же приехал в Кремль один и повторил перед царями, что он «отпустил своих сыновей для моленья и сего де числа в Москве быть им к тому делу не уметь. А как де послы у великих государей в другой раз будут,— уверял старик Долгорукий,— дети его в рындах быть готовы».

Разыскивать беглецов было уже поздно, и их решили заменить сыновьями другого князя Долгорукого — Федора, стольниками Лукой и Борисом, уже однажды наказанным за отказ от участия в крестном ходе.

«И для того,— записано в изданном по поводу этого случая специальном указе,— посланы к ним на дворы разрядные дьяки и капитаны стрелецкие и подьячие многажды и на дворе их не сыскали».

Лука и Борис Долгорукие тоже скрылись. Разрядный дьяк, Иван Ляпунов, даже встретил одного из них, а именно Луку, на дворе у отца первых двух беглецов князя Владимира Дмитриевича, и, предупредив его, чтобы он до указа великих государей со двора никуда не съезжал, побежал сообщить об этой встрече в Кремль. Вернулся назад с целым нарядом подьячих и стрельцов и с царским приказом: «А будет он станет ухороневатца, и ему, Ивану, велено его, князя Луку, обыскивать в боярских хоромах». Дьяк Иван Ляпунов, однако, уже не нашел Долгорукого и вынужден был послать донесение, что князь Лука «со двора ушел пеш, потому что лошадь ево с саньми стояла на дворе».

Вместо князя в Разрядный приказ доставили тогда его запряженную в сани лошадь с дворовыми людьми.

Но так как обычай требовал, чтобы на приеме иностранных послов царя охраняли представители родовитых семей, разрядный дьяк в последний раз съездил к старику Долгорукому сказать ему, чтобы он «государскому указу не противился и детей своих в рынды дал». Узнав, что никакие уговоры на него не действуют, правительница Софья именем обоих царей приказала «за то ево, князь Володимерово, ослушанье, честь боярскую отнять и его самого разжаловать в рынды».

Престарелому боярину Долгорукому с его длинной седой бородой пришлось стоять в белом платье с серебряным топориком на плече на четвертом месте позади соперников его сыновей, молодых Голицыных, и еще одного юнца, наспех назначенного на место его старшего сына.

Указ, кроме того, предписывал удалить бывшего боярина Долгорукого с сыновьями из Москвы в захолустный городок Тарусу.

Досталось и сыновьям князя Федора. Лука был выслан в Рузу, а Борис в Звенигород с запрещением съезжать со двора до царского указа. Кроме того, было дано указание в Поместный приказ: отнять у них поместья и вотчины, а их приказчиков «из тех поместий и вотчин велено было выбить».

Не ожидавшие такой суровой кары, князья Долгорукие, однако, очень скоро нарушили наложенный на них запрет. Они приехали в Новодевичий монастырь во время церковной службы, на которой малолетние цари присутствовали вместе со старшей сестрой и выпросили себе прощение. Опала с них была снята во внимание к заслугам их дяди, князя Юрия Алексеевича Долгорукого, пользовавшегося особым благоволением детей Алексея Михайловича за то, что он избавил царскую семью от большой опасности — подавил восстание Степана Разина. Отменяя свое прежнее решение, правительница Софья все же нашла нужным предостеречь старика Долгорукого: «А если упрямством своим опять так учинишь, быть тебе в конечном вечном разорении безо всякой милости и пощады».

Но один из прощенных, все тот же Борис Долгорукий, отличался особенным упрямством.

Спустя два года после описанного случая он сделал еще одну — третью — попытку возродить местнические нравы, но опять без успеха*.

Подражая Долгоруким, пытались возродить местнические нравы и отпрыски других семей, продолжавших цепляться за заслуги своих предков*.

Последняя вспышка местнических раздоров, оставившая след в собрании законов XVII столетия, произошла 9 декабря 1693 года в доме боярина Петра Васильевича Шереметева.

В присутствии многих знатных гостей поссорились два известнейших в то время вельможи, подписавших вместе с хозяином дома решение земского собора, бояре князь Михаил Григорьевич Ромодановский и воевода Алексей Семенович Шеин.

В изданном по поводу этой ссоры специальном указе отмечалось, что князь Ромодановский воеводу Шеина всячески бесчестил и бил, «вынял нож, хотел его резать и себя называл московским князем, а прадеда его, Михаила Борисовича, называл изменником и деда его Ивана Михайловича и отца его Семена Ивановича и мать его боярыню Авдотью Ивановну Черкасскую бранил и безчестил всякими словами и его называл изменничьим внуком, а боярин де Алексей Семенович безчестил его, боярина князя Михаила Григорьевича, всячески ж и называл малопородным человеком и худым князишком и отца его, боярина князя Григорья Григорьевича, не слугою и бранил всякою неподобною бранью и бил палкою».

За взаимные оскорбления оба боярина были наказаны — должны были «взять друг на друге денежное бесчестие», но князь Ромодановский, как главный зачинщик ссоры, был, кроме того, посажен ненадолго в тюрьму. Это был родной племянник князя Федора Григорьевича Ромодановского — единственного боярина, добровольно приславшего в Кремль для сожжения свою личную разрядную книгу.

ЧЕЛОБИТЧИКИ ПО ПРИЗВАНИЮ

Исследуя один из списков так называемой Ростовской летописи, сочинитель «Истории государства Российского» Карамзин наткнулся на рассказ об одном любопытном случае местничества. Еще до него, собирая материал для большого исторического труда, впрочем, так и не законченного, обратил внимание на этот случай известный археограф академик Миллер. Среди найденных им разрядных записей он обнаружил текст челобитной, поданной почти четыреста лет назад Ивану Грозному воеводой Жданом Ивановичем Квашниным, предком того самого Клементия Квашнина, которому принадлежала скопированная Бутурлиными домашняя разрядная книга.

Не на этот ли случай намекал ворчливый Иван Федорович Бутурлин, называя его «затейкой, которых в государевых разрядах и не бывало»?

В 1576 году воевода сторожевого полка Ждан Иванович Квашнин в своей челобитной напомнил Ивану Грозному, что еще московский великий князь Иван Калита принял к себе на службу приехавшего из Киева воеводу Родиона Нестеровича с сыном Иваном Квашней, родоначальником всех Квашниных.

В челобитной подробно рассказывается о том, как, обидевшись на Ивана Калиту, бывший его боярин Акинф Гаврилович решил ему отомстить, подвел из Твери большую рать под Переславль-Залесский, где как раз в это время находился Иван Калита со своей женой, и осадил город. Иван Калита не успел собрать войско для отпора, но тут к нему поспешил на помощь пригретый им Родион Нестерович. Остановившись в пяти верстах от Переславля, он ночью переправил через неприятельский лагерь в осажденный город двух своих гонцов. Калита сначала не поверил радостной вести и задержал у себя одного из этих заложников, так как он проведал, что сын Родиона Нестеровича Иван Квашня ухитрился жениться на дочери отцовского соперника Акинфа. Родион Нестерович, однако, не посчитался с тем, что Акинф Гаврилович стал ему теперь сватом, ударил на него с тылу и разбил тверичей.

«А самого Акинфа, Бутурлиных прародителя,— заканчивал свою челобитную Ждан Квашнин,— прародитель наш, Родивон Нестерович, сам убил и голову ему отсек...» Вздетой на копье он привез ее к Ивану Калите и бросил ему под ноги со словами: «Се, господине, твоего изменника и моего местника глава».

Напоминая об этом случае, Ждан Квашнин просил Ивана Грозного исправить допущенную царем несправедливость: получив известие о нападении литовцев на город Салачь, Иван Грозный назначил его воеводой сторожевого полка, в то время как потомок изменника Акинфа, Лобан Андреевич Бутурлин, возглавлял большой полк. Ждан Квашнин считал, что, раз прародитель его при Иване Калите возвысился над прародителем Бутурлиных, ему, как потомку Родиона Нестеровича, не пригоже быть ниже не только Лобана Бутурлина, но и его старшего брата Федора. Иван Грозный обещал челобитчику, «как служба минется», дать суд и счет на Бутурлина и слово свое подтвердил «невместной грамотой».

В той же челобитной был приведен еще один характерный случай местничества Бутурлиных с Квашниными.

После взятия Казани воеводами в Торжке были поставлены два соперника — Нечай Дмитриевич Бутурлин и Андрей Ильич Квашнин, причем Бутурлину досталась «в кормление» меньшая часть города, поэтому царские грамоты из Москвы посылались на имя Квашнина. Бутурлин воспринял это как оскорбление и попросил впредь адресовать грамоты по очереди обоим воеводам, но против этого стал возражать уже Квашнин, и царь с ним согласился.

Бутурлины местничались, однако, не только с Квашниными, попавшими вскоре в опалу и удаленными от двора.

По далеко не полным сведениям, взятым главным образом из разрядных книг и случайно найденных при разборке дворцовых архивов челобитных, можно насчитать больше ста случаев местничества Бутурлиных с княжескими и дворянскими родами, отпрысков которых они не считали равными себе, как тогда выражались, «в версту» или «глаз в глаз».

В древнейшем из приказов — Разрядном, ведавшим назначением и распорядком служилых людей, хранились и все сведения о возникавших между ними местнических спорах.

Кроме того, в этом же приказе велась повседневная запись всех событий придворной жизни: обедов и приемов, происходивших в Кремлевском дворце, выходов и походов царей, хотя бы это были всего только походы на богомолье в один из подмосковных монастырей и выезды на соколиную или медвежью охоту.

«Такого-то дня и числа,— начиналась обычно очередная запись в дворцовой разрядной книге,— пришел государь в Золотую палату и садился на свое царское место». Все, что происходило вокруг этого «места», уже давало повод для ожесточенных местнических склок, неизменно заносившихся в дворцовую разрядную книгу.

На торжественных приемах царя сопровождали всегда четыре телохранителя — рынды, одетые в длинные, почти до пят, белые серебротканые кафтаны, подбитые горностаем, с серебряными же пуговицами и в белые сапоги с подковами. Их высокие, как у бояр, шапки из белого бархата были украшены жемчугом и серебром и оторочены пушистым рысьим мехом. На плече каждый рында держал сверкавший серебром и золотом большой топор.

Как ни заманчиво было красоваться рядом с самим царем в этом роскошном наряде, заносчивые отпрыски родовитых семей часто уклонялись от этой обязанности, если хотя бы один из этой четверки по их местническим счетам не был им ровней.

Здоровые рослые парни — а только таких и брали в рынды,— словно ребятишки, играли в прятки с приходившими за ними из Разрядного приказа подьячими и под разными предлогами не являлись в Кремль. Так же поступали в подобных случаях и их родители. Если у царя «был стол», то местничались не только те, кто был приглашен к обеду, но и те, кто им прислуживал*.

На столы подавалось множество лакомых блюд*, но многим из приглашенных они просто не лезли в горло. Глаза ревниво следили за тем: кому подадут первому или кого царь почтит подачей со своего стола.

Едва царь успевал сесть «на свое царское место», как кто-нибудь из придворных уже начинал бить челом: не туда назначили, не с тем посадили, не за тот стол, не на лавку, а на скамью, считавшуюся местом менее почетным, чем стоявшая в переднем углу лавка. «После стола» цари иногда «жаловали» отличившихся бояр, окольничих и других придворных «своим государевым жалованием» — кубками, шубами и денежными наградами «по списку». Опять подымался шум, челобитчики были обижены тем, что награда «не на том месте в списке написана». Такую жалобу подал, например, однажды царю окольничий Фома Бутурлин, уязвленный тем, что он получил шубу не первым по списку.

Даже такого слабовольного царя, каким был ставленник бояр Михаил Федорович, назойливые челобитчики иногда выводили из терпения и он разражался площадной бранью, о чем в разрядной книге делалась такая запись: «... и государь на него почал кручиниться, лаял его матерны и называл его сынчишком боярским».

Терпеливее других выслушивал такие жалобы Иван Грозный. При первых Романовых, когда круг придворных расширился за счет «выдвиженцев» из дьяков и других «не рюриковичей», и поводов для стычек на местнической почве стало больше, наказания участились и сделались более строгими. Прямо из-за стола настойчивых челобитчиков нередко вели в Разрядный приказ «бить батоги» или в тюрьму. И чаще других с такими жалобами выскакивал кто-нибудь из Бутурлиных. Не составлял исключения и уже знакомый нам обладатель собственной разрядной книги воевода и окольничий Федор Васильевич Бутурлин с сыном. В самой этой книге об этом нет ни слова, так как она доведена только до конца XVI столетия, но их челобитные встречаются в более поздних разрядных записях, утаенных от сожжения другими «преобидниками» соборного решения.

18 сентября 1661 года, уезжая в очередной поход «на богомолье» в Троице-Сергиевский монастырь, царь Алексей Михайлович сказал «быти на Москве без себя», то есть замещать его, трем воеводам, в том числе Федору Васильевичу Бутурлину в товарищах у первого воеводы князя Бориса Александровича Репнина.

Вот когда, должно быть, пригодилась ее владельцу эта «не зело справчивая», но все же заслуживающая изучения «с разумом великим» книжица.

Уязвленный этим назначением воевода, конечно, стал ее внимательно перелистывать. Не записан ли в ней какой-нибудь случай, когда предки этого Репнина находились в подчинении у его предков? И, конечно, он нашел или припомнил такой случай, потому что в другой сохранившейся до наших дней разрядной книге есть такая запись:

«А у сказки окольничий Федор Васильевич бил челом государю в отечестве на боярина князя Бориса Александровича Репнина, что ему с ним быть невместно».

Оскорбленный такой дерзостью со стороны подчиненного ему воеводы, князь Репнин тут же подал царю «встречную» челобитную на окольничего Федора Бутурлина «о бесчестье и обороне».

«...Того же дня,— повествует разрядная книга,— велел государь сказать окольничему Федору Бутурлину, что он, Федор, бил челом на боярина князь Бориса Александровича Репнина в отечестве не делом, а с боярином князь Борисом Александро-

вичем быть ему мочно и за бесчестье боярина князь Бориса Репнина, указал государь, окольничего Федора Бутурлина послать в тюрьму».

Отсиживать в тюрьме по местническому делу обычно приходилось недолго, каких-нибудь два-три дня, в редких случаях до полугода. Не отражалась она и на дальнейшей судьбе челобитчика.

«А на Москве, с боярином с князь Борис Александровичем,— гласит та же разрядная запись,— ему, Федору, указал государь быть в товарищах по-прежнему».

Это был, конечно, чувствительный щелчок по носу, но Федор Васильевич Бутурлин, вероятно, утешался там, что не уронил себя в глазах своих спесивых родичей. Про него никто уже не мог теперь сказать, что он был в товарищах у князя Репнина «безсловно».

Среди архивных документов бывших дворцовых приказов случайно сохранилась одна памятка, посланная дьяку Дементию Башмакову о такой же местнической выходке сына Федора Васильевича, воеводы Ивана Федоровича Бутурлина, автора разбросанных на полях родовой книги поучений.

Из этой памятки видно, что в тревожные для бояр и воевод весенние дни 1666 года, когда разинская вольница приближалась к волжскому устью, главным астраханским воеводой был назначен боярин князь Иван Семенович Прозоровский, а в товарищи к нему приставлен Иван Федорович Бутурлин, уже исполнявший эту должность при князе Хилкове. Но на этот раз Иван Федорович заупрямился и тут же у «сказки», то есть при объявлении ему этого приказа, бил челом царю, что на службу он готов, но с князем Иваном ему быть «невместно». Как и московский воевода князь Репнин, в случае с отцом Ивана Федоровича, астраханский наместник князь Прозоровский тоже запросил царя «об обороне», и честолюбивый челобитчик получил еще более болезненный щелчок по носу, чем его отец. Царь вынес решение выдать Ивана Федоровича Бутурлина головой оскорбленному им боярину*. Указ об этом был оглашен в Кремле на Постельном крыльце, где обычно объявлялись ко всеобщему сведению подобные распоряжения. И «того же числа,— сообщает памятка,— он послан к князю Прозоровскому на двор».

Обычай выдавать обидчика головой, очевидно, имел воспитательное значение для обеих сторон. Глядя на унижение оскорбителя, обиженному полагалось проявлять великодушие: «повинную голову меч не сечет».

Оскорбитель должен был иногда просить прощения стоя на коленях и терпеливо выслушивать все поучения своего счастливого соперника, лишь после этого ему разрешалось встать. Зато уж и Бутурлины испытывали подлинное наслаждение, когда кто-нибудь бил на них челом «не делом», и не упускали случая потребовать его наказания.

В октябре 1613 года у только что возведенного боярами на престол царя Михаила Федоровича в Золотой палате было обычное «столовое кушанье». «Смотреть» в самый почетный «большой стол» был назначен Василий Иванов, сын Бутурлин. Смотревшего в «кривой стол» стольника Ивана Афанасьева, сына Плещеева, это уязвило, и он бил челом царю, что меньше Василия Бутурлина «ему быть невместно». По приказу царя дьяки навели справки в разрядных книгах, и Плещееву пришлось пожалеть, что он сам не сделал этого раньше. Царь приказал выдать его Бутурлину головою.

Особенно настойчиво преследовал бездельных челобитчиков, чувствуя за собой поддержку царя, любимец Алексея Михайловича Василий Васильевич Бутурлин, хотя и сам часто местничался «не делом». В качестве ближайшего стольника он не раз был царским возницей, отвозил «подвижного к богу» Алексея Михайловича в какой-нибудь из московских монастырей на богомолье. Устройство царских саней было такое, что Бутурлину не приходилось сидеть на облучке. Он гарцевал верхом на одной из запряженных в сани лошадей. Другой же царский стольник, князь Андрей Михайлович Мещерский, был как-то назначен «ухабничим», то есть должен был стоять «на ухабе», «в запятках», следить за тем, чтобы от толчков на неровной дороге «самодержец всея Великие и Малые и Белые Руси» не вывалился из саней.

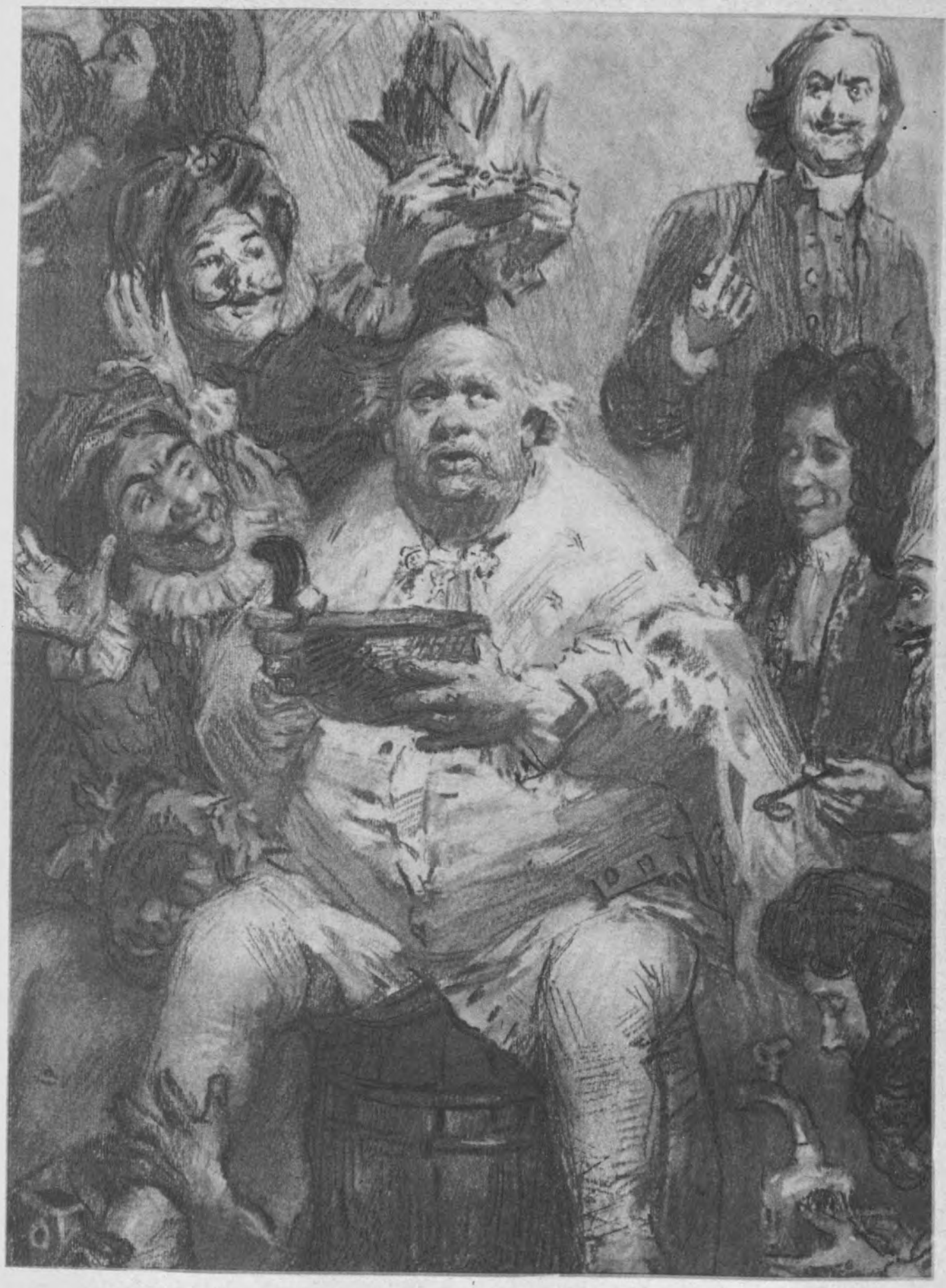
Потомок ширинского хана не захотел торчать на запятках позади Бутурлина и заявил об этом царю, но тот с ним не согласился, и высокомерный ухабничий на другой же день отведал батогов в том же Разрядном приказе, куда поступила его челобитная.

В другой раз, когда Василий Васильевич Бутурлин был уже окольничим, такую же челобитную подал на него князь Иван Иванович Ромодановский-меньшой. Не раз местничавшийся со многими царскими приближенными, вельможа в день именин царицы отказался сидеть за столом ниже Бутурлина. Алексей Михайлович велел ему передать, «что ему, князю Ивану, ничем не достало в отечестве до Василия Бутурлина», и за бесчестие Бутурлина приказал проводить его в тюрьму. Отсидев два дня, Ромодановский вскоре снова оказался в числе приглашенных в вербное воскресенье во дворец на обед к патриарху и должен был опять сидеть ниже Бутурлина. Когда же он вторично от этого уклонился, царь приказал думному дьяку Семену Заборовскому привести его и посадить за стол насильно. Ромодановский нарочно упал со скамьи, но его подняли и в течение всего обеда поддерживали за руки. На следующий день он был наказан вторично — отведен на двор к Бутурлину и «выдан ему головою»*.

Если где-нибудь вспыхивала местническая драка, не задевавшая никого из Бутурлиных, они настороженно следили за всеми ее перипетиями и часто сами в нее ввязывались.

Так, например, в 1613 году стольник Иван Петрович Шереметев отказался стоять в рындах на приеме кизилбашского посла вместе с происходившим из крымских татар «иноземцем», князем Юрием Еншевичем Сулешовым, утверждая, что будто в его версту (то есть из его сверстников) «со князем Юрьем никто не бывал», так как происхождение татарских князей установить трудно — «отечество их неведомо, кто кого больше или меньше». Князь же Сулешов со своей стороны подал царю встречную челобитную на Ивана Шереметева, что он бил челом на него «не по делу», и тем его обесчестил. В спор сейчас же вмешался находившийся в это время в Золотой палате Василий Иванович Бутурлин, также подавший царю челобитную, в которой говорилось: «А мы де, холопи твои, преж всего со князь Юрьем бывали, а Ивана Шереметева отечеством ничем не хуже». Бутурлин утверждал, что Шереметев своим отказом стоять в рындах с Сулешовым бесчестит и Бутурлиных. Подбодренный Бутурлиными, Сулешов стал уверять царя, что у Василия Бутурлина даже была на дядю Шереметева, боярина Федора Ивановича, «невместная грамота» и

Всешутейший князь-папа Петр Бутурлин «вознесся» превыше всех своих родичей.



делал отсюда вывод, что Бутурлины, а значит, и Сулешовы, ничем не хуже Шереметевых.

Узнав об этом, боярин Федор Иванович Шереметев тоже оскорбился и подал царю челобитную, что Василий Бутурлин опозорил его, Федора, пустив слух про якобы полученную им от царя «невместную грамоту».

«Государь бы его пожаловал,— просил Федор Шереметев,— велел бы Бутурлину будет у него есть невместная грамота, положить ее перед собою, государем». Василий Иванович Бутурлин от этого уклонился и вынужден был признать, что никакой «невместной грамоты» на боярина Федора Шереметева у него нет.

Алексей Михайлович указал тогда записать это признание в разрядную книгу, чтобы та грамота вдруг не объявилась, «а будет та грамота объявится и та грамота не в грамоту», сказали Василию Бутурлину бояре. Тем самым было дано понять, что Бутурлины способны ее подделать и сочинить такое, «чего в государевых разрядах и не бывало». Как раз то, в чем пытался обвинить своих соперников Квашниных придирчивый царский окольничий Иван Федорович Бутурлин.

Бутурлины, однако, спорили из-за мест не только с различными княжескими и дворянскими родами, но и между собой. Некоторые из них, стараясь из местнических соображений отмежеваться от своих сородичей, завели себе даже двойную фамилию — Бутурлин-Клепиков, Бутурлин-Ворон (так величался, например, особенно усердный спорщик окольничий и боярин Федор Леонтьевич Бутурлин), Бутурлин-Кривой, Бутурлин-Тесто, Бутурлин-Сопля и... наконец, Бутурлин-Сопленок. Эту неблагозвучную приставку к своей фамилии добавили два сына Бутурлина-Сопли — Иван и Емельян.

В 1616 году в Москве в ожидании нашествия татар из Крыма и ногайских степей принимались серьезные меры предосторожности. Столицу разделили на участки, распределив их между воеводами. Первыми в списках стояли имена воевод: князя Юрия Дмитриевича Хворостинина да Дмитрия Скуратова, потомка известного своей лютостью Малюты Скуратова, приспешника Ивана Грозного... Им поручено было защищать участок от Москвы-реки до Арбатских ворот. Охрана следующего участка — до Тверских ворот — была возложена на воевод Федора Леонтьевича Бутурлина и князя Михаила Белосельского. В числе первых воевод на других участках значились князья Семен Прозоровский и Алексей Долгоруков. Последний участок от Серпуховских ворот до Москвы-реки достался стольнику и воеводе Ивану Васильевичу Морозову, в помощники же ему был дан тоже стольник и воевода Иван Матвеев сын Сопля-Бутурлин, к слову сказать, один из предков «не графа» Дмитрия Петровича Бутурлина, председателя пресловутого «бутурлиновского» комитета, душившего в середине XVIII века передовую русскую печать и литературу*.

Во избежание местнических споров все воеводы были заранее предупреждены: перед угрозой татарского нашествия «быть им всем меж себя без мест». И все же трое из них — Иван Сопля-Бутурлин, Григорий Глазун-Плещеев и князь Никита Баратинский — тут же подали челобитные на «больших воевод» князей Семена Прозоровского, Юрия Хворостинина и Алексея Долгорукова да на Федора Бутурлина (Ворона), что им не пригоже быть у них в товарищах». Они моложе нас леты. Наша же братья, а написаны в больших воеводах!»

Царь Михаил Федорович и бояре напомнили челобитчикам в своем приговоре о сделанном им предупреждении — «быть всем без мест — кто с кем написан, тот того и меньше». Но два самых упрямых челобитчика Иван Сопля-Бутурлин да Григорий Плещеев все же оставили свои участки, не считаясь с тревожными вестями из Крыма, не поехали «к тем воротам, где они написаны» и были за это посажены в тюрьму.

Через семь лет после этого Ивану Сопле-Бутурлину опять представилась возможность выступить со своими местническими притязаниями. В Кремле справлялась свадьба чужеземного царевича Михайла Кайбулатовича с боярской дочерью Марией Григорьевной Ляпуновой. Все расходы по этой свадьбе царь взял на себя. «А обиходы были государевы и ествы государевы, с дворца все сполна»,— записано в разрядной книге. Сохранилась и роспись под названием: «Кому государь указал на царевиче Михайлове свадьбе быть в чинах».

«А с невестину сторону у Григорьевы дочери Ляпунова,— значится в этой росписи,— указал государь быть в отцово место окольничему Федору Левонтьевичу Бутурлину». В «сидячих» же гостях за тем же столом назван другой представитель плодовитого рода Василий Федорович Клепик-Бутурлин. Если верить хранившейся у генерал-аншефа Бутурлина родословной, это был отец того самого Федора Васильевича, который не хотел оставаться в Москве воеводой в товарищах у князя Репнина и списал у Квашниных родовую разрядную книгу.

Узнав о том, что его знатный родственник Бутурлин-Ворон будет занимать за свадебным столом «отцово место», в то время как ему, Клепику, придется за тем же столом довольствоваться положением простого «сидячего» гостя, он быстро настрочил челобитную царю о том, что «мне, Ваське, окольничева Федора Левонтьевича Бутурлина меньше быть не мочно по отечеству и по роду, что я, холоп ваш, брата Федора многими месты больше».

Не приглашенный на эту свадьбу Бутурлин-Сопля воспользовался случаем заявить царю, что и он «по лествице» больше Федора, и просил, чтобы «государь пожаловал, велел их счесть в отечестве по родословной книге».

А Бутурлин-Ворон со всей своей братией в свою очередь бил челом, что по научению Ивана Сопли «Василий новгородец его безчестит»*.

Царь не захотел изменять уже составленный свадебный чин и укорил Ворона, что он бьет челом не делом. Ворону и Клепику Бутурлиным велено было быть на свадьбе по росписи. После же свадьбы Клепик снова стал требовать суда, и царь поручил боярину князю Ивану Шуйскому с дьяком Даниловым заняться этим делом.

Целых четыре месяца наводились справки, ставили челобитчиков «с очей на очи», копались в родословных книгах. Наконец в июне 1623 года царь сам слушал это дело, и в столовой избе был объявлен приговор:

«По роду своему, ты, Василий Клепик-Бутурлин, брата своего, Федора, больше шестью месты, только задавнело, больше ста лет, как в лествице с ними разошлись».

А потому царь, во изменение прежнего своего решения, указал Ивана Соплю да Василия Клепика обвинить, сказать им, что не Федор, а они били челом не делом «не по своей мере». Ответ царя подтверждал заявление Ворона, что Клепик был в Новгороде мелкой сошкой, «в окладчиках», то есть всего только составлял списки годных

к военной службе людей, Федоровы же родители все были «в приближенье» и «в чести».

«Не сошлося вам с ними николи»,— торжественно объявил дьяк. Напрасно Клепик пытался возразить, что окладчиком он не мог быть по весьма уважительной причине — он грамоте не умеет,— царское решение осталось в силе: «быть ему меньше брата Федора Левонтьевича Бутурлина и считаться впредь только своей лествицею». Это разъяснение касалось и Ивана Сопли. Но оно не помешало его сыновьям Ивану и Емельяну Сопленкам местничаться с другими.

В феврале 1617 года на приеме посла сибирского царя Алтына старшему Сопленку было приказано стоять в рындах рядом с братом Клепика Федором. Старший Сопленок вспылил и не стал надевать затканный серебром белый кафтан. Не дожидаясь, что скажет по этому поводу царь, легкий на руку думный дьяк Сыдавной Васильев закатил Сопленку затрещину и в белый кафтан ему все же пришлось облачиться. Пощечина же эта для пущей острастки была занесена в дворцовую разрядную книгу.

Через десять лет, когда старший Сопленок сидел воеводой во Мценске, ему однажды пришел из Москвы приказ: в случае тревожных вестей из Крыма идти в обход вместе с рязанским воеводой князем Солнцовым-Засекиным на соединение к начальствовавшему над большим полком тульскому воеводе князю Юрию Буйносову. Но князь Солнцов-Засекин заместничался, не захотел быть ниже Буйносова и послал на него царю челобитную. По пословице «куда конь с копытом, туда и рак с клешней» Сопленок решил, что и ему «невместно» помогать князю Буйносову. Из Москвы пришла суровая отповедь обоим. Бутурлину-Сопленку, в частности, напомнили, что он должен выполнять свои обязанности «не оплошно», а с великим радением, смотря по вестям и по тамошнему делу. «А только ты по нашему наказу в полки и в украинные городы с воеводами ссылаться и нашим делом промышлять не учнешь,— грозила грамота,— и твоею рознью хоть малая какая поруха учинится и тебе от нас быть в великой опале, безо всякие пощады».

Заботившимся о своей родовой чести больше, чем о безопасности родины, челобитчикам наказ пришлось выполнить: «быть по росписи, где кто написан». Но и росписи полученным щелчкам потомки Бутурлина-Сопленка, вероятно, тоже берегли, как святыню. Ведь эти щелчки были от самого царя, и ими можно было при случае козырнуть перед всеми, кто, «истеряв» свою близость к царю, их совсем не получал.

К каким только уловкам не прибегали сыновья Ивана Сопли для того, чтобы прибавить себе чести в глазах окружающих, заставить забыть, что иные Бутурлины, как раз их ближайшие предки, «отечество свое истеряли, служа в худых чинах».

В декабре 1661 года младший Сопленок, Емельян, был послан вместе со стольником и воеводой, князем Семеном Пожарским, в инспекторскую поездку в Рязань, Венев и Каширу — дозирать засеки, то есть проверять качество сооруженных там на случай нападения чужеземных воинских людей завалов из срубленных деревьев. При этой проверке должны были присутствовать и строившие эти укрепления местные воеводы.

Один из них, рязанский воевода Василий Колтовский, оскорбил младшего Сопленка, не стал отчитываться перед ним, ссылаясь на то, что «по отечеству» Сопленок

до него не дорос, и послал об этом в Москву челобитную. Емельян в свою очередь бил челом на Колтовского, что он его этим обесчестил. Царь велел Сопленку представить «случаи», подтвердить на примерах, что Колтовские «по лествице» ниже Бутурлиных. Младшему Сопленку это не понравилось, и он заносчиво заявил, что «на таких худых людей, детей боярских, положить случаев нечего». «Тогда и обороны дать не по чему»,— ответили из Разрядного приказа. Но Емельян Сопленок «многажды» напоминал о своей жалобе царю, и из Разрядного приказа его вторично запросили, на чем он основывает свои притязания. Сопленок повторил свой высокомерный ответ: «Колтовские людишки обышные, дети боярские, и ему на таких худых людей случаев не принашивать». Но так как дело дальше не подвинулось, он однажды, улучив благоприятный момент, подошел к царю, когда тот направлялся в церковь, и на словах привел несколько «случаев», подтверждавших, что Колтовские возносятся перед ним «не по своей мере».

Через четыре дня после этого к царю поступила еще одна челобитная. Сын его любимца, заслуженного боярина и дворецкого Василия Васильевича Бутурлина, стольник Иван Васильевич обвинял в бесчестье... кого же? Да своего же дальнего родственника Емельяна Сопленка.

Оказалось, что случаи, приведенные Сопленком в подтверждение своей правоты в споре с Колтовским, были вовсе не с его предками, а относились к поколению боярина и дворецкого Василия Васильевича Бутурлина.

«...И тем он, Амельян, отца его и его, Ивана, обесчестил,— писал царю сын дворецкого,— потому, что он, Амельян, и Клепичата Бутурлины новгородцы.— Тут боярский сынок употребил то же словцо, которым Емельян Сопленок хотел уязвить Колтовских... перед ними, по случаям, «обышные люди».

Окольничий Иван Васильевич Бутурлин просил, чтоб государь пожаловал, спас его от бесчестья, велел на него, Сопленка, да и вообще на всех новгородцев Бутурлиных «оборонь дать, что они причитались к ево, Иванову, поколенью».

ПОСЛЕДНИЙ УКАЗ КНЯЗЬ-ПАПЫ

ЗНАКОМЯСЬ с текстами грамот и указов, изданных в конце XVII века от имени двух несовершеннолетних царей, нетрудно убедиться, что меры борьбы с пережитками местничества после его торжественной «отставки» были в общем те же, что и до нее: грозные на словах, они на деле часто кончались прощением ослушников.

Но сохранилось достаточно других документов, убеждающих в том, что подлинным могильщиком местничества стал именно Петр. Еще юношей он подал пример

скромности дворянским сынкам, начав службу в Преображенском потешном полку в должности простого барабанщика. Поэтому всякий спор между ними из-за мест становился бессмысленным. Он мог быть истолкован как стремление стать выше царя.

Пышное звание «генералиссимуса потешных войск» Петр присвоил двум своим любимцам: князю Федору Юрьевичу Ромодановскому и Ивану Ивановичу Бутурлину. Это, конечно, не помешало очень быстро заслужившему офицерский чин «ротмистру Петру Алексееву» во время жаркой потешной баталии лично взять в плен одного из генералиссимусов — конечно, того, который командовал неприятельскими войсками. Это был Иван Иванович Бутурлин, носивший иногда еще и титул «короля польского».

Заботясь лишь о запечатлении этих потешных игр для потомства, Петр и тут остался в тени. Отчет об одной из них назван: «Известное описание о бывшей брани и великих подвигах между изящными господами генералиссимы князем Федором Юрьевичем и Иваном Ивановичем и коих ради причин между ними те брани произошли».

Любопытен следующий случай.

Петр, уехав в Воронеж для наблюдения за постройкой кораблей, прислал к празднику пасхи общий поклон обоим генералиссимусам наравне с другими менее знатными чинами. Один из генералиссимусов, «князь Федор Юрьевич Прешбургский и Парижский и всея Яузы обдержатель», войдя в свою роль, упрекнул царя в недостаточном к себе почтении. Тогда Петр ответил ему так:

«В последнем письме изволишь писать про вину мою, что я ваши государские лица вместе написал с иными. И в том прошу прощения, потому что корабельная наша братия в чинах не искушена».

Присвоив впоследствии тому же Ромодановскому якобы заслуженное им сверхпочетное звание «князь-кесаря» и узнав после Полтавской битвы в свою очередь и о своем повышении в чин полковника Преображенского полка, Петр 7 августа 1706 года в таких насмешливых выражениях благодарил подставного повелителя: «Сего месяца в 6 день по указу вашего величества, господин кригс-комиссарий объявил мне чин полковника в полку Преображенском, которая вашего величества милость не по долгу службы нашей, но единых ради щедрот ваших»...

Подбором и возвышением таких приближенных, как сын придворного конюха Меншиков, талантливый инженер Яков Брюс, правовед Яков Ягужинский, Петр постоянно подчеркивал: не заслуги предков, а лишь личные способности открывают путь к высоким постам.

После официальной «отставки местнических случаев» никто, конечно, не смел больше бить челом царю о суде и счете «в отечестве», но поток жалоб на бесчестие по другим поводам долго не прекращался.

Еще отцу Петра, царю Алексею Михайловичу, пришлось издать специальный указ, запрещавший считать бесчестием случайные «бесхитростные» ошибки и описки в начертании чина, имени, отчества и фамилии. Так, например, князь Голицын из-за ошибки в правописании одной только буквы в его фамилии бил челом на Аввакума Иевлева, назвавшего его Галицыным и тем якобы его опозорившего. Князь

Лобанов-Ростовский счел оскорблением, что при написании его имени над буквой и (і) не была поставлена точка. По «Уложению о наказаниях» считалось преступлением обращение к знатному человеку без «вича», например: «Иван сын Петров» вместо «Иван Петрович» или если кто-нибудь умышленно «лаясь» называл князя просто князем, без упоминания его имени. Но горько раскаяться пришлось путивльскому воеводе, Ксенофонту Алымову, когда он пожаловался молодому Петру на какого-то Григория Батурина, сказавшего якобы в приказной избе «будто я, холоп твой, на него, Григория, смотрю зверообразно» и попросил Петра «в бесчестье моем свой, великого государя, указ по Уложению учинить».

Петр не только отказал обидчивому воеводе, но его же еще и оштрафовал на десять рублей, которые тут же приказал раздать нищим. «Да и впредь, кто на кого, в таких же или в иных, потому ж неприличных и недельных исках, учнут великому государю бить челом в приказе, судьям отказывать и челобитен не принимать и никого не допрашивать»,— гласил его указ, записанный в разрядную книгу, заполнявшуюся раньше именно такими челобитьями.

4 мая 1700 года Петр в присутствии бояр прослушал зачитанные дьяком выдержки из целого вороха челобитных и приказал выписать на отдельный лист все приведенные в них обидные выражения:

Вольно де тебе лаять.

Шпынок турецкий.

Из-под бочки тебя тащили.

Сынчишка боярский (выражение, кстати сказать, часто употреблявшееся дедом Петра, Михаилом Федоровичем, когда он хотел уколоть какого-нибудь, особенно надоедавшего ему своими бездельными челобитьями, стольника).

Мартынушка, мартышка.

Трус.

Отец твой лаптем шти хлебал.

Злодей.

Сулил сыромятную кожу в яловичьи сапоги.

Подскорба и другие, в этом же роде.

По указанию Петра бояре, не раз, вероятно, сами возбуждавшие иски против употреблявших подобные выражения обидчиков, приговорили всех, кто вздумает впредь обижаться на такие слова, бить по карману — «доправить на них пошлинные деньги вдвое».

Произведенные Петром реформы: полное переустройство армии на европейский лад, введение «табели о рангах», обязывавшей дворян заслуживать себе чины, а не получать их по наследству и открывавшей любому усердному служаке из других слоев населения доступ к дворянскому званию, замена варившейся столетиями в собственном соку боярской думы более самостоятельным сенатом и сведение полусотни окостеневших приказов всего к десяти гораздо более гибким коллегиям — все это немало способствовало искоренению местнических повадок. Правда, попавшие в эти коллегии бывшие бояре и их отпрыски нуждались еще, время от времени, в основательных взбучках. Об этом свидетельствует изданный в июне 1719 года указ, предписывающий «всякого чина людям тех коллегий» относиться друг к другу «со

всяким согласием и надлежащим почтением», а не «сварой и укоризненными словами», поскольку «преждебывшие местнические случаи весьма пресечены и до конца искоренены», старые разряды «навечно оставлены» и вместо них установлено, ради подлинных интересов государства, «славное безместие».

Об одном из способов утверждения полного безместия напоминают также некоторые неофициальные бумаги, хранившиеся когда-то в кабинете Петра I. Они были внесены в казалось бы не имеющий никакого отношения к этому вопросу «Реэстр некоторым увеселительным письмам о князь-папе и соборе оного».

В этих письмах и в других приложенных к ним документах речь идет о происходивших при дворе церемониях и празднествах. Есть даже списки участников этих празднеств, на первый взгляд, мало отличающиеся от вызывавших местнические распри росписей лиц, приглашавшихся предками Петра I на свадьбы, приемы послов и всякого рода религиозные «действа».

На каждой странице мелькают фамилии недавних бояр и именитых князей: Долгоруких, Волконских, Голицыных, Ромодановских, Трубецких, Черкасских, Прозоровских. Чаще других встречаются Бутурлины, особенно двое из них: вернувшийся из шведского плена сподвижник Петра по потешным и настоящим баталиям генерал Иван Иванович и его дядя боярин Петр Иванович. Тот самый «двоюродный брат», которому воевода и окольничий царя Алексея Михайловича, Иван Федорович Бутурлин, давал списывать свою домашнюю разрядную книгу, советуя при этом обязательно завести свою собственную. «...Ты себе тетрадку сделай особую и выписывай себе именно, которого году и кто с кем бывал безсловно».

Последовал ли Петр Иванович этому совету предусмотрительного братца? Завел ли он на самом деле свою собственную разрядную книгу для справок, счетов с захудавшими родичами и соперниками, наконец, просто ради щекочущих воображение воспоминаний о высоких постах, достигнутых при разных царях его предками? И где эта книжица теперь? Не сгорела ли вместе с себе подобными в кремлевской печи или, по совету братца, была тоже спрятана и, может быть, попадет еще когда-нибудь в руки исследователей?

Косвенный ответ на эти вопросы давали документы, перечисленные в реестре увеселительных писем Петра I.

Нет, бывший боярин Петр Иванович Бутурлин уже не нуждался в собственной разрядной книге. Ему не с кем было тягаться и считаться из-за мест не только потому, что местничество было запрещено, но и потому, что он, единственный из всех Бутурлиных, стал обладателем совсем особого княжеского звания с не встречавшимся ни в каких родословных книгах шутейным придатком: князь-папа.

До него это звание имел всего один человек — бывший дядька и воспитатель Петра I Никита Моисеевич Зотов, занимавший при царе пост «ближнего советника и ближней канцелярии генерал-президента».

Не прославившийся никакими подвигами, «генерал-от-канцелярии» к концу жизни стал горьким пьяницей. Это и дало повод Петру дать ему еще один издевательский титул — «президента всешутейшего и всепьянейшего собора».

В воскресные дни, а чаще всего на святках и во время масленицы, предводительствуемые князь-папой владыки ездили с визитами по всему городу верхом на волах

или ослах, а иногда лошадей им заменяли впряженные в сани свиньи, медведи или козлы. Когда же князь-папа устраивал пиршества у себя дома, он посылал за гостями своих слуг, собранных со всей страны заик и калек, страдавших подергиванием всего тела — «пляской святого Витта». Князь-папины посланцы не могли без запинки произнести ни одного слова и то и дело выписывали кренделя руками и ногами.

В хранившемся в бумагах Петра списке придворных пьяниц, удостоенных сомнительной чести состоять членами «всешутейшего собора», встречаются фамилии князей Хилкова, Репнина, Прозоровского, родовитых дворян Мусина-Пушкина, Головина, Тургенева, Колтовского, Воейкова, Юшкова и других. Сам же Петр скромно называл себя всего только протодьяконом этого собора.

Семидесятилетнему старику Никите Зотову, при всем его пристрастии к попойкам, придуманная царем беспокойная должность стала, очевидно, в тягость. Он решил даже уйти в монастырь, но Петр отверг его просьбу и подыскал повод для очередной шумной потехи — приказал ему жениться на пожилой вдове Анне Еремеевне Пашковой. Петр сам сочинил «Реэстр, кому господам на свадьбе тайного советника Никиты Моисеевича Зотова быть в каком платье и с какими играми»*.

«Всепренеосвященнейший князь-папа» — так титуловался жених в сочиненных протодьяконом свадебных приглашениях — после устроенного в его честь шумного празднества и сопутствовавших ему пиров и попоек не прожил и двух лет. В 1717 году тем же неистощимым на выдумки протодьяконом было составлено от имени всепьянейшего собора слезное обращение к князь-кесарю Ромодановскому, начинавшееся словами:

«...Известно вашему величеству, что отец ваш и богомолец (последнее слово Петр в черновике зачеркнул, щадя, видимо, религиозные чувства своего адресата) всепренеосвященнейший князь-папа, всешутейший Аникита от жития сего отъиде и наш сумазброднейший собор остави безглавен...» Члены собора молили верховного властителя «призрети на вдовствующий престол» и разрешить избрание нового князь-папы.

Такое разрешение было им, конечно, дано новым князь-кесарем Иваном Федоровичем Ромодановским, возведенным в этот, в сущности тоже шутовской, сан после смерти своего отца. Петр наметил уже и кандидата: «митрополита великого царствующего града Санктпитербурха и Ермоландии, смиренного своего тезку, прешутейшего и пьянейшего боярина Петра Ивановича Бутурлина»*.

Протодьяконом Петром была до мельчайших подробностей разработана и вся церемония посвящения Бутурлина в высокий сан, состоявшая из двух частей: «чина избрания» и «чина поставления».

Торжественную процессию открывала озорная ватага собранных из разных мест ямщиков, славившихся своим мастерством свистеть по-птичьи на разные голоса. За ними шли: хор «государевых» и церковных певчих, «подстенная братия», то есть мнимые калеки и нищие, дьяконы, попы и знатные монахи разных орденов, архимандриты и бестолковые князь-папинские служители в своих нелепых, влачившихся по земле красных кафтанах и остроконечных шапках. Монахи «неусыпаемой обители» несли в паланкине завернувшегося в тигровую шкуру и обвешанного виноградными кистями древнегреческого бога вина и веселья Бахуса. Его изображал

давно пропивший свой голос царский певчий Конон Карпов. За ними следовала «депутация плешивых», водрузивших на свои отполированные подсолнечным маслом до блеска лысины огромный ковш. Последними шествовали в своих роскошных мантиях «архижрецы», то есть члены всешутейшего собора: митрополиты «кронштоцкой и котлинской — Морай, Великого Новгорода — Тарай, дербенской и мидской — Ияков Прыткой, сибирской и тобольской — Гнил, охтинской и седмимельницкой — Бибабр».

Проводив членов всешутейшего собора в специально отведенное для них помещение, участники процессии расходились. Обсуждение кандидатуры нового князь-папы за обильно уставленным бутылками столом продолжалось всю ночь, так как это помещение было заперто снаружи самим князь-кесарем.

Наутро в торжественной обстановке начиналось голосование... куриными яйцами. Ими наделяла каждого архижреца «князь-игуменья», придворная шутиха Дарья Гавриловна Ржевская. Яйца были двух сортов: натуральные и обшитые черной материей. Членам всешутейшего собора предоставлялась возможность опустить любое в подносимые «дьяконицами» ящики. Эта процедура повторялась несколько раз, по количеству кандидатов.

Избранным оказался, конечно, ставленник царя Петр Бутурлин.

Нового князь-папу приветствовал торжественной речью первый из архижрецов. Он же возлагал на него мантию и головной убор. Члены собора пели своему председателю многолетие и целовали его морщинистую руку, еле державшую наполненный водкой «кубок большого орла». Другой рукой он зачерпывал водку из кубка и поил каждого архижреца из своей ладони.

После этого князь-папу сажали в принесенный депутацией плешивых большой ковш и торжественно несли домой. Там уже был приготовлен огромный чан, наполненный смесью вина и пива. Избранника окунали в этот чан. Из него же небрезгливые архижрецы и гости утоляли свою жажду до его полного опорожнения.

Неистощимый в изобретении такого рода забав, «протодьякон» на этом, однако, не остановился. Сочиненный им «чин постановления» носил еще более торжественный характер.

«Когда все уже собраны и сядут на свои места, тогда приходит поставляемый. Пред ним же несут две фляги: одна вызолочена, другая высеребрена; и два блюда — одно с огурцами, другое с капустой»,— так начинался этот обряд. Свои дары поставляемый вручал с троекратным поклоном князь-кесарю, приступавшему после этого к пристрастному допросу: как выполняет избранник закон Бахуса?

Текст пространного ответа Бутурлина трижды переделывался «протодьяконом». Он же сочинил и хвалебный гимн Бахусу, исполнявшийся архижрецами в то время, как упавший на колени избранник судорожно обнимал бочку с вином.

Архижрецы помогали поставляемому встать и по очереди, с подобающими изречениями, возлагали на него атрибуты его сана и власти: роскошную ризу, сверкавшие серебром и золотом нарукавники и наплечники, вручали ему драгоценную флягу и жезл.

Первый жрец, обмакнув кисточку в стакан с крепким вином, мазал ею лоб Бутурлина и проводил круги под его глазами, приговаривая: «Тако да будет кружиться

ум твой». Он же потом возглашал: «Рукополагаю аз, пьяный, сего не трезвого, во имя всех пьяниц, во имя всех скляниц... во имя всех табаков, во имя всех кабаков». Рифмованный перечень соблазнов, ради которых поставляемый принимал свой высокий сан, был очень длинен. Затем, под возглас «венец мглы бахусовой возлагаю на главу твою», на лысину Бутурлина водружалась митра.

Церемония заканчивалась «возведением избранника на престол». Князь-папа взбирался на огромную бочку и, выпив залпом «кубок большого орла», принимался угощать вином архижрецов, снова певших ему многолетие.

Рукой Петра написаны и первые манифесты, изданные Бутурлиным после его «восшествия на превысочайший князь-папы престол». В одном из них он подтверждает данное князь-кесарю обещание: «вяще и вяще закон бахусов исполнять и врученное мне стадо денно и нощно тому поучать». В другом извещает «всешумнейшую и всешутейшую мати князь-игуменью Дарью Гавриловну Ржевскую» о награждении ее высшим шутовским чином «архиигуменьи» и назначении на ее прежнее место придворной шутихи княгини Настасьи Петровны Голицыной*.

По-видимому, боярин Бутурлин, постепенно превратившийся во время всех этих празднеств в вечно пьяного шута, отлично справился со своей ролью, потому что имевший право «словесно и ручно унимать его» «протодьякон» вскоре придумал новую забаву, в которой пьянице опять было отведено главное место. Петр решил женить нового князь-папу на вдове его предшественника. Графиня Анна Еремеевна Зотова долго упрямилась, но в конце концов вынуждена была подчиниться воле властного «протодьякона».

Среди найденных в личных бумагах Петра черновиков шутливых указов всепьянейшего собора не сохранилось почему-то никаких документов о свадьбе второго князь-папы, ни даже списка приглашенных на нее знатных гостей. Но спустя почти семь десятилетий в одном выходившем в Германии историческом альманахе неожиданно появилось ее подробное описание. Издатель этого альманаха, известный немецкий археограф Бюшинг, случайно познакомился в прибалтийском приморском городке Висмаре с благообразным стариком Фридрихом фон Бергхольц, в молодости жившим в России в качестве камер-юнкера голштинского герцога Карла-Фридриха, приезжавшего свататься за старшую дочь Петра Первого Анну и действительно женившегося на ней вскоре после смерти ее отца.

Прожив несколько лет в России, Бергхольц стал свидетелем и участником многих придворных увеселений и с педантичной аккуратностью записывал в свой дневник все, что он видел и слышал.

Издатель Бюшинг долго упрашивал престарелого обер-камергера продать ему этот дневник, но не добился согласия, так как тот, видимо, очень им дорожил. Лишь после смерти Бергхольца Бюшинг все же сумел приобрести его записки у его наследников и опубликовать их в своем альманахе.

Грандиозный карнавал по случаю заключения Нейштадского мира, к которому была приурочена свадьба Петра Ивановича Бутурлина на вдове первого князь-папы, начался 10 сентября 1721 года и продолжался целую неделю. В этот день все маски, завернувшись в длинные епанчи (так в те времена назывались плащи), собрались в назначенное место, пока в церкви совершалось торжественное бракосо-

четание князь-папы с вдовой его предшественника, на котором присутствовали только самые знатные вельможи во главе с царской четой.

«Когда же, по окончании этой церемонии, их величества со всеми прочими вышли из церкви,— рассказывает Бергхольц,— сам царь, как было условлено наперед, ударил в барабан. Его величество представлял корабельного барабанщика и уж, конечно, будучи мастером своего дела и начав, как известно, военную службу в этой должности, не жалел старой телячьей кожи инструмента. Все маски разом сбросили плащи, и площадь запестрела разнообразнейшими костюмами. Открылось вдруг около тысячи масок, разделенных на большие группы и стоявших на назначенных им местах».

Наблюдательный немец записал во всех подробностях ход карнавала и даже запомнил костюмы отдельных его участников.

Впереди Петра шли три трубача, одетые арабами, в белых чалмах и в обшитых серебряным галуном камзолах, и вместе с царем выстукивали дробь еще три барабанщика, одним из которых был бывший генералиссимус потешных войск генерал Бутурлин.

Трубачи и барабанщики, в том числе и царь, только открывали процессию. Возглавлял же ее шествовавший вслед за ним в золотой короне и в подбитой горностаем бархатной мантии князь-кесарь Иван Федорович Ромодановский. Выступавшая за князь-кесарем императрица Екатерина поразила всех своим скромным костюмом. Жена носившего мундир корабельного барабанщика Петра нарядилась простой голландской крестьянкой. На ней были надеты обыкновенная душегрейка, черная бархатная юбка и дешевый полотняный чепец. Примеру царицы последовали и ее придворные дамы, также кокетничавшие своими простыми крестьянскими платьями. Голландскую скромницу, однако, сопровождали блестящие камер-юнкеры в полной парадной форме, музыканты с гобоями и восемь арабов-телохранителей. За ними шла пестрая толпа миловидных пастушек и дородных боярынь в кокошниках, вымазанные сажей «негритянки» и сильно нарумяненные почти голые нимфы, густо напудренные скарамуши и арлекины. Позади всех, постукивая длинным посохом, ковылял высоченный толстый монах-францисканец. Это был, так сказать, главный, передовой отряд процессии.

Впереди основной колонны шла жена князя Ромодановского, княгиня-кесарша, в костюме древней царицы — длинной пурпурной мантии, окаймленной золотом. За ней семенил жених царевны Анны, голштинский герцог Карл-Фридрих, тоже выбравший себе скромный костюм крестьянина (французского виноградаря), но сопровождаемый пышной свитой в зеленых, желтых и голубых камзолах. Далее следовали гвардейские офицеры, облачившиеся в размалеванные латы римских воинов и украшенные цветами шлемы. Другие маски изображали звеневших бубенчиками египетских жрецов, индейских вождей в головных уборах из разноцветных перьев, щеголяли яркими восточными нарядами турок, персов, китайцев, индусов и роскошными шелковыми рясами католических епископов, прелатов, каноников, аббатов и капуцинов. «Самыми странными из всех, однако,— замечает Бергхольц,— были князь-папа из рода Бутурлиных и коллегия его кардиналов в их полном наряде».

Иностранцу запомнился также непременный участник выездов всепьянейшего собора бог виноделия Бахус, в полосатой тигровой шкуре, обвитый виноградными лозами. «Говорят, — замечает он, — что его три дня поили и не давали спать, поэтому он совсем опух». Нарядившийся сатиром танцмейстер князя Меншикова делал на ходу очень искусные и высокие прыжки. За ним еле волочили ноги обжоры и толстяки, напялившие на себя, смеху ради, мундиры придворных скоморохов. Одним из них, по свидетельству другого очевидца этого веселого зрелища В. А. Нащокина, был выделявшийся своей тучностью двоюродный братец князь-папы. Тот самый Иван Федорович Бутурлин, который давал кузену списывать свою семейную разрядную книгу для посрамления соперников и «захудавших» родичей. Еле поспевая за двумя другими толстяками, бывший окольничий царя Алексея Михайловича громко пыхтел и обливался потом в непривычной одежде*.

Вся эта шумная и пестрая процессия направилась в здание сената и коллегии, где был сервирован свадебный стол.

Петр Иванович Бутурлин и его «молодая», которой шел уже седьмой десяток, уселись под роскошным балдахином. Жених — рядом с барабанщиком («протодьяконом» Петром) и владыками из всешутейшего собора. Невеста — рядом с царицей и придворными дамами.

С потолка над лысиной князь-папы свешивался серебряный сосуд, изображавший бога виноделия Бахуса верхом на бочке. Жених в течение всего обеда беспрестанно наполнял из этой бочки свой стакан. Кроме того, ему все время подливал и сидевший напротив него верхом на большой деревянной бочке живой Бахус, беспробудный пьяница Конон Карпов.

После обеда начались всеобщие танцы, но еле державшиеся на ногах новобрачные, по-видимому, не смогли уже в них участвовать. Петр со своей голландской скромницей сам отвез их домой — в воздвигнутую против здания сената деревянную пирамиду. Вместо мебели она была уставлена пивными и винными бочками, посуду заменяли причудливые рюмки и чарки в форме птиц: канареек, синиц, снегирей, ворон, лебедей, соколов и, наконец, самая большая в виде горделивого орла. Пол и постель новобрачных были засыпаны хмелем.

На следующий день по особому сигналу все участники карнавала собрались на прежнем месте и пошли поздравлять молодых. Успевший уже проспаться и опохмелиться князь-папа стоял в дверях с большущей чашей и деревянной ложкой. Каждому целовавшему ему руку поздравителю он отпускал этой ложкой порцию вина. Затем новобрачные вместе с гостями дважды обошли вокруг пирамиды и направились к уже приготовленным на берегу Невы судам. Под звуки самых необычных инструментов и при пушечных выстрелах они переправились на другую сторону, где в почтовом домике гостям было снова предложено обильное угощение.

Князь-папа со своими владыками совершил эту переправу отдельно от других в сделанном по заказу «протодьякона» из пивных бочек хитроумном сооружении*.

Как и его предшественник, окончательно спившийся Бутурлин недолго прожил после свадьбы.

«В этот день, утром, к великому сожалению всех отчаянных пьяниц, умер здешний известный князь-папа, происходивший из фамилии Бутурлиных»,— записал в

своем дневнике 22 августа 1723 года Бергхольц. Описав так подробно развлечения князь-папы и подлинного заправилы всешутейшего собора неугомонного «протодьякона», склонный к размышлениям иностранец счел, однако, необходимым внести в свой дневник и следующие догадки о назначении «пьяной коллегии».

«Поводом к учреждению ее царем был, говорят, слишком распространившийся между его подданными, особенно между знатными лицами, порок пьянства, который он хотел осмеять и вместе с тем предостеречь последних от позора. Многие губернаторы и другие сановники,— сообщает Бергхольц,— разделяли в этом случае одинаковую участь с людьми менее их знатными и не были избавлены от поступления в коллегию... Но другие думают,— заканчивает он свое рассуждение,— что царь насмехался над римским папой и его кардиналами...»

На самом же деле всешутейший собор и «коллегия» имели, вероятно, другое, более глубокое значение: они были придуманы Петром I и удачно им использованы как средство борьбы с местничеством и другими пережитками старины.

Участвовавшие в этих развлечениях именитейшие князья и бывшие бояре не могли же, в самом деле, да и, конечно, не смели больше жаловаться царю на бесчестье: «князь Голицын, мол, был на свадьбе князь-папы с двумя погремушками, а я, холоп твой, всего лишь с одной деревянной трещоткой». Им оставалось только пускать в ход старую уловку — уклоняться от участия в унижавших их увеселениях. Но «протодьякона», с детских лет знакомого с такими приемами, нелегко было перехитрить.

Среди бумаг Петра I хранился написанный им черновик последнего предсмертного указа князь-папы Бутурлина, озаглавленный: «Реэстр архиреям, которые учинились ослушны святейшему князь-папе».

Реестр этот представлял собой список членов всепьянейшего собора, уехавших без разрешения из Петербурга в Москву и уклонившихся таким путем от участия в его публичных сборищах. В нем были перечислены девять мнимых архиереев и несколько таких же попов, дьяконов и ключарей, в том числе три князя — Щербатов, Лобанов-Ростовский и Оболенский и шесть представителей таких старых боярских родов, как Шереметевы, Колычевы, Собакины, Головины, Стрешневы, Ржевские. Не хватало только Бутурлиных! Уж кто-нибудь из них, конечно, не преминул бы попасть в этот список, если бы он уже не был подписан виднейшим представителем их рода, самим святейшим князь-папой Петром Ивановичем Бутурлиным, ставшим спьяна пугалом закоренелых местников.

Что этот указ всешутейшего князь-папы был совсем не шуткой, видно из другого постановления, составленного в весьма решительных выражениях и подписанного уже не Петром Бутурлиным, а императором Петром.

В нем предлагалось московскому вице-губернатору Воейкову немедленно выслать в северную столицу вышеперечисленных членов всешутейшего собора, «обитающих в Москве своевольем».

Двоюродный братец владельца частной разрядной книги Ивана Федоровича Бутурлина, облеченный высоким званием князь-папы, Петр Иванович, видимо, так и не последовал его совету: «... а которые статьи надобно про себя и ты себе тетрадку сделай озобую».

Вознесенный превыше всех прежних соперников рода Бутурлиных, князь-папа в ней не нуждался; детей же благодаря позднему браку с семидесятилетней старухой у него не было. Еще одна ветвь раскидистого родословного дерева засохла.

Обладатель собственной разрядной книги Иван Федорович Бутурлин, может быть, предвидел такую беду, когда в том же своем завещании, набросанном на ее полях, обращался через головы своих потомков к будущему владельцу ее, «у кого в дому сия книга будет», и советовал ему прочесть ее «с разумом великим», а если чего-нибудь не поймет, «ино умеющего разумного человека спросить нестытно». Он, конечно, не мог знать, что владельцем его сокровища будет вовсе не «государь» какой-нибудь, а целое учреждение — Государственный Исторический музей. В отличие от самого Ивана Федоровича этот новый и последний владелец его разрядной книги не прячет ее ни от кого и не предостерегает ее читателей: «никому не кази, ведай сам себе».

Перелистывая ее выцветшие страницы, автор настоящей книги имел возможность ознакомиться с советами окольничего царя Алексея Михайловича и даже воспользовался одним из них. Когда ему что-нибудь было неясно, он обращался к сведущим людям — советским историкам и археографам, оказавшим ему ценную помощь своими трудами и указаниями.

ПРИМЕЧАНИЯ

К главе «Судьбы древних архивов»

К стр. 9. Позолоченный ковчег, в котором хранится теперь подлинник «Уложения» 1649 года, был сделан во второй половине XVIII столетия по повелению Екатерины II и стал для него усыпальницей. Екатерина нашла нужным приступить к подготовке нового «Уложения», впрочем, так и не осуществленного. Вместо него, почти сорок лет спустя после ее смерти, был составлен «Свод законов Российской империи».

Прежде чем похоронить старое «Уложение» в позолоченном ковчеге, Екатерина захотела просмотреть его и приказала генерал-прокурору князю Вяземскому доставить его во дворец. Озадаченный неожиданным поручением вельможа принялся искать подлинник «Уложения» в архиве правительствующего сената. Оттуда поспешили донести, что там его нет и никогда не было. Обеспокоенный пропажей такого важного документа генерал-прокурор приказал немедленно перерыть весь архив упраздненного Разрядного приказа. «Уложения» и там не оказалось. Кто-то вспомнил, что «Столбец Уложенный» — так называлось оно во времена царя Алексея Михайловича — был впервые отпечатан в 1650 году, и, значит, его подлинник следует искать в синодальной типографии. Однако и там не нашлось никаких следов оригинала первого издания. Генерал-прокурор слышал, что когда-то под престолом Успенского собора в Кремле был тайник для важнейших государственных документов. По распоряжению князя Вяземского в соборе даже разобрали пол, но с тем же результатом. Наконец «Уложение» нашлось в древней Казенной палате, находившейся близ Благовещенского собора.

Генерал-прокурору донесли, что сыскан железный сундук, где хранится подлинное «государя царя Алексея Михайловича «Уложение», токмо того сундука за неотысканием ключа неотперто».

Лишь на следующий день был изготовлен новый ключ, и из сундука вынули суконный красный мешок, в котором оказался подлинник «Уложения» 1649 года и один печатный экземпляр его первого издания.

Екатерина не удовлетворилась внешним осмотром старинного свитка, имевшего 434 аршина в длину и весившего около 12 фунтов. Из Коллегии иностранных дел был вызван ученый-архивариус профессор Миллер и ему было поручено подробно исследовать и описать подлинник «Уложения». Проверив сначала вес и длину свитка, он подсчитал, что подлинник «Уложения» написан 400 разными почерками и подписан 315 лицами, в том числе патриархом московским Иосифом и двенадцатью представителями высшего духовенства, пятнадцатью боярами, десятью окольничими. За ними расписывались дворяне, гости-купцы, выборные от московских сотен, слобод и стрелецких приказов. Из посадских людей подписывать «Уложение» были допущены только самые зажиточные. Несмотря на то что в предисловии к нему сказано: «Чтобы московского государства и всяких чинов людям от большаго до меньшаго чину суд и расправа была во всяких делах всем равна», под «Уложением» нет подписи ни одного крестьянина.

Запрещением: «а впредь отнюдь никому чужих крестьян не принимать и за собой не держать», и отменой давности в розыске беглецов крестьяне были по существу приравнены к холопам и окончательно прикреплены к помещику.

К главе «Охотник за рукописями»

К стр. 15. Предпоследний властитель Византии из династии Палеологов—Мануил II много сделал для пополнения своей библиотеки редчайшими сочинениями древних авторов. Младший сын Мануила Палеолога Фома, по непроверенным данным, успел спасти эти книжные сокровища от разграбления турками и увез их из Византии. Женатый на католичке из рода герцогов Феррарских, он бежал в Италию, под крылышко римского папы Сикста IV, но вскоре умер, оставив четырех де-

тей, в том числе и младшую дочь Зою, о наружности которой сохранились весьма противоречивые сведения.

«Я тебе кратко расскажу об этом куполе, или, вернее, об этой горе сала, которую мы посетили,— писал о ней флорентийский поэт Луиджи Пульчи своему приятелю Лоренцо Медичи, — право, я думаю, что такой больше не сыщешь ни в Германии, ни в Сардинии. Мы вошли в комнату, где сидела эта жирная, как масленица, женщина... Представь себе на груди две больших литавры, ужасный подбородок, огромное лицо, пару свиных щек и утонувшую в груди шею. Два ее глаза стоят четырех...»

Насмешник, которого склонная к полноте византийская принцесса, как можно узнать из того же письма, встретила очень холодно, видимо, нарочно сгустил краски. Другие современники, напротив, восхищались маленьким ртом Зои Палеолог и ее белоснежной кожей. Она была выше среднего роста, и, по их словам, «в глазах ее горело пламя Востока». Болонские же летописцы утверждали, что Зоя была «пленительна и прекрасна».

Во всяком случае, она была достаточно привлекательна, если римский папа решился предложить ее в жены московскому великому князю Ивану III. Сикст IV надеялся таким путем укрепить в Москве свое влияние, быть может, даже склонить греко-российскую церковь к соединению с латинской. По мнению археолога Стеллецкого, он преследовал и другую цель: после отъезда Зои завладеть доставшимися ей от отца книжными сокровищами. Принцесса же спутала планы Ватикана и увезла драгоценные рукописи с собой в Москву.

К главе «Находка профессора Дабелова»

К стр. 22. В XVIII веке удалось химическим путем восстановить выскобленные невежественными писцами отрывки из 91-й книги знаменитого римского историка Тита Ливия, готский перевод библии и другие ценные древние тексты. Таким же способом были почти полностью восстановлены «Институции Гая» — учебник по гражданскому праву, составленный семнадцать веков назад выдающимся римским юристом Гаем.

К стр. 22. Клоссиус впоследствии писал, что находка этого восьмитомника была бы для мировой науки еще более крупным событием, чем частичное восстановление текста сочинения Юлия Цезаря «О государстве» ватиканским библиотекарем Маи.

К стр. 23. В найденном Дабеловым списке упоминаются, кроме вышеперечисленных, еще следующие латинские рукописи.

„КОРПУС УЛЬПИАНА, ПАПИНИАНА, ПАВЛА И Т. Д. КНИГА РИМСКИХ ЗАКОНОВ. ЮСТИНОВЫ ИСТОРИИ".

Эти сочинения римских законодателей и законоведов были Клоссиусу хорошо знакомы по новейшим изданиям, но в библиотеке Ивана Грозного могли быть только их древние рукописные списки, которые всегда чем-нибудь отличались один от другого и именно этим представляли большую ценность для исследователя. Клоссиус надеялся найти в них какие-нибудь интересные добавления или исправления, о которых бы стоило рассказать в лекциях по римскому праву. «Юстиновы истории» относились уже ко второму веку нашей эры, но автор их описывал события, происходившие более двух тысячелетий тому назад, и сообщал при этом много ценных сведений, почерпнутых из бесследно утраченных впоследствии произведений его предшественников.

„ЮСТИНИАНОВ КОДЕКС КОНСТИТУЦИЙ И СОБРАНИЕ НОВЕЛЛ".

Как специалист по римскому праву, Клоссиус, конечно, был знаком со сводом основных законов — конституцией Восточной Римской империи, действовавшим при императоре Юстиниане, но рядом с этим сборником в списке Дабелова упоминалось еще «собрание новелл». Юстиниан не был новеллистом. Вероятно, это были конституции его предшественников, известные под названием «Феодосиевых новелл». Этот сборник, который, конечно, также заинтересовал Клоссиуса, так как первый официальный свод указов римских императоров — «Кодекс Феодосия» — не дошел полностью до наших дней.

„САЛЛЮСТИЯ ЮГУРТИНСКИЕ ВОЙНЫ И САТИРЫ СИРА".

Существуют две хорошо сохранившиеся рукописи истории войны римлян с нумидийским царем Югуртой, написанные современником Цезаря Гаем Саллюстием Криспом, — самая древняя, хранящаяся в Париже, и более поздняя, мюнхенская. Если бы третья рукопись нашлась в библиотеке Ивана Грозного, ее пришлось бы назвать московской. Что же касается сатир Публилия Сира, жившего в 672 году, то в новейших справочниках он упоминается только как автор коротких пьес, так называемых мимов. Сир выбирал из них отдельные изречения и под названием «Сентенции» распространял их со своими комментариями. Сатиры же его не были известны никогда.

„ЦЕЗАРЯ КОММЕНТАРИИ ДЕ БЕЛЛО ГАЛЛИКО И КОДРА ЭПИТАЛАМ".

Это была еще одна рукопись записок «О галльской войне» основателя римской империи Гая Юлия Цезаря, известных по другим пострадавшим от времени спискам. Если бы эта рукопись

сохранилась лучше других, это произвело бы сенсацию в ученом мире. И рядом с Цезарем какой-то Кодрус! (Так звали одного из друзей Вергилия, писавшего главным образом лирические элегии.) Но все его произведения утрачены, и по этой «эпиталамии», если бы она нашлась, можно было бы судить, был ли он достоин дружбы автора «Энеиды».

Возможно, что тут была описка и надо читать не Кодрус, а Кордус? В «Сатирах» неистового обличителя пороков римского общества Ювенала упоминается Кордус как сочинитель «Тезеиды». Это была эпическая поэма, но он ведь мог написать и еще одну — под названием «Эпиталамия»? Ювенал упоминает и о Кодрусе как поэте, известном больше своей бедностью, чем стихами. Как бы его ни звали, Кордус или Кодрус, находка «Эпиталамии», несомненно, обрадовала бы литературоведов.

К главе «Греческих больше, чем латинских»

К стр. 24. Максимилиан I (1459—1519) был австрийским эрцгерцогом и стал императором так называемой Священной Римской империи. Путем брака с Марией Бургундской и ряда брачных союзов, заключенных его наследниками, он сумел сильно расширить владения Габсбургского дома. Максимилиан I провел ряд реформ с целью усиления императорской власти.

К стр. 25. Во второй греческой части дабеловского списка упоминались еще:

„ВАЗИЛИКА, НОВЕЛЛА КОНСТИТУЦИОНЕС. КАЖДАЯ РУКОПИСЬ ТАКЖЕ В ПЕРЕПЛЕТЕ“.

Два известных труда об устройстве древнегреческого государства! В каком веке они были переписаны (вот что, вероятно, хотелось знать Клоссиусу) и были ли на полях этих рукописей заметки если не Ивана Грозного, то, быть может, одного из византийских императоров?

„ГЕЛИОТРОПОВ ГИНОТАТ“.

Клоссиус не мог определить, что это за автор. В справочниках упоминается не Гелиотроп, а Гелиодор, написавший роман «Эфиопика» в 380 году от начала нашей эры.

„ГЕФЕСТИОНОВА ГЕОГРАФИКА“.

Клоссиусу был известен только один Гефестион — автор труда по астрономии. Но в древности, когда мореплавателям часто приходилось определять свой путь по звездам, астрономы считались авторитетами и в географии. Не была ли эта «Географика» трудом известного звездочета?

Из неизвестных Клоссиусу трудов в списке были названы произведения Заморета, сочинения по математике Замолея и «Нексаподи Евр...» какого-то Бафиаса. Клоссиус мог бы только вспомнить латинского поэта Бабриуса, жившего во II веке с начала нашей эры, и Бадиуса (или Вавиуса), считавшего себя, без достаточных, впрочем, оснований, чуть ли не соперником Вергилия. Дальше шли многоточия и обрывки не полностью разобранных Дабеловым строк.

. . . . . речи и Хидр . . . . . .
. . . . . пиловы истории.
Кедр . . . . . хар и эпиграммы.

К главе «От подозрений к уликам»

К стр. 35. Дворянский историк-источниковед Алексей Федорович Малиновский (1672—1840) был братом известного просветителя Василия Федоровича Малиновского, первого директора Царскосельского лицея, воспитавшего А. С. Пушкина. В юные годы он занимался с музами, писал и переводил с французского слащаво-сентиментальные пьески и благодаря этому начал приобретать известность в литературных кругах. Эти литературные опыты он совмещал со службой в архиве.

Исследование и описание древних рукописей постепенно стало его второй и главной специальностью.

А. Ф. Малиновский занимал также посты сенатора и члена-редактора Комиссии по печатанию государственных грамот и договоров. Он был членом Российской Академии и председателем Общества по изучению истории и древностей российских.

К главе «Автографы старца Арсения»

К стр. 38. В 1637 году старец Арсений был направлен вместе с посольством князя Федора Волконского в Кахетию, к грузинскому царю Теймуразу «расспросить про все и разведати всякими мерами подлинно: какова их земля и сколь просторна, на скольких верстах и сколько в ней городов, и сколь людна, и каковы люди, и какие в ней узорочья, и любят ли Теймураза-царя».

Патриарший архидьякон, кроме того, должен был особо «веры их рассмотреть и разведати гораздо — какова у них вера и нет ли у них в чем розни, не изронено ль что?»

Через несколько лет соборному старцу Арсению пришлось снова испытать большую «волокиту» и «многократное путное терпение». Бывший архидьякон, а теперь уже строитель Богоявленского монастыря, был послан на Восток в «святой град» Иерусалим и в Царьград «для описания святых мест и греческих церковных чинов».

Напав случайно на след «вора Тимошки», выдававшего себя за сына московского царя, князя Ивана Васильевича Шуйского, Суханов по приказу Алексея Михайловича потребовал у украинского гетмана Богдана Хмельницкого выдачи скрывавшегося на его земле самозванца.

Встреча с гетманом в Чигирине послужила также поводом для важного разговора о присоединении Украины к Московскому государству. В мае 1651 года Суханов нанимает в Галаце корабль и плывет по Дунаю через Измаил в «турские земли». Во время стоянки в Килии этот корабль подвергли тщательному осмотру «начальные турчины». Государь корабленный — «каравокирос» (так по-гречески называли капитана) посоветовал одетому в платье простого чернеца Суханову выдать себя за турка. Старец сделал из полотенца чалму и уселся на капитанском мостике, подогнув по-турецки ноги. Возможно, что он действительно стал похож на едущего в Мекку паломника, потому что турки, пристально взглянув на него, поздоровались: «Селям алейкум».

Еще больше страху натерпелся Суханов в самом Царьграде. На иерусалимском подворье ему не удалось остановиться, потому что там был мор и жили «лихие старцы», относительно которых его заранее предупредили, что они «говорят де и сладко, только не смотрить на то, опосле и горько будет».

Письмо царя Алексея Михайловича константинопольскому патриарху Парфению Суханов не смог вручить, так как незадолго перед тем Парфений был зарезан по наущению его недоброжелателей — иерусалимского патриарха Паисия, а также волошского и мутьянского воевод, недовольных тем, что Парфений «учинился на патриаршестве без их воли» и поддерживал связь с Богданом Хмельницким. Суханову сообщили, что патриарха посадили на судно, а затем «взяли его в каюк, прежде ему глаза выняли, потом ушибли топором между плеч и по лбу, потом ударили кинжалом в брюхо и мертвого кинули в море».

Во время этого путешествия Суханов побывал на греческих островах, в Александрии, в Каире, на горе Синай, в Яффе и около семи месяцев прожил в Иерусалиме, все, что было нужно, высмотрел и запечатлел на бумаге в своем известном сочинении «Проскинтарий», вызвавшем много споров между сторонниками и противниками проведенной патриархом Никоном церковной реформы.

К стр. 38. Отправившись в путь в «чернеческом образе», Суханов собирался продать часть царской «милостыни» — соболя — в Константинополе. Но опасение, что его могут ограбить по дороге туда, заставило его отдать их по сходной цене уже в Яссах, где подвернулся оптовый покупатель — молдавский воевода Стефан. Там же Суханов нанял в провожатые грека Ивана Панкратьева «для толмачества турского языка, да и для того, что с ним была государева казна немалая». Если бы турки стали отнимать деньги, Панкратьев должен был выдать себя за едущего за товарами купца. Торговых людей они не трогали.

К стр. 38. Об опасностях, которым он подвергался на обратном пути, Суханов потом докладывал царю:

«В то время по обе стороны были люди воинские, с одну сторону от Умони татарове, а з другую сторону от Брославля стояли ляхи. А я, Арсений, ехал промежь их на Балановку, а ехал и ден и ноч, прося у бога милости, чтоб уйти... И на те де места после меня удалили с обеих сторон татарове и ляхи и те местечка разорили, пожгли, а людей посекли и поимали».

Вернувшись на родину и уйдя на покой, Суханов решил навсегда расстаться со своими конями. Об этом во вкладной книге Троице-Сергиевской лавры сохранилась такая запись:

«...апреля в день... Келарь старец Арсений Суханов дал вкладу в дом живоначальные троицы — конь сер, по цене за 12 рублев, и тот конь отдан на государеву службу слуге Василию Мисюреву; да конь ворон, по цене 11 рублев, и тот конь отдан на службу великого государя слуге Ермалаю Азанчееву. Да он, келарь Арсеней, дал вкладом конь в гнеде карь, по цене 10 рублев, и тот конь отдан на конюшню».

К главе «Наследство великого протосинкелла»

К стр. 49. Синкелл (от *cella*—«келья») означает сообитатель, монах, живущий с кем-нибудь в одной келье или близ нее. Протосинкелл — должностное лицо при патриархе, также имеющее монашеский сан и начальствующее над всеми живущими в патриаршем доме синкеллами. После смерти патриарха протосинкелл нередко возводился на его место.

К стр. 53. Историк-источниковед С. А. Белокуров исполнял обязанности последнего управляющего Московским главным архивом министерства иностранных дел. Он прослужил в этом архиве более тридцати лет и умер в 1918 году, в разгар захватившей его работы по созданию нового, уже советского архивного управления.

К главе «Не на земле, а под землей!»

К стр. 58. В 1494 году в Москву приехал из Милана по приглашению Ивана III итальянский «палатный и стенной мастер» Алевиз Фрязин. Он построил в Кремле каменные палаты, остатки которых сохранились до наших дней в виде трех нижних этажей пристроенного позже Теремного дворца. Алевизу же приписывается строительство кремлевской стены с башнями вдоль реки Неглинной, устройство рва вдоль стен Кремля со стороны нынешней Красной площади от Неглинной до Москвы-реки и разные гидротехнические сооружения на территории Кремля и вне его.

К стр. 58. Рано потеряв отца и получив скудное образование в сиротском училище, И. Е. Забелин еще юношей поступил простым канцеляристом в кремлевскую Оружейную палату. Заинтересовавшись хранившимися там древними свитками, он научился разбирать старинное письмо и стал делать выписки из столбцов сначала для себя, потом для известных археографов П. М. Строева и И. М. Снегирева. Пополнив свои знания, Забелин стал изучать древние рукописи и за свою долгую жизнь — он умер почти девяностолетним старцем — опубликовал много ценных работ, основанных главным образом на исследовании архивных документов.

К главе «Сомнения историка-следопыта»

К стр. 69. Напуганный указом Петра I о бритье бород, церковный сторож привел в этом предисловии отзыв «злаго советника» подьячего Михаила Морсочникова о себе самом.

«Есть в седельном ряду, сидит Благовещенского большого собору, что у великого государя на санях, сторож Семион Федоров сын; и аз знаю его, и како мне было залучити его, Семиона Федорова, к себе в гости, на нечестной пир, и злое свое умышление на нем, Семионе, исполнити и браду ему обрити. Ино мало ему, Семиону, сие будет, но и щипками выщиплю ему браду. Аще и многие златницы давати начнет, и аз не восхощу от него приняти ничто же, что он — мужик свойственный и злый, свой разум исполню на нем, Семионе Федорове, браду ему обрею и щипками выщиплю».

Узнав о готовящемся на его бороду покушении, Семен Моховиков «не могох состояти на ногах в лавке своей и поткнувшася от печали своей, с великой печалью пошел домой». Дома у него «все составы и уды потрясошася и он был немощен всем телом, не уснух сном своим всю нощь, но в трудах, в стонаниях и в тоске пребысть».

К главе «Пещеровед-кладоискатель»

К стр. 74. После окончания духовной академии Стеллецкому предложили отправиться в Палестину в качестве инспектора созданных там русским «Палестинским обществом» очагов духовного просвещения. В гористой Палестине было много пещер, служивших жильем и убежищем ее жителям в годы раздиравших ее в древности непрерывных войн. Например, знаменитая Адулламская, в которой, по библии, укрывался царь Давид от преследовавшего его Саула; вырубленные внутри скал погребальные пещеры Арака эль Эмира в Заиорданье и еще более недоступные — в ущелье Муаллаха; «Сорокодневая гора» с пещерными церквами в Иерихоне — зимнем местопребывании царя Ирода — и притаившаяся в скалистых трущобах Галилеи неприступная иудейская крепость Иотаната, выдержавшая натиск римских легионов Веспасиана.

В тысячелетнем Иерусалиме, тридцать шесть раз взятом приступом и дважды до основания разрушенном, было особенно много подземных ходов, замурованных колодцев и тоннелей. Под одной только мечетью Омара, воздвигнутой в VII веке на месте разрушенного храма царя Соломона, сохранилось огромное подземелье, в котором когда-то помещались знаменитые царские конюшни. Тайными ходами оно сообщалось с крепостью Сион.

Проникновение в тайны древности было часто связано с большими трудностями и даже риском для жизни. Итальянский археолог Пьеротти, вскрывший под Иерусалимом подземный коридор, чуть не задохся — такой хлынул на него спертый и сырой воздух. Другой иностранный археолог, Уоррен, наверное, утонул бы, если бы не успел быстро заделать пробитое им отверстие, сквозь которое в подземелье хлынула вода.

К главе «Ключ к разгадке»

К стр. 99. «Степенная книга царского родословия» — историческое сочинение, созданное с целью убедить, что Русь всегда была единой и всегда подчинялась верховной власти того княжеского рода, к которому принадлежали московские великие князья. «Степенная книга» излагает русскую историю по «степеням» — по княжествам и царствованиям — от времен первых Рюриковичей до царствования Грозного включительно.

К главе «Последствия одного пожара»

К стр 185. 19 июня 1701 года загорелись кельи в Ново-Спасском подгорье, помещавшемся в Кремле против задних ворот Вознесенского монастыря.

«...Здесь иных ведомостей нет, только июня в 19 день был пожар в Кремле, — писал живший в это время в Москве царь Петр будущему генерал-адмиралу новорожденного русского флота Федору Матвеевичу Апраксину. — Загорелось на Спасском подворье, отчего весь Кремль так выгорел, что не осталось не токмо что инова, но и мостов по улицам... А каменный мост отстояли мы, — не упустил случая похвалиться молодой царь, принимавший деятельное участие в тушении пожара, — на Ивановой колокольне колокола, обгорев, упали, из которых большой и успенский, упад, разбились».

Сгоревший в этот день Приказ казанского двора помещался в заново отстроенном при старшем сыне царя Алексея Михайловича, Федоре, деревянном здании, между Архангельским собором и бывшим двором боярина Мстиславского.

К главе «О чем молчал колокол»

К стр 205. В России тайнопись в дипломатической переписке стала применяться с конца XVI столетия, когда начали оживляться и расширяться ее связи с соседними и другими иностранными государствами.

К стр. 205. Сторожевским он назывался потому, что был построен еще удельным князем Дмитрием Шемякой, сыном Дмитрия Донского, на возвышенности, где в давние времена располагалась воинская стража, охранявшая подступы к Москве. Обнаружив передовые неприятельские отряды, сторожевой пост начинал трезвонить в подвешенные к столбам колокола.

К стр. 209. На донесении архимандрита об этом происшествии имеется пометка царя, приказывающего стольнику Мусину-Пушкину «сыскать про всякое неистовство казначея Никиты и самого его запереть в келью, приставить к нему стрельцов и бумаги и чернил не давать», а затем созвать всю монастырскую братию и, поставив посреди собора провинившегося казначея, прочесть вслух царскую обвинительную грамоту. «Врагу божию и богоненавистнику и христопродавцу, разорителю чюдотворцову дому и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому, пронырливому злодею, казначею Никите» — так озаглавлено это написанное царем в порыве неуемного гнева обличительное послание. «...И прочетчи сию грамоту на соборе, — приказывал царь Мусину-Пушкину, — и велети взяти его перед всем собором яко врага и разорителя... и велети положить на него чепь на шею, а на ноги железа и велеть тебе, Алексею, его свесть пережь себя стрельцам на конюшенный двор а тебе самому тут же быть в церкви, а велеть держать за крепким караулом на конюшенном дворе, докуль поедешь». Стрелецкий десятник Борис Торсунов показал: «...приходил к ним на конный двор казначей Микита пьян и говорил им, стрельцам: по какому де вы указу на конюшенном дворе стоите? И они де сказали, что стоят они по архиморичью приказу и он де, казначей, его, Бориска, зашиб посохом в голову и прошиб до крови и ружье их и седла и зипуны велел выметать вон на двор...»

К стр. 209. Расследовавший это происшествие стольник объяснил, что Феодосий зашиб «хлебенного старца» из-за того, что «старец Ермоген почал посылать к заутрене и ссылать его с места, тут де место не твое, мое, и, взяв его за руки, с того места стащил...» «И ныне, государь, он, Феодосий, с ним, Ермогеном, помирился,—дополнял свою кляузу стольник,—от архимарита ему поучение было, бил ево архимарит плетьми, а ныне, государь, сидит он, Феодосий, в хлебне, в смиренье».

К главе «Книги вместо дров»

К стр. 217. О состоянии здоровья царя Федора Алексеевича дает наглядное представление следующая ветхая грамота на восьми листках — протокол допроса лечивших Федора иноземных докторов.

«Великий государь, царь и великий князь Федор Алексеевич всеа великие и малые и белые России самодержец скорбит ножками и их дохтуров и медицыну и аптекаря указал допросить:

У всех ли у них меж себя совет и любовь и нет ли меж их какова несогласия?

И дохтуры, — докладывал боярин Одоевский, — Яган Розенбурх, Стефан Фангуданов,

Лаврентей Блюментрост, медицына Симон Зомер, аптекарь Крестьян Эглер сказали: между де их никакого несогласия и недружбы нет и имеют меж себя любовь».

Получив такой ответ, больной царь «приказал своим государевым дохтурам видеть свои государские очи в своих царских хоромех». «И в тот же день при патриархе и при комнатных, его царского величества, боярех, дохтуры и медикус и аптекари его государские очи видели и ево государской болезни смотрели», — гласит докладная записка.

«А смотря, доктор Яган Костериус сказал, что его государская болезнь не от внешнего случая и ни от какой порчи, но от ево царского величества природы... А как де, даст бог, будет вешнее время и в то время способней и зело пристойней ему, великому государю, лекарства против той болезни примать, потому что в то время травы из земли проникают и корении прозябают и лутчую мочь имеют. А ношки де ево, государские, надобно мазать мазью, которую ныне делают в аптеке, и сверх мази прикладывать пластырь и сверх де того надобно написать образец, по которому его царское величество изволил бы свое государское кушанье и питье употреблять.

Доктор Лаврентий Блюментрост, смотря ево государской болезни, сказал теж речи, что и Костериус, и прибавил: ту де ево, государскую, болезнь мочно за божиею помощью вылечить только изподоволь, а не скорым временем.

Доктор Степан сказал теж речи, что и вышеимянованные докторы, и прибавил: надобно де ему, государю, сидеть в сухой ванне... А в составах ево государских и жилах есть безсилие и то от того, что цынжная кровь с соляною мокротою от той соли летит в составы и сушит жилы и та соль чинит воскишение крови и до зубов восходит. И как прямым лекарством не лечить, та болезнь плодится, а как лечить болезнь умедляется, а в скором времени нельзя излечить, чтоб ево, государя, не обессилить.

Доктор Михайло сказал, что он совершенно ево государской болезни выразуметь не может, а мнит быть цынгу и надобно де лечить лекарствы внутренними и наружными.

Медицына Симон Зомер сказал о цынге тож; а как де ту ево государскую болезнь лечить внутренними и наружными лекарствы, посоветует он о том с дохтурами довольно с великим радением.

Аптекарь Яган Гуттерменсх сказал: болезнь де ево государская цынга, а надобно де первое лечить те части ево государской персоны, откуду та болезнь произошла...

Аптекарь Христиан Еглер «сказал теж речи и хотя де не належит на ево чине лекарство объявлять такой превысокой персоне», выразил уверенность, что сможет изготовить требуемые снадобья.

Публичный допрос чужеземных докторов, как вылечить скорбящего ножками государя, был устроен неспроста.

По ложному доносу в порче царского здоровья был вскоре лишен боярства и удален «на последнюю черту к пустому морю» боярин Артамон Матвеев. А упомянутый в этом протоколе доктор Степан был не кто иной, как придворный лекарь Стефан фон Гаден, убитый впоследствии стрельцами по ложному подозрению в попытке отравить брата Федора Иоанна.

К главе «Ухищрения упрямцев»

К стр. 221. Правнук обрусевшего венгерца Ратши Гаврило Олексич участвовал, по свидетельству летописца, в исторической Невской битве 15 июля 1240 года рядом с Александром Невским, «в числе мужей храбрых», преследовал военачальника шведов Биргера до самого корабля его и был сброшен в воду вместе с конем, но выплыл и погнался за другим шведским воеводой—Спиридоном, которого и убил. Вскоре после этого он был пожалован в бояре. Сын его Акинф Гаврилович был уже видным московским боярином при Иване Калите, но потом бежал в Тверь к великому князю Михайлу Ярославичу и поплатился за это жизнью.

Один из правнуков этого Акинфа, Михайло, одел боярскую шапку при Дмитрии Донском и, начальствуя над сторожевым полком, погиб от татарской стрелы в Куликовской битве. Сына другого его правнука, Ивана Андреевича, прозвали Бутурля. От него и повелись Бутурлины. Один из его потомков, состоявший при внуке Дмитрия Донского Василии Темном, боярин Григорий Иванович, постригся в монахи, но уже после того, как обзавелся детьми и внуками.

Несколько Бутурлиных были боярами и воеводами при отце Ивана Грозного — московском великом князе Василии Ивановиче. При самом Иване Грозном, а также при его безвольном сыне Федоре Иоанновиче уже тринадцать Бутурлиных занимали высокие боярские и воеводские посты, осаждали и брали Казань, водили ратников на Литву и крымских татар. Только сыновья одного из них, окольничего Андрея Никитича, не ужились с властным царем и испытали на себе его крутой нрав. Боярин Иван Андреевич Бутурлин был казнен вместе со своим сыном и дочерью, быть может, в связи с попыткой его старшего брата Афанасия бежать в Литву. Об этом упоминалось в одной из грамот, хранившихся в 217-м ящике царского архива. Другой брат его, Василий Андреевич, еще рындой сопровождал Грозного в казанском походе. Став воеводой, он разбил крымцев под Пронском, и царь по тогдашнему обычаю прислал ему золотой. Второй золотой он заслужил победой над ливонскими немцами. Побив их и спалив их посады, Бутурлин привел больше трех тысяч пленников, но все эти заслуги не спасли его впоследствии от царской расправы, причина

которой осталась не установленной. Только недруг Ивана Грозного князь Курбский, перечисляя казненных царем приближенных, счел нужным упомянуть в одном из своих сочинений: «И паки побиени Василий и другия братия его со единоплеменными своими Бутурлины глаголемые».

К стр. 221. 19 января 1662 года из Севска в Москву прискакал гонец с тревожной вестью, что «приходил в Севские и Карачевские места ширинский князь со многими крымскими людьми и уезды повоевал и полон многой русской поимал», но донесение заканчивалось утешительным сообщением:воевода Григорий Федорович Бутурлин со своими ратными людьми побил ширинского хана, пленил его самого и освободил двадцать тысяч захваченных татарами пленных.

К стр. 221. Прежде чем стать ближним боярином, В. В. Бутурлин прошел все ступени придворной лестницы: и «у стола стоял» во время торжественных обедов, и «пить наливал», и «в кривой стол смотрел», то есть наблюдал за своевременной подачей блюд сидевшим за этим столом гостям. Это о нем, своем любимце, «тишайший» царь написал однажды патриарху Никону: «Во дворец посадил я Василия Бутурлина и слово мое теперь во дворце добре страшно».

К стр. 222. Это Бутурлину да князю Хилкову шли из Москвы приказы: разыскивать «воровских казаков», где бы они ни объявились: на Волге и на море, по протокам и по верхам, в камышах и по косам, по мочагам, да по лопатинам, расспрашивать про них всяких приезжих людей и рыбных ловцов и, если удастся кого-нибудь поймать, «не мотчав ни часу доставить в Москву с великим бережением». Присылаемые из Астрахани сообщения тревожили царя. Хилков был вскоре вызван в Москву.Печать же царства Астраханского, говорилось в том же указе, он должен был сдать товарищам своим Ивану Бутурлину да Якову Безобразову, «и держать им ту печать в приказе и печатать нашего великого государя дела вместе. Им же отдать и городовые ключи».

К стр, 222. Внука этого денщика Петра I, графа Димитрия Петровича Бутурлина, Екатерина II произвела в сержанты гвардии сразу же после его рождения. Спустя два десятка лет князь Потемкин назначил его своим адъютантом, но в отличие от многих своих предков этот Бутурлин питал отвращение к военной службе. Он увлекался чтением, любил рыться в старинных рукописях, собирать редкие книги. Обладая огромным состоянием, составил великолепную библиотеку из сорока тысяч томов, считавшуюся одной из лучших не только в тогдашней России, но и во всей Европе.

К стр. 222. Петр настолько доверял Ивану Ивановичу Бутурлину, что назначил его даже членом особого военного суда, созданного для расследования злоупотреблений, совершенных другими его любимцами: князем Меншиковым, генерал-адмиралом Апраксиным и князем Яковом Долгоруковым, а также особой комиссии, производившей розыск по делу царевича Алексея.

Если верить запискам графа Александра Ивановича Румянцева, тоже бывшего петровского денщика, участвовавшего в поимке скрывавшегося за границей царевича, генерал-аншеф Бутурлин был одним из четырех петровских вельмож, вынесших смертный приговор царевичу и лично приведших его в исполнение. При словах Бутурлина: «Господи, упокой душу раба твоего Алексея в селениях праведных, презирая прегрешения его», они все вместе повалили царевича на кровать и задушили его подушками.

Этот же самый Ивашка Бутурлин-меньшой в день смерти Петра I громом барабанов двух вызванных им гвардейских полков заглушил возникший при дворе спор: кем заменить Петра? На вопрос фельдмаршала и председателя военной коллегии князя Репнина: «Кто осмелился привесть сюда солдат без моего ведома?»— он, не растерявшись, отрапортовал, что велел им прийти по воле новой императрицы Екатерины I.

При сыне Алексея, Петре II, престарелый генерал-аншеф был лишен всех чинов, знаков отличия и поместий, кроме одной дальней деревеньки Крутицы, где он и умер в ссылке.

К стр. 223. Боярин Григорий Никифорович Собакин был родным сыном того самого псковского воеводы Никифора Собакина, которого восставшие псковичи поставили на чан, пригрозив: «Ты писал царю, что во Пскове хлеб дешев, так мы тебя из Пскова не отпустим, поживи с нами на дешевом хлебе».

«Прародительница» Григория Никифоровича, Марфа Васильевна Собакина, была третьей женой Ивана Грозного. Хотя родной брат ее Калист, исполнявший при Грозном должность кравчего, был им казнен, Собакины кичились тем, что породнились с царем.

К стр. 223. Первая насчитывает более трехсот страниц и начинается с похода Ивана Грозного на Казань. В ней оказалось много ценных известий, не попадавшихся в других разрядных

записях. Вторая, чуть поменьше, заполнена главным образом выписками из «государевых разрядов». Она открывается описанием свадьбы Ивана Грозного с Марфой Собакиной, но содержит немало сведений и о других придворных церемониях, в которых участвовал кто-нибудь из Собакиных.

В этой книге рассказывается довольно подробно о торжественных приемах и обедах по случаю рождения и крещения царевича Петра, встрече вселенских патриархов Паисия и Макария, приездах грузинского царя Теймураза и английского посла Чарльза Говарта и других. Не пропущен и текст наказа, данного в январе 1634 года царем Михаилом Федоровичем стольнику Никифору Сергеевичу Собакину, ездившему «со столом» к шведскому послу Якову Руселю.

К стр. 224. Одним из первых царских окольничих, поставивших свою подпись под решением земского собора об «отставке местничества», был сын курского воеводы князь Григорий Афанасьевич Козловский. Через девять лет он стал уже боярином и, видимо, пользовался большим влиянием при дворе, потому что в списке приглашенных 14 апреля 1691 года на обед к патриарху «всеа России и всех северных стран» Адриану его имя стоит вторым, рядом с именем царского дяди боярина Льва Кирилловича Нарышкина. На этом обеде должны были присутствовать и оба несовершеннолетних царя — Иоанн и Петр. Когда два подьячих Разрядного приказа приехали к Козловскому с извещением, «чтоб он того апреля 15 числа был вверх», то есть в Кремлевском дворце, мнимый противник местничества боярин князь Козловский, не колеблясь ни секунды, им ответил, что он «того числа вверх будет».

Все же предусмотрительные подьячие заехали к нему и на следующий день напомнить о предстоящем обеде и, к большому своему удивлению, нашли князя в постели и очень огорченным тем, что «де за болезнью ему вверх ехать не мочно».

Во дворце этот ответ, очевидно, возбудил сомнения, потому что в тот же день к боярину прискакал разрядный дьяк Иван Уланов с повелением, «чтоб он вверх ехал без мотчанья».

«А буде он чем станет отговариватца, — предупредил боярина этот дьяк, — то ему, Ивану, велено взять у князя карету или верховую лошадь и его в город привезть неволею».

Но Уланову все же пришлось вернуться во дворец одному и передать окончательный отказ Козловского, утверждавшего, что ему «за болезнью своею в город никоторыми мерами ехать нельзя».

«И был он, — добавил от себя дьяк, — в черном платье, а кареты и возки со двора его приховронены и на дворе карет и лошадей не сыскано».

Рассерженные упрямством Козловского, цари отослали дьяка Ивана Уланова обратно со строжайшим приказом: «Чтоб он, боярин, по прежнему их государскому указу ехал в город безо всякие отговорки, а буде не поедет и ему, Ивану, велено его в город привезти на простой телеге».

Но мнимый больной, ни за что не желавший сидеть за патриаршим столом ниже Льва Кирилловича Нарышкина, сделавшегося боярином только после женитьбы царя Алексея Михайловича на его сестре, продолжал упираться.

«...И он, боярин, — отмечено в записной книге московского стола Разрядного приказа, — за то их государскому указу непослушанье з двора взят и в город привезен к Красному крыльцу на простой телеге и говорено ему, чтоб он шел вверх, и он из телеги не вышел и вверх не пошел, учинился непослушен же».

Продолжавшего лежать в телеге «больного» по указу царей сначала пытался уговорить добром все тот же разрядный дьяк Иван Уланов, потом другой дьяк Иван Кобяков и, наконец, сверху сошел к нему управлявший Разрядным приказом думный дьяк Василий Григорьевич Семенов, передавший ему последний царский указ, «чтоб он, боярин, черное платье с себя сложил и шел к столу».

Козловский, не подымая головы из телеги, смиренно ответил, что «с боярином Львом Кирилловичем в товарищах он быть готов, только болезнь ему этого не позволяет», и остался лежать в телеге. «И по указу великих государей, — повествует все та же запись, — он, боярин, из телеги взят и отнесен в палату Крестовую на килеме (то есть на корре)».

Но князь Козловский и после этого не встал с корра. «И он, боярин, — пришлось записать в специальный, изданный по этому поводу указ, — в Крестовой лежал на полу многое время и у стола не сидел, и к нему посылан разрядный дьяк Перфилей Ологесников и велено его за стол посадить неволею. И он, боярин, за стол о себе не сидел, а держали его под руки разрядные подьячие».

К стр. 227. В 1687 году командующий войсками в крымском походе и «царственные большие печати и государевых великих посольских дел оберегатель» князь Василий Васильевич Голицын, один из немногих вельмож того времени, не на словах, а на деле боровшихся с местничеством, послал в Москву составленный им лично распорядок похода. В соответствии с решением земского собора царские стольники были расписаны по полкам не сотенными головами, как раньше, когда начальники подбирались по родовому старшинству, а ротмистрами, независимо от их знатности.

Два стольника — местничавшийся уже с Голицыными еще в рындах князь Борис Долгорукий и тоже «рюрикович» князь Юрий Щербатов — почувствовали себя ущемленными этим назна-

чением и не явились на сбор. Возмущенный Голицын стал требовать для ослушников строгого наказания: «Учинен был бы такой образец, чтоб все задрожали». Проведали ли они об этом, но спустя некоторое время оба князя все же выехали на смотр, найдя другой способ выказать свое недовольство.

«Ротмистры двух родов Долгорукой, князь Борис и Щербатый, князь Юрья, — доносил Голицын в Москву правительнице Софье, — ехали впереди у рот сами всех и своих людей обрядили в черное платье и лошади были покрыты черными попонами». Голицын просил советника правительницы, дьяка Щегловитого, проучить наглецов: навечно заточить в монастырь, а их деревни немедленно раздать неимущим. Такой указ и был уже подготовлен, но князь Борис Долгорукий снова покаялся и выклянчил себе прощение.

К стр. 227. В сентябре 1691 года назначенные рындами братья Полтевы отказались стоять рядом с князьями Барятинскими на прощальном приеме в Кремле польского и цесарского послов. Подьячие неоднократно ездили к ним на дом, но каждый раз получали один и тот же ответ: «Съехали в город». Назначенные вместо них походные стольники Зыбин и Чаплин решили, что Барятинские им неровня, и перед самым приемом ускользнули через Постельное крыльцо. Все четверо были наказаны: отставлены из стольников, а у Полтевых, кроме того, отобрали поместья и вотчины, впрочем ненадолго.

Через три года такую же дерзкую выходку позволили себе дворянские сынки Беклемищевы, заместничавшиеся с князьями Львовыми. Восемь подьячих Разрядного приказа шесть раз ездили за Беклемищевыми, но те их даже на двор не пустили. Ворота оказались запертыми, а толпившиеся за ними дворовые по приказу своих хозяев осыпали подьячих бранью и грозились побить дубьем. Цари приказали взять у Беклемищевых силой одного дворового человека и не отпускать, пока его хозяева за ним не приедут. Когда же в Кремль, наконец, явился отец Беклемищевых с одним из своих сыновей и пытался оправдаться обычной отговоркой: «Второй сын, мол, уехал в монастырь», старшего увели в Разрядный приказ и тут же высекли.

К главе «Челобитчики по призванию»

К стр. 229. «Смотреть в большой стол», стоявший вблизи царского, распоряжаться угощением за этим столом, считалось более почетным, чем в «кривой», расположенный в виде буквы «Г» и находившийся в углу палаты. Вот почему, например, один из Бутурлиных, стольник Андрей Васильевич, предпочел просто сбежать, когда его однажды назначили «смотреть» в этот стол. Это было в день именин царевны Ирины Михайловны, дочери первого Романова. Заметив непорядок за кривым столом, царь тут же отрядил другого стольника, Льва Плещеева, разыскивать Бутурлина.

«И Лев, пришедши, государю сказал, — записано в разрядной книге, — что он Андрея Бутурлина звал, и Андрей ему ничего не сказал, а пошел в проходные сени». Царь послал тогда за ним во второй раз уже не Плещеева, а более расторопного думного дьяка Ивана Гавренева, а тем временем смотревший в «большой стол» князь Иван Хованский «бил челом государю на Андрея Бутурлина, что Андрей от него бегает и тем его бесчестит», то есть, очевидно, считает его недостойным «смотреть» в большой стол. Думному дьяку Ивану Гавреневу удалось найти беглеца и привести его к царю, при этом он объяснил, что он Андрея сыскал, когда он шел с казанского двора, и спросил его, почему он бегает от князя Хованского. Струсивший, очевидно, Бутурлин стал оправдываться, «что он переменял платье, а не бегал».

«И государь велел ему, Андрею, — заканчивается запись в разрядной книге, — сказывать с князь Иваном в столы («сказывать в стол» называлось потому, что стольник, подавая гостю кубок или блюдо, присланные с царского стола, сказывал ему об этом), князь Ивану в большой стол, а ему, Андрею, в кривой стол; и на Андрея государь кручинился, что он бегает».

К стр. 229. В мясоед на один только царский стол ставилось три лебедя с потрохами под белым медвяным взваром и отдельно—лебяжьи шейки с шафраном, жареные журавли и цапли, зайцы в лапше и в грече, гуси и индейки верченые, то есть на вертеле или под гвоздичным взваром, куря «рефленое» (бескостное), или в ухе гвоздишной, а то и «в штях богатых», лосиные ребра и мозг, говяжий кострец, голова баранья в ухе и баранья же грудь, плечико и ноги в обертках, начиненные яйцами, вепревина, лоб свиной под хреном, уши лосиные в ухе и губа лосья, поросята в рассоле, кишочки бараньи наливные, зайцы ярые в сковородках, косяки буженины, гуси с пшеном сорочинским (так назывался рис), баранья печенка с перцем, курники сдобные, сандрики из ветчины, копытца с маковым творогом, караси с бараниной в толченой муке и сдобные карасики с коринкою и маленькие с курятиной, выпеченные, вероятно, из теста жаворонки и «попуган с изюмом» — всего не меньше восьмидесяти блюд. В постные дни на царский стол подавались только рыбные блюда. Но их было не меньше шестидесяти.

Уха щучья, уха стерляжья, уха окуневая и из многих других рыб, а «меж ух» давались пироги косые и долгие, печерские и пряженые с сигами, с визигою, с маком или с маковым соком, с горошком, каравai присыпные, сдобные, с «осетрьи пупки» и с грибами, монастырские, с сыром.

После ух на столы ставились блюда с всякой икрой, с белорыбицей и раками, сиги паровые, визига в уксусе, чрево осетрины шехонской, щучина живопросольная, тушенная под чесноком или с хреном, башка белужья и просто белужина ветряная в рассоле, сельди свежезастуженные и в тесте, караси с пшеном, лососья спинка, ксени и головы щучьи в шафране, всякие «прикрошки» и «присолы». Иногда некоторые рыбные блюда заменялись грибными: грибы под хреном, смаженные, тяпанные и целики, тушенные в капусте, в тесте и в мантах.

Гости так наедались, что для сладкого в их желудках уже не оставалось места. Все же даже в постные дни на стол еще подавались оладейки в ореховом масле, ягодники с коринкой, сырники в боярской муке, левашники с черной пастилою да кисели овсяные и яблочные с патокой и шафраном. Из сластей одному только «великому государю» на стол ставилось две головы сахару больших, спица сахарного леденцу белого и такая же красного, труба корицы китайской и такая же немецкой, десятки блюд разных сладких «заедок», диковинок цветных, сахаров узорочных, зеренчатых, постных, просто леденцов и конфет.

К стр. 231. Своеобразный обычай «выдачи головою» подробно описан Котошихиным, вероятно не раз наблюдавшим подобные сцены.

«...А за боярское бесчестье отсылают к боярам головою тех людей, которые с ними быть не хотят, — рассказывает Котошихин. — А посылают к ним таких людей с дьяком или с подьячим и, взяв тех людей за руки, ведут до боярского двора приставы, на лошади садиться не дают; а как приведут его на двор к тому, с кем он быти не хотел, поставят его на нижнем крыльце, а дьяк, или подьячий, велит тому боярину о своем приходе сказать, что привел к нему того человека, который с ним быть не хотел и его бесчестит, и боярин к дьяку или подьячему выдет на крыльцо; и дьяк, или подьячий, учнет говорить речь, что великий государь указал и бояре приговорили того человека, который с ним быти не хотел, за его боярское бесчестье отвесть к нему, боярину, головою, и тот боярин на царском жалованье бьет челом, а того, кого приведут, велит отпустить его к себе домовь и, отпустя его домовь, на дворе у себя на лошадь ему садитися и лошади водити на двор не велит. И тот, кого посылают к нему головою, от царского двора идучи до боярского двора и у него на дворе, лает его и бесчестит всякой бранью; а тот ему за его злые лайчивые слова ничего не чинит... А кто бы что над таким отсыланным человеком что учинил, какого злого бесчестья и увечья, и тому б человеку самому указ был против того вдвое...» то есть за проявление мстительности по отношению к наказанному обидчику обиженный в свою очередь подвергался наказанию, и даже еще более строгому.

К стр. 232. Ровно через год, в то же вербное воскресенье, царь давал обед патриарху. Вместе с Василием Бутурлиным на этот обед был приглашен уже не Иван Ромодановский, а один из его родственников—князь Василий Григорьевич, тоже меньшой. Узнав об этом во время богослужения, Василий Ромодановский подстерег царя при выходе из собора и заявил, что и он не сядет за стол ниже Бутурлина. Алексей Михайлович прочитал челобитчику нравоучение, что его более знатный родич князь Иван «больше его, князя Василия», двумя месты и то был выдан головою Бутурлину» и наказал его особенно чувствительно: отдал приказ доправить на нем в пользу Бутурлина денежное бесчестье в сумме 350 рублей — штраф очень высокий, если принять во внимание, что самое большое боярское жалование не превышало в то время 700 рублей в год. Однако, когда тот же царский любимец Василий Васильевич Бутурлин, будучи послан со сторожевым полком на Елец для предупреждения налета крымских татар, уклонился от встречи с воеводой Василием Шереметевым, ссылаясь на то, что ему «меньше Шереметева быть немочно», он также получил нахлобучку: из Москвы пришла грамота, что, «если он не пойдет в сход (то есть на помощь к Шереметеву), «быть ему в великой опале».

К стр. 233. Потомок И. П. Бутурлина (Сопли) Д. П. Бутурлин в дни Отечественной войны 1812 года начал свою карьеру адъютантом при начальнике штаба князе Волконском, потом был флигель-адъютантом Александра I. Отличился во многих знаменитых сражениях под Тарутиным, Малоярославцем и Вязьмой, в Лейпцигской битве и при осаде Парижа и вернулся в Россию генералом. Выйдя в отставку после русско-турецкой войны 1829 года, он был назначен сенатором, членом государственного совета и директором Петербургской публичной библиотеки. Как и его современник, знаменитый библиофил граф Бутурлин, этот Бутурлин имел дело с книгами и рукописями. Наводя в библиотеке «образцовый порядок», он заботился прежде всего об изъятии из нее всех порождающих «губительный образ мыслей» сочинений.

В качестве председателя особого секретного комитета «для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений» сенатор Бутурлин закрыл несколько либераль-

ных журналов и требовал устранения опасных выражений даже из церковных книг, например стихов «об укрощении владык жестоких и зверонравных». Выполняя волю царя, он разослал министрам тайный циркуляр, в котором говорилось, что «нет никакой пользы и надобности в том, чтобы многочисленные читатели газет знали, например, что в Париже трон выброшен в окно и всенародно сожжен, или читали те комуниские выходки, те опасные лжеумствования, которыми теперь так обилуют заграничные журналы».

К стр. 234. Бутурлин-Ворон жаловался, что Василий Клепик-Бутурлин «сказывается ему по роду велик, а ему, Василию, мочно быть меньше Федора, потому что в родстве они с ним разошлись далече, а служили по Новгороду, отечество свое истеряли по многим случаям во многих местах». Ворон уверял царя, что Клепику «меньше быть мочно не токмо меня, холопа твоего, но и братей моих, и сынишка моего, и племянников моих». О себе ж он утверждал, что «деды его, Федоровы, родные и дядя и отец всегда знатны были и в государеве родословце все вписаны по именам и на тех новгородцев еще Ивану Грозному бивали челом». «...А новгородцы Бутурлины на них и глядеть не смели, не токмо что бить челом, — не мог отказать себе в удовольствии добавить Бутурлин-Ворон и пускал в ход свой последний козырь: — Их же, новгородцев, как счесть, сколько их плодилось и кто у них большой и меньшой брат?» Но этот же спесивый Бутурлин-Ворон получил предостережение: «быть ему в великой опале» за попытку местничества с освободителем Москвы от польских захватчиков князем Дмитрием Пожарским.

Когда отец царя Михаила Романова, митрополит Филарет, возвращался из польского плена, навстречу ему для приветствия с прибытием на родину были посланы в разные города именитейшие бояре и окольничие. Среди них, однако, сейчас же начались раздоры: каждый считал, что он должен первым приветствовать родителя царя. Разобиделся и окольничий Федор Леонтьевич Бутурлин, узнав, что ему придется встречать митрополита на последнем стану от Москвы в селе Хорошеве, а первым будет оказывать почести Филарету в Можайске освободитель Москвы от поляков князь Дмитрий Пожарский. Бутурлин сейчас же настрочил царю челобитную на князя Пожарского, в которой высказал свою обиду, «что князь Дмитрий написан в первой встрече «в больших», а он, Федор, в третьей встрече «в других», и объявил, что ему, Федору, «меньше князь Дмитрия быть немочно». «Да клал Федор перед бояр грамоту, — отмечено в разрядных записях, — что дед княж Дмитриев был губной староста».

Бутурлину был дан ответ, что «на нынешней встрече велено вам всем быть без мест и ты б по нашему указу был, а отечеству твоему порухи не будет».

К главе «Последний указ князь-папы»

К стр. 240. Князь-кесарю Ромодановскому было назначено быть в костюме библейского царя Давида, жениху —«в кардинальском», ближайшим сподвижникам Петра—светлейшему князю Меншикову, адмиралу графу Апраксину, генералам Брюсу и Вейде —обрядиться гамбургскими бургомистрами и играть «на рыле» (род рожка); графу Головину и местничавшимся постоянно между собой князьям Долгоруким и Голицыным предписывалось изображать китайцев с дудочками; граф Мусин-Пушкин, князь Репнин и еще два князя Долгоруких должны были в тогах венецианских дожей извлекать рулады из пастушеской свирели; боярин и окольничий Бутурлины «в арцыбискупском» (то есть в архиепископском) одеянии гудеть в большой рог; князь Осип Щербатов— представлять американца без всяких музыкальных инструментов, но зато «с деревянными вилами»; князь Федор Волконский — венгерца со сковородкой; князь Оболенский—калмыка с балалайкой; князь Засекин — напялить на себя шубу и бить в медный таз; потомственные дворяне Олсуфьевы — в матросских робах забавляться трещотками. Остальным участникам карнавала было рекомендовано наряжаться норвежскими и «трелемарскими» мужиками, турецкими дровосеками, шкиперами, китоловами, попами и монахами или просто выворачивать наизнанку шубы, а в качестве музыкальных инструментов употреблять тулумбасы, перепелочные дудки, почтовые рожки, собачьи свисты, пузыри с горохом, волынки, литавры, глиняные дудочки, хивинские горшки, сиповки и ложки с колокольчиками.

К стр. 240. Неравнодушный к крепким напиткам Петр Иванович Бутурлин свыше десяти лет состоял при первом князь-папе непременным членом «всешутейшего собора».

К стр. 242. Вдова состоявшего при старшем брате Петра комнатного стольника князя Голицына и единственная дочь и наследница начальника Оружейной палаты и Приказа большой казны, богатейшего князя Прозоровского, эта разбитная старушка славилась при дворе своей жадностью до вина и до денег. Часто бывая во дворце, она выпивала за обедом кубок любой величины, если царица бросала в него несколько червонцев. Этим подачкам тоже велся учет, и в дворцовой счетной книге

обер-келлермейстера Гаврилы Мячкова встречаются такие записи: «...Сентября 25 дня ее величество изволила положить светлейшей княгине Настасье Петровне Голицыной десять червонных, за что она выпила при столе ее величества два кубка пива английского».

«...Октября 12 дня ее величество изволила положить светлейшей княгине Настасье Голицыной двадцать червонцев, за которые выпила она два кубка вина виноградного красного».

«...Октября 19 дня, в вечернее кушанье изволила ее величество пожаловать светлейшей княгине Голицыной пятнадцать червонцев, за которые выпила она большой кубок романеи».

К стр. 244. Рассмешили Бергхольца также и два великана: один из них был вывезенный Петром из заграничной поездки француз, а другой—самый рослый из царских гайдуков. Они изображали детей в коротких штанишках, вели же их на помочах два крошечных бородатых карлика. От внимания иностранца не ускользнуло, что несколько участников маскарада подвязали себе длинные бороды и нахлобучили на голову высокие, отороченные собольим мехом боярские шапки, еще недавно составлявшие предмет гордости их владельцев. Некоторые из этих бояр в парчовых кафтанах и шелковых охабнях ехали верхом на живых ручных медведях.

К стр. 244. Придуманное, вероятно, самим Петром забавное сооружение настолько понравилось Бергхольцу, что он не поленился его подробнейшим образом описать.

«Машина, на которой переехали через реку князь-папа и кардиналы, — сообщает Бергхольц,— была особенно странного изобретения. Сделан был плот из пустых, но хорошо закупоренных бочек, связанных по две вместе. Все они на известном расстоянии друг от друга составляли шесть пар. Сверху на каждой паре больших бочек были прикреплены посередине бочки поменьше или ушаты, на которых сидели верхом кардиналы, крепко привязанные, чтобы не могли упасть в воду. В этом виде они плыли один за другим, как гуси. Перед ними ехал большой пивной котел с широким дощатым бортом снаружи, поставленный также на пустые бочки, — чтоб лучше держаться на воде, и привязанный канатами и веревками к задним бочкам, на которых сидели кардиналы. В этом-то котле, наполненном крепким пивом, плавал князь-папа в большой деревянной чаше, как в лодке, так что видна была почти одна только его голова. И все кардиналы дрожали от страху, хотя совершенно напрасно, потому что были приняты все меры для их безопасности. Впереди всего сооружения красовалось большое, вырезанное из дерева чудовище, и на нем сидел верхом являвшийся на маскараде Нептун со своим трезубцем, которым он повертывал иногда князь-папу в его котле.

Сзади на борту котла, на особой бочке сидел Бахус и беспрестанно черпал пиво, в котором плавал князь-папа, немало сердившийся на обоих своих соседей. Все эти бочки, большие и малые, влеклись несколькими лодками, причем кардиналы производили страшный шум, непрерывно трубя в коровьи рога.

Когда князь-папа захотел выйти из своего котла на берег, несколько человек, нарочно подосланных царем, как бы желая помочь ему, окунули его совсем с чашею в пиво, за что он страшно сердился на его величество, очень хорошо поняв, что был выкупан в пиве по его приказанию».

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Валк С. Н. Советская археография. М.—Л., 1948.
Иконников В. С. Опыт русской историографии. Т. 1. Киев, 1891—1892.
История Москвы. В 6-ти томах. Т. 1. М., 1952.
История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Под ред. Б. Д. Грекова, С. В. Бахрушина и В. И. Лебедева. Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV — начало XVII в. XVII век. М., 1955.
Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1842—1843.
Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 1—5. М., 1937.
Маяковский И. Л. Очерки по истории архивного дела в СССР. Ч. 1. М., 1941.
Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 1. Под ред. М. Н. Тихомирова, М. А. Алпатова, А. Л. Сидорова. М., 1955.
Селезнев М. С. Некоторые вопросы археографии и их отражение в трудах классиков марксизма-ленинизма. Труды Московского госуд. историко-архивного института. Т. 8. М., 1957.
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. СПб., 1911.
Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1. М., 1940.

Тайнопись веков и догадки историков

Бахрушин С. В. Москва Ивана Грозного.— «Вестник Московского университета», 1942, № 9.
Бахтиаров А. А. История книги на Руси. СПб., 1890.
Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898; О библиотеке и архиве царя Ивана IV. ЧОИДР[1], кн. 4; «Московские ведомости», 1894, № 97 и 121; Арсений Суханов. М., 1891; О греческих рукописях московских библиотек, похищенных проф. Маттеи. ЧОИДР, 1899, кн. 2, протоколы; Дневальные записки Приказа тайных дел. М., 1908 О Посольском приказе. М., 1906.
Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета под ред. Шевырева. Маттеи. Т. 2. М., 1865.
Богословский М. М. О трудах С. А. Белокурова по русской истории.— «Русский исторический журнал», кн. 8. Пг, 1922.
Богоявленский С. С. А. Белокуров (некролог).— «Исторический архив», 1919, № 1.
Васильченко В. Е. Очерк истории библиотечного дела в России, XI—XVIII. М., 1948.
Введенский А. Фальсификация документов в Московском государстве XIV—XVII вв.— В сб.: Проблемы источниковедения. Т. 1. М.—Л., 1933.
Данилова Е. Н. «Завещание» Петра Великого. Труды Московского госуд. историко-архивного института, № 11.
Добиаш-Рождественская О. А. История письма в средние века. М.—Л., 1936.
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. Подгот. к печати Л. В. Черепнин. Под ред. С. В. Бахрушина. М.—Л., 1950.
Евгений, митрополит (Е. А. Болховитинов). Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших о России. Маттеи. Скиада. Т. 2. М., 1845.
Забелин И. Е. Подземные хранилища Московского Кремля.— «Археологические известия и заметки», 1894, № 2, 6—7. Заметка к спору о царском архиве. Там же, № 8—9. Опричный дворец царя Ивана Васильевича. Там же, 1893, № 11. Описи книг царской библиотеки.— «Отечественные записки», 1854, декабрь.
Зерцалов А. Н. О раскопках в Московском Кремле в XIX в. ЧОИДР, 1897, кн. 1.
Иконников В. С. Максим Грек и его время. Киев, 1915.
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Ч. 2. М., 1797.

[1] Чтения в Обществе истории и древностей российских.

Каталог книг печатных и рукописных библиотеки покойного проф. Маттеи.— «Московские ученые ведомости», 1805, № 7.
Карнович Е. Шевалье д'Эон при дворе императрицы Елизаветы Петровны.— «Древняя и новая Россия», 1875, т. 11, № 7.
Книга Степенная царского родословия. Ч. 2. М., 1775.
Ковалев С. И. История Рима. Л., 1948.
Кононов Ю. Ф. Из истории организации и комплектования бывшего Государственного архива Российской империи. Труды Московского госуд. историко-архивного института. М., 1957.
Костомаров Н. Богдан Хмельницкий. Т. 1., 1895.
Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века. СПб., 1888. Царская библиотека в XVI столетии. «Новое время», 1893, № 6131. Библиотека и архив московских государей в XVI столетии. СПб., 1894.
Лунинский Э. Княжна Тараканова. Исслед. по актам Госуд. архива. М., 1909.
Лурье Я. С. Первые идеологи московского самодержавия (Софья Палеолог и ее противники). Ученые записки Ленинградского госуд. пед. ин-та имени А. И. Герцена. Кафедра истории СССР. Т. 78. Л., 1948.
Метрики великого княжества Литовского, 1843. Предисловие.
Петухов Е. В. Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет за 100 лет его существования (1802—1902). Юрьев, 1902.
Пирлинг П. Россия и папский престол. М., 1912.
Ростовцев М. Русские археологи в Палестине.— «Христианский Восток». Т. 1. Вып. 3. СПб., 1912.
Подземная Москва в 1912 году.— «Жизнь», 1912, № 11; Подземный лабиринт. Там же, № 3; Подземные ходы в эпоху царя Михаила Федоровича. Там же, 1913, № 10; Царь Иван Грозный. (К поискам его библиотеки в кремлевских подземельях).— «Утро России», 1914, 21.III; Застенок Малюты Скуратова. 30 дней. Там же, 1925, № 2; Тайны и загадки села Коломенского.— «Огонек», 1924, № 21; Сообщение о находке в Пернове известного проф. Дабелова списка части библиотеки Грозного и утрате этого списка. Летопись занятий археограф. комиссии за 1923—1925 гг. Вып. 33. Л., 1926; Загадка Кремля. (К спору о библиотеке Ивана Грозного).— «Известия», 1924, № 83; Подземный кремник. Там же, 1924, № 123; Библиотека Грозного. Там же, 1924, 23.III; Тайны подземной Москвы. (Отчет о лекции). Там же, 1921, 13.I; Судьба библиотеки Ивана Грозного.— «Наука и жизнь», 1944, № 7—12.
Тихомиров М. Н. О библиотеке московских государей.— «Новый мир», 1960, № 1.
Тремер Э. Библиотека Иоанна Грозного.— «Московские ведомости», 1891, № 315 и 334.
Успенский Ф. Сношения Рима с Москвой. ЖМНП[1], 1884, июль; 1885, август; Брак царя Ивана Васильевича III с Софьей Палеолог.— «Исторический вестник», 1887, декабрь.

Загадочные приписки

Адрианова-Перетц В. П. Новые издания Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.— «История СССР», 1959, № 2.
Альшиц Д. Н. Приписки к лицевым летописным сводам, их происхождение и значение как исторического источника.— «Исторические записки», 1947, № 23; Иван Грозный и приписки к лицевым сводам его времени. Там же, 1948, № 25; Источники и характер редакционной работы Ивана Грозного над историей своего царствования. Труды отдела рукописей Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Т. 1 (4). Л.,1957; Разрядная книга московских государей XVI в.— «Проблемы источниковедения». Т. 6. М., 1958.; Царь Иван Грозный или дьяк Иван Висковатый. ТОДРЛ[2], 1960, т. 16.
Бахрушин С. В. Иван Грозный. М., 1945.
Будовниц И. У. Русская публицистика XVI века. М.—Л., 1947.
Васенко П. Г. Книга Степенная царского родословия. Ч. 1. СПб., 1901.
Веселовский С. Б. Синодик царя Ивана как исторический источник.— «Проблемы источниковедения», 1940, № 3; Духовное завещание Ивана Грозного.— «Известия АН СССР». Серия истории и филологии. Т. 4, № 6. М., 1947.
Иван IV, царь. Послания Ивана Грозного. Подгот. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1951.
Курбский А., князь. Сочинения кн. Курбского. Т. 1. Сочинения оригинальные. СПб., 1914, т. 31.

---

[1] Журнал Министерства народного просвещения.

[2] Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., 1947; Изучение древнерусской литературы в СССР за последние десять лет. М., 1956; Некоторые итоги и перспективы изучения русской литературы X—XVII вв.—«Вестник Академии наук СССР», 1958, № 12; Иван Грозный — писатель.— «Звезда», 1947, № 10.
Лихачев Д. С. и Лурье Я. С. Археографический обзор посланий Ивана Грозного.— В кн.: Послания И. Грозного. М., 1951.
Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч. 1. СПб., 1899.
Новосельский А. А., Шнуков В. И. Издание исторических источников в СССР. М.,1955.
Полное собрание русских летописей. Т. 13. Ч. 1 и 2.
Пресняков А. Е. Царственная книга, ее состав и происхождение. СПб., 1893.
Приселков М. Д. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940.; Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.—Л., 1960.
Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.—Л., 1938.
Ясинский А. Н. Сочинения князя Курбского как исторический материал. Киев, 1889.

По страницам „Черной книги"

Аболенский И. Московское государство при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне по запискам архидиакона Павла Алеппского. Киев, 1896.
Гиббенет Н. Историческое исследование дела патриарха Никона. Ч. 1 и 2. СПб., 1882.
Грамота царя Алексея Михайловича думному дворянину А. Л. Ордину-Нащокину с посылкой тайной азбуки. ЧОИДР, 1901, кн. 1.
Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевича к керенскому воеводе И. С. Чубареву.— «Русский архив», 1915, кн. 11—12.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. М., 1901. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 1901.
Заозерский А. Царская вотчина XVII в. М., 1937.
Иконников В. С. Ближний боярин Аф. Лавр. Ордин-Нащокин.— «Русская старина», 1883, № 10 и 11.
Историческое описание Саввино-Сторожевского монастыря. М., 1848.
Каптеров Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1 и 2. Сергиев Посад, 1909—1912.
Койэт Б. Посольство Кунрада фон Кленка к царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу. СПб., 1900.
Костомаров Н. Н. Бунт Стеньки Разина. СПб., 1895.
Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906.
Крачковский И. Ю. Описание путешествия Макария Антиохейского как памятник арабской географической литературы и как источник для истории России в XVII веке.— «Советское востоковедение», 1949, т. 6.
Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Т. 1. М., 1954—1957.
К материалам о ворожбе в древней Руси, 1642—1643. О намерении испортить царицу Евдокию Лукьяновну. ЧОИДР, 1896, кн. 3.
Лавровский А. Несколько сведений для биографии Паисия Лигарида, митрополита газского.— «Христианское чтение». СПб., 1889, сентябрь—октябрь.
Маркевич А. И. Котошихин и его сочинение о Московском государстве. Одесса, 1895.
Николаевский И. Ф. Жизнь Никона в ссылке и заключении.— «Христианское чтение», 1896.
Новомбергский Н. Слово и дело государевы. Т. 1. М., 1911.
О криптографической надписи на колоколе, находящемся в Саввино-Сторожевском Звенигородском монастыре. — «Северный архив», 1823, ч. 5; «Горный журнал», 1833, кн. 1.
Прелестная грамота от имени Степана Разина. Летопись занятий археограф. комиссии. Т. 1 (34), № 53, Л., 1927.
Рейтенфельс Я. Сказание о Московии. ЧОИДР, 1905, кн. 4.
Собственноручная памятная записка царя Алексея Михайловича. ЧОИДР, 1903, кн. 3.
Соловьев С. А. Л. Ордин-Нащокин.— «Ведомости», № 70. СПб., 1850.
Сперанский М. Н. Тайнопись в русских письменных памятниках. Энциклопедия славянской филологии. Ч. 2. Л., 1929.
Стрейс Я. Три путешествия. М.—Л., 1938.
Шпаков А. Я. Государство и церковь в их взаимоотношениях в Московском государстве. Киев, 1904.
Шуров И. Знахарство на Руси. Врачевание. ЧОИДР, 1867, кн. 4.

Азанчевский. История преображенского полка. М., 1859.
Алабин А. В. Ив. Ив. Бутурлин, генерал-аншеф.— «Русская старина», 1878, октябрь.
Бантыш-Каменский Н. Н. Знаменитые полководцы и министры петровских времен. Ч. 2. М., 1821.
Берхольц. Дневник камер-юнкера, веденный им самим. Ч. 1 и 4. М., 1860.
Богословский М. Петр I. Материалы для биографии. 1940—1948.; Петр Великий и его реформа. М., 1920.
Буганов В. И. Разрядные книги последней четверти XV—первой половины XVII в. как исторический источник. М., 1954.
Выписки из разрядов о службах и походах боярских, также полковых разрядах и о том, кто, когда и в котором полку служил.— «Отечественные записки», 1826, ч. 28; 1830, ч. 44.
Голиков. Деяния Петра. Т. 11 и 15. 1843.
Замысловский Е. Царствование Федора Алексеевича. Ч. 1. СПб., 1871.
Забелин И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории. Ч. 1. М., 1877.
Дворцовые разряды. Т. 1—4 с прилож. СПб., 1850—1855.
Дела по местничеству.— «Русский исторический сборник». Ч. 2. М., 1838.
Долгоруков П. В. Российская родословная книга. Ч. 2. СПб., 1855.
Маркевич А. И. О местничестве. Киев, 1879; История местничества в Московском государстве в XV и XVII веках. Одесса, 1878.
Нащокин В. А. Записки. М., 1842.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Тайнопись веков и догадки историков

Судьбы древних архивов 7
Охотник за рукописями 14
Находка профессора Дабелова 19
Греческих больше, чем латинских 23
Происхождение Лейденского манускрипта . . 27
Европейское светило 30
От подозрений к уликам 34
Автографы старца Арсения 38
Без химии и ножниц 43
Наследство великого протосинкелла 49
Не на земле, а под землей! 53
Палаты под Кремлем-городом 59
Сомнения историка-следопыта 66
Пещеровед-кладоискатель 74
Подземное наступление 80
Синяя птица в руках! 84

Загадочные приписки

Взыскательный редактор 93
Ключ к разгадке 96
Кто же он? 99
Чья рука? 106
Какой версии верить? 108
И все же — ценнейший источник! . . . 115

По страницам „Черной книги“

«Черная» — в смысле «черновая» 121
«По сыску и дохтурскому рассмотрению» . 130
Новгородское «доводное» дело 139
Тетрадь в сафьяновом переплете 147
Перехваченная грамота 164
«По твоему государеву указу...» 177
Последствия одного пожара 185
О чем молчал колокол 205

Возрождение из пепла

Книги вместо дров 215
Ухищрения упрямцев 219
Челобитчики по призванию 228
Последний указ князь-папы 236
Примечания 247
Краткая библиография 260

Роман Тимофеевич Пересветов

ПО СЛЕДАМ НАХОДОК И УТРАТ

Редактор Н. А. Арзуманова
Художественный редактор А. Ф. Константинов
Технический редактор Н. П. Карасик
Корректор Л. М. Жарковская

Сдано в набор 27/I-61 г. Подписано к печати 8/VII-61 г. Формат бумаги 84×108$^{1}/_{16}$. Физ. печ. л. 16,5+ +16 вкл. Усл. печ. л. 30,24. Уч.-изд. л. 24,6. Изд. инд. НЛ-22. А03363. Тираж 10 000 экз. Заказ № 78.

Цена 1 р. 13 к. в переплете.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Полиграфический комбинат Ярославского совнархоза. г. Ярославль, ул. Свободы, 97.

IDS Bibliotheken Bern
BM 3 184 174